
НАТАЛЬЯ
ГОРБАНЕВСКАЯ

**МОЙ
МИЛОШ**

БПЛ БИБЛИОТЕКА
ПОЛЬСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ





BALTRUS/MASKVA/2012/БАЛТРУС/МОСКВА

НАТАЛЬЯ ГОРБАНЕВСКАЯ

МОЙ МИЛОШ

БАЛТРУС/МОСКВА/2012

УДК 821.161.1
ББК 84 (2Рос=Рус)6
Г67

Дизайн серии Сергей Андриевич



ГОРБАНЕВСКАЯ НАТАЛЬЯ
Г67 Мой Милош
М.: Новое издательство, 2012. – 440 с.

ISBN 978-5-98379-158-9

Сборник «Мой Милош» — плод тридцатилетней работы Натальи Горбаневской над текстами Чеслова Милоша. В него включены переводы поэзии и публицистики нобелевского лауреата, а также статьи о нем — самой Горбаневской и нескольких польских авторов.

УДК 821.161.1
ББК 84 (2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-98379-158-9

© Наталья Горбаневская, 2012
© Новое издательство, 2012
© 2012 by The Milosz Estate.
All rights reserved

СОДЕРЖАНИЕ

Вместо предисловия: Человек-эпоха. Памяти Чеслава Милоша (9)

БОЛЬШОЙ ФОРМАТ

Поэтический трактат (19)

Приложения:

«Речь — отчизна...» Интервью в связи с выходом в свет русского перевода поэмы Чеслава Милоша «Поэтический трактат» (64)

Не трактат, а трактат в стихах... (69)

Особая тетрадь: Звезда Полюнь (72)

Шесть лекций стихом (79)

Богословский трактат (86)

СТИХОТВОРЕНИЯ

Campo di Fiori (107)

Напоминание (110)

«Ты человека простого измучил...» (113)

Баллада (114)

Ars poetica? (116)

Моя верная речь (118)

Чтение (120)

Из книги «Хроники» (1987) (122)

Время года (124)

«О безграничный, о неисчерпаемый, о несказуемый мир форм...» (125)

Разговор о славе (126)

Довод (127)

Монархи (128)

Первое исполнение (1913) (129)

Родословная (130)

- Тритоны (1913–1923) (131)
Тревога-сон (1918) (132)
Из записной книжки офицера Вермахта Рудольфа Грёте (1944) (134)
1945 год (135)
Читая «Записную книжку» Анны Каменской (НП. 2004. №6) (136)
Из книги «Последние стихотворения» (137)
Пан Сыруть (138)
Девяностолетний поэт подписывает свои книги (НП. 2011. №6) (140)
Без dajmonion'a (142)
В тумане (143)
Учитель математики (145)
Черепаха (146)
«места явления духов...» (147)
Химера: множество (148)
Поздняя старость (149)
Что мне (150)
Старый человек смотрит телевизор (151)
Доброта (152)
Флейта крысолова (153)
Небо (154)
Комментарий к стихотворению «Небо» (156)
В честь ксэндза Баки (157)
Сын первосвященника (158)
Sanctificatur (159)
О спасении (160)

ПРОЗА, ПУБЛИЦИСТИКА, ИНТЕРВЬЮ

- Опыт войны (163)
Бедный камер-юнкер (173)
Человек среди скорпионов. (Отрывки из книги) (179)
Бесы (184)
Достоевский и Мицкевич (190)
Достоевский и западное религиозное воображение (198)
Над переводом Книги Иова. Сокращенный текст предисловия «От переводчика»
к польскому изданию Книги Иова (212)
Нобелевская лекция (221)
Нобелевская речь (232)
Достоевский и Сартр (234)

Выводы из опыта века, близящегося к концу.
Выступление на заключительном заседании коллоквиума
«Польша: август 1980 – декабрь 1982» (250)
Увы! – благородство. Текст доклада на конференции «Современная Польша
в исторической перспективе» (257)
Конец Великого Княжества. (О Юзефе Мацкевиче) (272)
О польско-литовском конфликте (397)
Человечество, что остается. «Campo di Fiori» 50 лет спустя (305)
Преподавая Достоевского (315)
Несколько русских страниц из «Азбуки Милоша» (323)
О Юзефе Чеховиче (331)
О «Бале в Опере» Юлиана Тувима (337)
Письмо и его адресаты (339)
Начало легенды. Ежи Гедройц (1906–2000) (343)
Премия Чеслава Милоша (347)
О национальной принадлежности (349)
Бездомность правды. Спор о Герлинге-Грудзинском (355)
Горькое стихотворение (362)

О ЧЕСЛАВЕ МИЛОШЕ

Мои тексты

«Культура» №№11/398 и 12/399. (Отрывок) (367)
Поэт в поисках действительности. К семидесятилетию Чеслава Милоша (370)
«Национализмы моей части Европы» (373)
Венок polegшим. Один давний московский вечер (Отрывки) (378)

Мои переводы

Юзеф Чапский. Народность или исключительность? (382)
Юзеф Чапский. О Милоше.
(Письмо в редакцию журнала «Зешиты литерацке») (385)
Лешек Шаруга. Погоня за действительностью (389)
Юлия Гартвиг. Медитация (396)
Адам Михник. Декан, мы бережем наказ твой.
Речь на похоронах Чеслава Милоша (398)
Томас Венцлова. Поэт обоих народов (403)
Мариан Сталя. О «Последних стихотворениях» Чеслава Милоша (413)
Ежи Помяновский. Милош и бесы (420)
Адам Поморский. Милош (427)

Вместо предисловия
ЧЕЛОВЕК-ЭПОХА
Памяти Чеслава Милоша

Лет семь назад Александр Фьют, один из самых пристальных исследователей творчества Чеслава Милоша, писал — на примере одной книги, но это можно распространить и на другие — о роли личной, индивидуальной биографии Милоша как материала его поэзии: «Ее [биографию поэта] можно воспринимать как особенно поразительный и осязаемый урок случайности человеческой судьбы, урок, который дала в XX веке история одному из жителей Центральной Европы. Одновременно это трудно охватываемая сумма опыта, наблюдений, мыслей, воспоминаний, составляющая любую отдельную жизнь, которая в данном случае обнимает почти целую эпоху».

Сейчас, когда эта жизнь закончилась, я убрала бы «почти»: она обняла действительно целую эпоху, начавшись накануне «настоящего двадцатого века» и закончившись уже в XXI, в первые годы новой эпохи (начало которой мы можем отсчитывать от 11 сентября 2001-го). А кроме того я сказала бы, что Милош — весь: и жизнь, и творчество — не столько «обнял», сколько вместил всю эту эпоху, вобрал ее в себя, стал своей эпохой, со всеми ее историческими, социальными, культурными зигзагами. Не скажу: со всеми заблуждениями — не со всеми, но на свои и чужие заблуждения XX века Милош смотрел равно пронизательно и зорко, равно безжалостно.

Рецензируя в 1990 году в «Континенте» книгу прозы (если угодно, сборник эссе) Милоша «Год охотника», я отмечала, что автор говорит в ней вещи, которые могут «вызвать возмущение польских националистов, даже в том благородном случае, когда

они называются просто патриотами», — например, напоминает, что Западные земли (или, как они назывались в ПНР, Обретенные земли) были получены в подарок от Сталина, подарок, предназначенный, разумеется, не кому иному (не свободно избранному парламенту, например), а коммунистическому режиму. «Национализмы моей части Европы весьма патологичны, — писал Милош в этой книге. — Я не могу доверять мысли, порожденной унижением и попытками побежденных найти утешение».

Но, жестко оценивая настоящее своей страны, Милош не идеализировал и ее прошлое. В конце 90-х он выпустил книгу «Экспедиция в Двадцатилетие» (имеется в виду межвоенное двадцатилетие, счастливые годы польской независимости после полутора веков жизни под гнетом трех держав-захватчиц). Польский критик Хелена Заворская, рецензируя книгу, пишет:

...свежеобретенная свобода оказалась грузом, который трудно было нести людям, имевшим боевой опыт, но не умевшим управлять современным государством. <...> Грезившаяся целым поколениям «заря свободы» преображалась в зарева всё новых войн и погромов. Мы предпочитаем об этом не помнить, но Милош в своей книге неуступчив, он напоминает самые щекотливые, жестокие, глупые дела. Он не говорит с нами осторожно и умильно. И никакого утешения не доставит нам тот факт, что сегодняшние затруднения со свободой напоминают былые поражения.

Да, Милош и с годами не стал «осторожнее и умильнее», говоря со своими соотечественниками, и если говорить о милошевском уроке, то такой разговор может принести пользу не только «жителям Центральной Европы».

Есть ли у нас русский Милош?

Милош сегодня в России известен — и неизвестен. Первой книгой Милоша по-русски был «Поэтический трактат» в моем переводе и с моими примечаниями, изданный в «Ардисе» (Анн-Арбор) в 1982 году. В 1993 году в издательстве «Вахазар» вышел сборник «Так мало и другие стихотворения», включивший стихи начиная

с 30-х годов. Милошу вместе с Томасом Венцловой было посвящено «досье» в «Старом литературном обозрении» (2001, №1), там же приведена его библиография, включающая переводы на русский. На первый взгляд, она выглядит внушительно, хотя сегодня к ней надо прибавить хотя бы переводы Британишского из вышедшей в 2002 году его и Натальи Астафьевой антологии польской поэзии, его же перевод знаменитой книги «Порабощенный разум», изданный годом позже (точнее, впрочем, как мы уже не раз отмечали, было бы перевести «Порабощенный ум»), и еще ряд публикаций 2000-х. И все-таки в сравнении с объемом написанного Милошем — «так мало»! Нередко переводится одно и то же: так, кроме моего (первого) перевода «Кампо ди Фьори» это стихотворение перевели Михаил Крепс и опять-таки Британишский; после «Зачарованного Гути» в книге, составленной Андреем Базилевским, появился другой перевод того же стихотворения под дважды неверным названием «Очарованный Гучо». Хорошо соревноваться переводчикам на одних и тех же стихах, когда поэт по-русски уже всерьез существует. Увы, осмелюсь сказать, что Милош по-русски существует только в самом первом приближении. Кроме того его надо было бы переводить не отдельными стихами, не подборками разных лет, а книгами; в большинстве его сборников верлибры перемежаются белыми и «почти белыми» стихами, чистой прозой и тем, что можно было бы назвать стихотворениями в прозе (если бы этот термин не был напрочь скомпрометирован Тургеневым), переводами иноязычных (англо-американских, ближне- и дальневосточных) стихов, выписками из исторических документов Великого Княжества Литовского и т.п. Пока что целиком переведена лишь одна книга, из недавних, — «Придорожная собачонка», и то, как я заметила, русские рецензенты (кроме Ксении Старосельской) с ней не разобрались, считая, что все, напечатанное в ней не в столбик, — это «эссе».

Милош много писал в последние годы — и на девятом, и на десятом десятке лет. 14 августа подвело черту под его творчеством. Русским издателям и переводчикам пора обратиться к нему пошире и поглубже — и к книгам его стихов, от первых до последних, и к книгам его эссе (которые опять-таки собираются в книгу не случайно, а по-русски пока существуют лишь в распыленном виде),

и к его замечательной повести о детстве среди дикой литовской природы «Долина Иссы», и к тому, что написано о Милоше его соотечественниками*. Может быть, тогда мы воистину оценим совсем особый дар Чеслава Милоша, его совсем особую погоню за реальностью.

«...в конечном счете я бы сказал, что цель, которую я преследую, — это реальность. Погоня за реальностью», — ответил Милош на вопрос Бродского, чего он стремится «достичь в поэзии, в литературном творчестве». Немодный ответ. Сегодня — особенно немодный. Но очень нужный — то есть очень нужно то, что за ним стоит, та реальность, за которой гонится, которую нагоняет Чеслав Милош в своих стихах, прозе, эссе и многочисленных промежуточных формах, выходящих за пределы собственно прозы и собственно стихов.

Особый поэт

Тут самое место вернуться к поэтическим книгам Милоша. В свое время я писала о сочинении Милоша «Особая тетрадь: Звезда Полынь» («Культура», Париж, 1980, №11):

Трудно назвать это просто стихами — для этого у «Особой тетради» слишком сложная, смешанная форма. (Вспоминаются более ранние строки Милоша: «Вечно стремился я к форме более емкой, / что не была бы ни слишком поэзией, ни слишком прозой...») Но, несомненно, это сочинение поэта Милоша, а не прозаика или эссеиста. Предположительный генезис этого произведения (впрочем, рискуя ошибиться) можно вывес-

* Это написано сразу после смерти Милоша. С тех пор, особенно за нынешний, Милошевский год, издано и переиздано немало. В частности, вышла «Родная Европа», готовится к выходу «Долина Иссы». Однако по-прежнему недостаточным остается переведенный корпус как стихов, так и публицистики Милоша. Надо надеяться, что страсть переводчиков и издателей не остынет в ближайшие, послеюбилейные годы. — НГ-2011.

ти из того, что двумя номерами раньше в той же «Культуре» было напечатано стихотворение «Звезда Полюнь». В новом тексте эти четыре четверостишия, рифмованные, почти классического склада, стали лишь завершающим ударным аккордом в стремительном, почти кинематографическом чередовании верлибров, белых стихов и кусков, написанных «просто прозой», нанизанных на воспоминание (не вос-) литовского детства и пронизанных видением судьбы человека на Земле, «крещенного на восходе Звезды Полюнь» и с младенчества несущего непрощенный груз времени и безвременья.

Замечу, что составители содержания журнала «Континент» (№100, 1999), поставив после названия пометку «Эс.», то есть эссе, явно ошиблись в жанре.

Такая форма (или жанр) появляется у Милоша по крайней мере с 70-х, со сборника «Где восходит солнце и куда закатывается». Но рецензенты и критики очередных книг Чеслава Милоша как будто никак не могут к этому привыкнуть. Кого ни возьмешь — у каждого в тех или иных словах встретишь удивление: какая необычайная, ни на что не похожая книга! Да и верно: друг на друга они тоже непохожи, так что привыкнуть не удастся. И кто ни примется за исследование поэтики Милоша, обязательно отметит, что поэт выходит за пределы стиха и прозы — или, в других терминах, стирает границу между ними. На примере публикуемых в этом номере журнала переводов из книги «Хроники» вы лишь отчасти, но все-таки увидите эту его особенность, точнее говоря особость.

Всё его творчество — особая, отдельная, не «общая» тетрадь. Но душа человеческая (в данном случае читательская) — тоже дело особое, и только на подлинно особое она откликается. Можно вспомнить портреты поэтов в «Поэтическом трактате»: сам Милош видит их — и несколькими строчками о каждом передает нам свое восприятие — как поэтов особых, отдельных, как крайне разногласные инструменты оркестра польской поэзии. Так и Милоша мы видим, слышим, читаем как особый инструмент — огромного, впрочем, диапазона, органного что ли...

Мой Милош

Без воспоминаний о встречах, знакомстве, дружеских отношениях сегодня тоже, конечно, не обойтись. Впрочем, знакомство знакомством, а сначала мы встретились заочно. В 1973 году я получила в Москве дошедший из Калифорнии том «Стихи» (Лондон, 1967). С 1953 года все новые сборники стихов Милоша (как и его проза, и эссе, и переводы) выходили в «Институте литерацком», книжном издательстве парижской «Культуры». Но, конечно, Милош предпочел не отправлять через границу, даже с оказией, одно из этих подрывных изданий. На книге надпись: «Коллеге [по-польски слово женского рода — «коллежанке»] Горбаневской с дружбой. 20.II.73. Чеслав Милош».

Вживе мы с Милошем встретились в сентябре 1976 года, на организованной парижскими поляками и венграми конференции «1956–1976», в которой участвовали и французы, и выходцы из других, кроме Польши и Венгрии, стран Центральной и Восточной Европы, включая и автора этих строк (с докладом «Самиздат — школа свободы»). И встречались после этого многократно, чаще всего на вечерах Милоша, которые устраивал парижский религиозный «Центр диалога» во главе с незабвенным ксендзом Юзефом Садзиком, тем самым, кто побудил Милоша переводить Библию (об этом Милош пишет, в частности, в своей статье «Над переводом Книги Иова» — см. «Континент» № 29, 1981 [с. 212 наст. изд.]).

Особенно интенсивным стало наше общение, когда я переводила «Поэтический трактат». Всё новые и новые получерновые редакции перевода я отправляла в Беркли и получала подробные замечания, после чего правила текст и снова отправляла. Перевод еще не был закончен, как мы встретились, но не в Париже и не в Беркли, а в Гарварде. Осенью 1981 года Милош проводил там семестр, во время которого прочел ставшие потом знаменитыми «Шесть лекций о поэзии» (кстати, в той же книге «Хроники» есть аналог им, но написанный стихами — особыми милошевскими стихами). А меня, оказавшуюся в США, пригласили прочитать лекцию — о чем бы вы думали? — ну конечно о том же самиздате. И Милош пришел на мою лекцию! Нобелевский лауреат был моим слушателем, а я — прямо как его профессором. Вот раздувалась от гордости — и смущения. А после лекции я собралась показывать

Милошу перевод, заново исправленный по советам Бродского. Тогда-то Милош и сказал мне: «После Иосифа могу больше не смотреть».

Я долго не решалась переводить Милоша: тот же «Поэтический трактат», на который я страшно завелась еще в Москве, казался мне непереводаемым. После Нобелевской премии Владимир Максимов потребовал от меня стихов Милоша — я перевела «Особую тетрадь: Звезду Полюнь» (да еще несколько стихотворений для «Вестника РХД») и уверовала в собственные силы. Тогда и взялась за «Трактат». Перевод всё еще не был окончен, а Милош, как мне передавали со всех сторон, уже хвалил его американским студентам.

Последний раз мы виделись в октябре 1997 года в Кракове, на международном фестивале поэтов «Восток — Запад». Сохранилась групповая фотография, где я стою рядом с Милошем, далеко не доставая ему до плеча. Где-то с другого края стоит Томас Венцлова*. Очень хорошо было видеть вместе Чеслава Милоша и старого моего друга Томаса (Томаша, как по-польски звал его Милош): поляк и литовец, но оба «литвины», и чем-то, не только ростом, ужасно схожие. Зато никогда я не видела Милоша с Бродским (не совпало: в Париж из Америки они приезжали в разное время, а когда я виделась с Иосифом в Нью-Йорке, Милош был или в Беркли, или, как в тот раз, в Гарварде, или даже, такое однажды случилось, в Париже), Милоша с Гедройцем (главный редактор «Культуры» любил принимать гостей по отдельности).

Думаю, что об отношениях Чеслава Милоша с Ежи Гедройцем еще напишут люди, знающие дело лучше меня, тем более что уже изданы тома переписки, проливающей свет на их не всегда простые, но очень важные для обоих отношения. Хочу только напомнить, что когда Милош стал эмигрантом, то пер-

* Ужасная ошибка памяти! Я наконец нашла эту фотографию (см. мою книгу «Прозой. О поэзии и поэтах»): на ней есть Кнут Скуениекс и Ян Каплинский, Вислава Шимборская и Адам Загаевский, Евгений Рейн и «разные прочие шведы», но Томаса нет, хотя он был на этом фестивале. И нет сомнения, что Томаса с Милошем вместе я так или иначе видела, поэтому дальнейшие свои слова не беру обратно. — НГ-2011.

вым — и надолго едва ли не единственным, — кто протянул ему руку помощи, был Ежи Гедройц. Лондонские круги польской эмиграции смотрели на вчерашнего дипломата ПНР, мягко говоря, с недоверием, а чаще — с прямой враждебностью. Милош стал печататься в «Культуре», выпускать книги в ее издательстве. В 1980 году у Гедройца было два великих праздника: одним было создание «Солидарности», подготовленное поколением, которое называло себя возвращенным на парижской «Культуре», считало себя учениками Гедройца; а затем последовала Нобелевская премия Милошу. В декабре Милош приехал из Стокгольма прямо в Париж. «Институт литерацкий» переиздал все его прежние книги, и на вечере Милоша (цитирую сама себя) «я видела, как читатели расхватывали эти свежевypущенные томики в привычной серенькой обложке, только с красной полоской на уголке: „Нобелевская премия, 1980“».

*

Чтобы вернуться от «моего» Милоша к Милошу как таковому, закончу цитатой из Витольда Гомбровича. Как легко догадаться, Гомбрович, скончавшийся в 1969 году, сказал эти слова, когда присуждение Чеславу Милошу Нобелевской премии никому еще и во сне не снилось.

Это писатель с ясно очерченной задачей, призванный ускорить наш темп, чтобы мы поспевали за эпохой, — притом с великолепным талантом, замечательно приспособленный к выполнению этих своих предназначений. Он обладает чем-то на вес золота, что я назвал бы «волей к реальности», а в то же время — ощущением болезненных точек нашего кризиса. Он принадлежит к немногим, чьи слова имеют значение...

БОЛЬШОЙ ФОРМАТ

ПОЭТИЧЕСКИЙ ТРАКТАТ

Вступление

Пусть родная речь простою будет.
Пусть любой, едва услышит слово,
Увидит реку, яблоню, тропинку,
Как видишь в полыхании зарниц.

Однако речь не может быть картиной
И только. Издавна ее прельщает
Мелодия и рифмы колыбельность.
Неладно ей в сухом, шершавом мире.

Сегодня часто спрашивают, что за
Смущение, с каким стихи читаешь,
Как будто автор с умыслом неясным
В них обращался к худшему себе,
Изгнавши мысль и обманувши мысль.

С приправой шуток, шутовства, сатиры
Поэзия ценителей находит,
Такой она понравиться способна.
Но те баталии, где ставка — жизнь,
Ведутся в прозе. Не всегда так было.

И до сих пор не высказана горечь.
Роман, трактат служебен, но не вечен.
Одно хорошее четверостишие
Томов трудолюбивых тяжелей.

I. Прекрасная эпоха

Дремали дрожки у Марьяцкой башни.
Уютный Краков в зелени лежал
Пасхальным свежекрашенным яичком.
В плащах широких важно шли поэты.
Никто не помнит нынче их имен.
Но руки их, они реальны были.
Над столиками запонки, манжеты.
На палке нес газету вместе с кофе
Официант — и канул безымянным.
Рахили в длиннохвостых шалях¹, Музы,
Пригубивши, закалывали косу
Той шпилькой, что лежит сегодня в пепле
Их дочерей или в комоде подле
Умолкшей раковины. Ангелы модерна
В домах отцовских, по уборным темным,
Обдумывали связь души и пола,
Печали и мигрень лечили в Вене
(Сам доктор Фрейд, слышал я, галичанин).
У Анны Чилаг² отрастали кудри,
Блистали позументами гусары.
В горах носился слух, что Франц-Иосиф
Внизу, в долине, проезжал в карете.

Там наш исток. Напрасно отрицать,
На Золотой далекий век ссылаться.
Не лучше ли принять, признать своими
Усы колечком, набок котелок,
Побрякиванье дутого брелока.

Признать и песню над пивною кружкой
В суконно-черных заводских предместьях.
Уходят, чиркнув спичкой, на полсуток
Творить в дыму богатство и прогресс.

Рыдай, Европа, жди себе шифкарты³.
Под Рождество на рейде Роттердама
В молчаньи станет судно эмигрантов.
К обмерзлым мачтам, словно к снежным елям,
Трюм вознесет молитву на мужицком
— Словенском или польском — диалекте.

Простреленная пулей, пианола
Играет. Пары буйствуют в кадрили.
Рыжа, толста, оттянутой подвязкой
Пощелкивая, развалясь на троне,
В пуховых туфлях тайна ожидает
Торговцев сальварсаном и резинкой.

Там наш исток. Иллюзион мигает:
Макс Линдер — плюх, с коровой в поводу.
В садах сквозь зелень светят лампионы.
И оркестрантки в трубы, трубы дуют.

Свиваясь из сигарного дымка,
Из рук, колец, сиреневых корсажей,
Через поля, долины, горы вьется
Команда: «Vorwärts! En avant! Allez!»
То наше сердце залито известкой
В пустых полях, распаханых огнем.
Никто не знает, почему скончались
— Всё под кадрили — богатство и прогресс.

Как ни печально, там наш стиль рождается.
Под утро лира смиренная бряцает
В мансарде над шантанной погремушкой.
Как звёздный хруст — эфирные напевы,
Ненужные купцам и их супругам,
Ненужные и в деревушках горных.
Они чисты, наперекор земному.
Они чисты и слов таких не знают:
Вагон, билеты, задница и деньги.

Учись читать, мечтательная Муза,
В домах отцовских, по уборным темным,
И знай отныне, что не поэтично.
Поэзия же — тайное волненье
И легкий вздох, укрытый в многоточьях.

Течет, струится непеременно,
Эрзац молитвы. Так и станет впредь
Простой порядок слов недопустимым.
«Фи, публицист. Уж говорил бы прозой».
Пока открытием авангардистов
Не станет износившийся запрет.

Не все поэты без следа исчезли.
Каспрович выл, рвал шелковые путы,
Не разорвал — они же невидимки,
Да и не путы, а нетопыри,
Что на лету сосут из речи соки.
Стафф, несомненно, был медвяно-ясным,
Русалок, ведьм и проливень весенний
Он славил мнимому же миру.
А что до Лесьмяна, тот был логичен:
Уж если это сон, так сон до дна.

Есть в Кракове короткий переулок.
Два мальчика там жили по соседству.
Когда один из школы возвращался,
Видал другого на песке с лопаткой.
Несхожи судьбы их, несхожа слава.

Огромный океан, чужие страны,
Коралловые отмели за рифом,
Где в раковину голый вождь трубит,
Познал моряк. И живо то мгновенье,
Когда в жаре безлюдного Брюсселя
Он тихо шел по мраморным ступенькам
И возле «К°» компании звонок
Нажал и долго вслушивался в тишь.

Вошел. Две женщины на спицах нитку
Сучили — он подумал: словно Парки.
На дверь кивнули, скручивая пасмо.
Директор анонимно подал руку.
Вот так стал Джозеф Конрад капитаном
На Конго, по решению судьбы.
И Конго — место действия рассказа⁴,
Где слышащим давалось прорицанье:
Цивилизатор, очумелый Курц,
Владел слоновой костью в пятнах крови,
Кончал отчет о просвещении негров
Призывом к истреблению, вступая
В двадцатый век.

Об ту же, впрочем, пору
Подковки, ленты, пляски до утра
В подкраковской деревне, под волынку,
И сотни лет игравшийся вертеп.

Неодолимой воли был Выспанский,
Хотел театра, как у древних греков.
Но не преодолел противоречья,
Что преломляет нам и речь, и зренье,
В неволю нас эпохе отдавая,
И мы уже не лица, а следы,
Не личности, а отпечатки стиля.
Подмоги нам Выспанский не оставил.

Наследье наше — памятник иной,
Воздвигнутый шутя, а не во славу.
Для языка по мерке, как частушка,
А для бесплотной мысли в поученье.
Остроты, чепуха, «Словечки» Боя⁵.

День угасает. Зажигают свечи.
Винтовочный затвор на Олеандрах
Не щелкает. Лужайки опустели.
Ушли эстеты в скатках пехотинцев.
Их кудри смел цырюльный подмастерье.

Стоит в полях туман и запах дыма.
Наполнит рюмки доктор. А она
У фортепьяно, при свечах, в лиловой
Вуали, напевает эту песню,
Что нам звучит, как весть из ниоткуда.

*Отголоски далекой кофейни
Оседали на мертвый висок.*

II. Столица

Чужой ты город на песках сыпучих,
Под православным куполом Собора,
Твоя погудка — ротная побудка,
Кавалергард, солдат всех выше⁶,
Тебе из дрожек ржет «Аллаверды».
Так надо оду начинать, Варшава,
Твоей печали, нищете, разврату.
Окоченелою рукой лотошник
Отмеривает семечки стаканом.
Увозит прапорщик у стрелочника дочку,
Чтобы ей княжить в Елисаветграде.

На Черняковской, Гурной и на Воле
Уже шуршат оборки Черной Маньки⁷,
Уже она в парадном подмигнула.

Тобою, город, Цитадель владеет.
Прядет ушами кабардинский конь,
Едва послышится: «Смерть вам, тираны!»

О луна-парк привислинского края,
С губернией тебе бы управляться.
Но стать теперь столицей государства,
Теперь, в толкучке беженцев с Украины,
Распродающих уцелевший скарб?
Палаш да ржавый карабин французский —
Вооруженье для твоих баталий.

Против тебя, смешная, все бастуют:
И в Златой Праге, и в английских доках.

В отделах пропаганды добровольцы
Строчат ночами о грозе с востока,
Не зная, что над гробом им сыграют
На хриплых трубах «Интернационал».

И все-таки ты есть. И с черным гетто,
И со слезами женщин в довоенных
Платках, и с сонным гневом безработных.

Шагая взад-вперед по Бельведеру,
Пилсудский не уверует в стабильность.
«Они на нас, — твердит он, — нападут».
Кто? И покажет на восток, на запад.
«Я бег истории чуть-чуть затормозил».

Вьюнок взойдет из заскорузлой крови.
Где полегли хлеба, пройдут бульвары.
Как это было? — спросит поколение.

А после не останется ни камня
В том месте, где ты был когда-то, город.
Огонь пожрет истории прикрасы⁸,
Как грошик из раскопок, станет память.
Но поражения твои вознаградятся.
Как знак того, что только речь — отчизна,
Вал крепостной тебе — твои поэты.

Поэт нуждался в доброй родословной.
От набожного цадика, к примеру.
Родители, Лассалья начитавшись,
Клялись Прогрессом и берлинской Lied
И выхолащивали красоту.
Бывали захудалей: из мещанства,
Из безземельной шляхты, даже немцы.

Не снилось им, гудя «Под пикадором»,
Как горек на укус лавровый лист.
Тувим на вечерах в глухих местечках
Кричал, раздувши ноздри: «Ça ira!»
Взрывался зал туземной молодежи
На ветхий звук запрошлого столетья.
Энтузиастов — тех из них, кто выжил, —
Тувим увидит на балу ГБ.
Кольцом замкнулась огненная цепь,
Бал у Сенатора⁹ вовеки длится.

Весну, не Польшу поджидал весною¹⁰,
Топча бывшее, Лехонь-Герострат.
Однако жизнь его прошла в раздумьях
О слущих поясах, о кармазине
Да о религии: не о католицизме,
Но — просто польской. Для национальной
Обедни он избрал в жрецы Ор-Ота¹¹.

А что Слонимский, грустный, благородный?
Грядущее он пел, ему вверялся
И верил: по Уэллсу ли, иначе ль,
Но Царство Разума вот-вот наступит.
Под Небом Разума кровоточащим
Он и под старость внуков одарял
Надеждой бородатой: мол, увидят,
Как Прометей спускается с Кавказа.

Из камушков цветных слагал именье
Делам публичным чуждый Ивашкевич,
Поздней оратор, он же гражданин,
Суровой неизбежности покорный.
Релятивистом быть, ведь всё проходит,
И — стать герольдом доблестей славянских,
Чтоб слушать нам мужицкую капеллу, —
Есть меланхолия в такой судьбе.

Но одиночество в глуши заморской
Не лучше — разве что для честолюбья.
Извечен птичий крестик на снегу.
Не ранит время и не исцеляет.
В окно к Вежинскому заглянет сойка,
Сестрица голубая прикарпатской.
Такою-то ценой платить придется
За юность — за вино и за весну¹².

Такой плеяды не было вовеки.
Но в речи их поблескивала порча.
Гармония у них пошла от мэтров.
В их обработках не было помину
О гомоне сыром простых вещей.

А там бурлило, там бродило глубже,
Чем достает отмеренное слово.
Тувим жил в ужасе, смолкал, кривился
С чахоточным румянцем на щеках.
И, как позднее честных коммунистов,
Он искал тогдашних воевод.
Закашливался. В крике был второй,
Замаскированный: что общество людское
Само уже есть чудо из чудес,
Что мы едим, и говорим, и ходим,
А вечный свет для нас уже сияет.

Как те, что в радостной, пригожей деве
Скелет узрели, с перстнем на фаланге, —
Был Юлиан Тувим. Поэм он жаждал.
Но мыслил он — как рифмовал, банально,
Истертым ассонансом прикрывая
Видения, которых он стыдился.

Кто белою рукою в этом веке
Усеивает строчками бумагу,
Тот слышит плач и стук несчастных духов,
Закрытых в ящике, в стене, в кувшине
И тщащихся дать знать, что их рукой
Любой предмет из хаоса был добыт,
Часы тоски, отчаянья, муки
В нем поселились и уж не исчезнут.
Тогда пугается перо держащий,
Неясное питает отвращенье,
Былую ищет обрести невинность,
Но ни к чему рецепты и заклатья.
Вот отчего младое поколение
Умеренно любило тех поэтов,
Им почести воздав, но не без гнева.
Оно с тех пор программно заикалось:
Заика-де высказывает смысл.
Не в милости у них был и Броневский,
Хоть что-то — необузданно, подпольно —
Слагал в стихи для пролетариата.
Однако дубликат Весны Народов —
В конце концов такое же бельканто.

А им мерещился Уитмен новый.
В толпе извозчиков и лесорубов
Он превращал бы повседневность в солнце.
Вибрируя в рубанках и долотах,
На всю-то он вселенную сиял бы.

Авангардистов было очень много.
Достоин восхищенья только Пшибось.
В труху распались нации и страны,
А Пшибось тем же Пшибосем остался.
Ему безумье сердца не изъело.
По-человечески его легко понять.
В чем его тайна? В Англии Шекспира
Уже возник такой помпезный стиль,
Что признавал метафоры и только.

В душе был Пшибось рационалистом.
В эмоциях не выходил за рамки
Разумной социальной единицы.
Равно ему чужды печаль и юмор.
Хотел он раскрутить статичный образ.

Авангардисты, в общем, заблуждались,
По краковскому старому обряду
Приписывая слову ту серьезность,
Что не снесет оно, не став смешным.
Но, челюсти сжимая, замечали,
Что говорят они натужным басом
И что мечта их о народной силе —
Уловка уstraшенного искусства.

А глубже — то была пора раскола.
«Бог и Отчизна» больше не пленяли.
Сильней, чем встарь филистера богема,
Поэт улана ненавидел, флаги
Осмеивал и презирал мундиры,
Плевал, когда со стэками юнцы
Визжа гнались за купчиком в ермолке.

Финал заранее был уготован
Не за нехваткой пушек или танков.
Авангардисты, рационалисты,
А все поэты в Польше — как барометр.
Соборная распалась, скажем, ценность,
И вера общая людей не единила.

Кто сознавал — в иронию скрывался
И жил на островке, среди своих.
Кто сознавал острей — внушал себе же,
Что если чтит кумиров, то с народом.
Галчинский рвался падать на колени.
Его история полна глубоких истин,
И главная: без общества поэт —
Как ветра шум в сухих декабрьских травах.

Не для него сомнения, иначе
Схлопочешь вмиг предателя клеймо.
Да будет сказано в конце концов,
Что партия — наследник ОНР'а¹³,
А кроме них была сплошная пустошь
Да жалкий бунт презренных единиц.
Кто Болеславов меч извлек из тлена?
Кто мыслью вбил быки в корыто Одры?
Кто сделал из страстей национальных
Устойчивый цемент великихстроек?

Галчинский всё связал одним узлом:
Смех над буржуем, польскую «Хорст Вессель»
И гордость, что и мы — мы тоже скифы.
Он был равно прославлен в две эпохи.

Иная связь Чеховича с землею.
Укропа грядки, ветхие застрехи,
Как зеркальце — привислинское утро.
Разносит эхо по росе куваяк
Вальков да прачек подле ручеечка.
Он малое любил, он сны собрал
Земли аполитичной, беззащитной.
О птицы и деревья, от забвенья
Могилу Юзя в Люблине храните.¹⁴

Не нацию желал, а сто народов
Затронуть Шенвальд. Хоть и сталинист,
Умел у Маркса черпать и у греков.
То нарисует сцену у ручья,
Где школьная экскурсия встречает
Босых, крадущих хворост ребяташек,
А то покажет, как велосипед
Овеял счастьем парня из барака.
Поэзия — не функция морали.
Вот Шенвальд — лейтенант-красноармеец.
Когда по лагерям полярным стыли
И стекленели трупы ста народов,

Прекраснейшими польскими стихами
Писал он оду Матушке-Сибири.

А школьник по крутому тротуару
Уносит книгу из библиотеки.
А книга эта — пухлый том Майн-Рида,
Засаленный ладошками индейцев.
Косой закат в лианах амазонских,
Волной сносимы, распростерты листья,
Что выдержат и тяжесть человека.
Он, фантазер, плывет на этих листьях,
И, бурные, как войлочный орех,
Над ним мостом сплетаются мартышки.

А он, поэтов будущий читатель,
Кривых плетней и серых туч не видит,
Уже готовый жить в стране чудес.
И, если обойдет его гибель,
Он нежность сохранит к проводникам.
А Ивашкевич, Лехонь и Слонимский,
Вежинский и Тувим навек пребудут
Такими, как их в юности он встретил.
Кто больше да кто меньше, он не спросит,
Охотясь в каждом за иным оттенком,
Ведя челнок по Амазонке звезд.

Там ту же ложку супа в рот заросший
Людского голода вливает Виттлин.¹⁵
Балинский слышит бубенцы верблюдов
В розово-серый исфаганский вечер.
Там Тит Чижевский вторит заклинанью
Трубящих над Младенцем пастухов.
Корабль в витрине созерцает Важик,
И искрится волна Аполлинера.
Там раздаются трели нашей Сафо,
Какой еще не знала наша речь,
Оршули Кохановской¹⁶ воскрешенной.
Сотрется жизнь, но кружится пластинка.

Давно забыв о бархате Карузо,
Играет жалобу Марии Павликовской,
Предсмертное ее «*Per che? Per che?*»¹⁷

Так не напрасно ссохлась кровь улана
Для муравьев подарком под березой?
Не так уж, значит, стоит осужденья
Заботившийся только о границах
Пилсудский? Он купил нам двадцать лет,
Тянул он шлейф грехов и обвинений,
Чтобы прекрасное созреть успело.
Прекрасное — такая, скажут, малость.

Читатель, ты не заживешь по-райски.
Страна эта прекрасна и обильна,
Да непрочна, как брезжущий рассвет.
Мы что ни день ее воссоздаем
И больше уважаем, что реально,
Чем что застыло в звуке и в названьи.
И силой — она вырвана у мира,
А без усилия — не существует.
Прощай, прошедшее. Стихает эхо.
И нашей речи быть кривой, корявой.

Последние стихи эпохи шли
В печать. Их автор, Владислав Себыла,
Под вечер вынимал из шкафа скрипку,
На полке с Норвидом футляр оставив,
И железнодорожного мундира
Тогда он не застегивал петлицы.
В своих стихах, подобных завещанью,
Отчизну он сравнил со Святовидом.
Все ближе, ближе барабанный рокот
С равнин восточных, с западных равнин,
А ей все снится пчел ее жужжанье
В полдневный зной, в садах у Гесперид.
За это ли Себылу под Смоленском
В лесу зароят, прострелив затылок?¹⁸

Прекрасна ночь. Высокая луна
Перепополняет небо тем сияньем
Особенным, сентябрьским. Скоро утро.
И воздух тих над городом Варшавой,
И серебристые аэростаты
Стоят недвижно в побледневшем небе.

Процокают у Тамки каблучки,
Призывный полушепот, и в бурьянник
Уходит парочка. В тени незримый,
Молчит дежурный, только ухо ловит
Их слабый смех в густой постели мрака.

Ни жалость одолеть он не умеет,
Ни выразить их общую судьбу.
Рабочий и простая поблядушка
Перед ужасным восходящим солнцем.

И, может, поразмыслит он позднее,
Что стало с ними в днях или веках.

III. Дух истории

Когда со статуй краска опадает,
Когда законов буква опадает,
Сознание голо, как зеница ока.

Когда на сталь, на съёженные листья
Летят огнем из книг сухие листья,
Добра и зла ничем не скрыто древо.

Когда на грядках гаснет крыл холстина,
Когда трещит железо, как холстина,
Солома остается да навоз.

По колким стежкам, в рощах мазовецких,
В песке меж Губернаторством и Рейхом,

Ступают ноги плоские крестьянки.
Пристанет, на сосёнку обопрется,
Занозу вынет из подошвы пыльной,
И масляный брусок в тряпице мокрой
Музейный слепок снимет со спины.
У переправы бой, квохтанье кур,
Из кузовков повысунулись гуси,
А в городах прочиркивают пули
По плитам, по кисетам с табаком.
И в пригороде, в глиняном карьере,
Всю ночь кончается старик-еврей,
Лишь на рассвете вой его утихнет.
Седая Висла оmyвает лозы
И сносит камешки, катясь широко.
И хлюпают колеса парохода,
Набитого мешочниками. Шест
В течение тычет Стасек или Генек,
Покрикивая: «Метар! Метар двадцать!»

Где дым от крематория клубится
И где по деревням звонят к вечерне,
Гуляет Дух Истории довольный.
Милы ему после потопа страны,
Готовые принять любую форму.
Мелькает на задворках та же юбка
В Аравии, и в Индии, и в Польше.

Он по́ небу распластывает пальцы.
Под ними едет на велосипеде
Организатор сети контрразведки,
Кругов военных лондонский посланец.
Внизу, как жито, мелки осокори,
Ведущие от дома до усадьбы,
А там сидят, усталые, в столовой
Ребята в офицерских сапогах.
Усы возниц запорошило пылью.

Поэт его узнал уже, увидел,
Злобога, у которого во власти
И время, и судьба поденок-царств.
Его лицо размером в десять лун,
На шее бусы из голов кровящих.
Кто не признал его — жезлом задетый,
Заговорится и утратит разум.
Кто поклонился — будет лишь слугою,
Ему презреньем господин отплатит.

Венки лавровые, лужайки, лютни!
Куда вы делись, дамы и князья!
Вас можно было распотешить лестью,
В припрыжке ловкой кошелек словить.
Он жаждет большего — души и плоти.

Кто ты, властитель? Долги эти ночи.
Не ты ли ведом нам как Дух Земли,
Что сбрасывает гусеницу с груши
На прокормление черному дрозду?
Что дохлыми жуками устилает
Постельку луковицы гиацинта?

Губитель, ты и он — одно и то же ль?
Он, неотступный, он, товарищ верный.
Как часто нашей он водил рукою
По гладкой шее и спине девичьей,
Когда бредут в июльский вечер пары
Лугами к озеру под запах сосен,
Гармоника наигрывает небыль
Про острова влюбленных в океане.
Теперь мотив забыт, и вспомнить страшно.
Как часто он же нам, краса и слава,
Ликующий тетеревиный клич,
Иронией умел скривить улыбку,
Нашептывая, что весенний воздух,
Трель соловья и наше вдохновенье —
Всего лишь его щедрая наживка,

Чтоб совершалось продолжение рода,
Что кровь остынет и, покрыты ржою,
В гниющем пурпуре мы погрузимся
В тот прах, что миллионы лет копился,
Где нас заждался прадед-питекантроп.

Скажи, в разумном гегелевском фраке
Любитель диких ветреных сторонки,
Ты что же, имя поменял — и только?

Подпольные листки в холщовой сумке.
Поэту слышен смех его могучий:
Я в наказание разума лишил их.
Никто не встанет мне наперекор.

Где слово, что грядущего достигнет,
Где слово, что спасет людское счастье,
Которое так пахнет теплым хлебом,
Когда язык поэзии не знает
Того, что выпало потомкам поздним?
Мы не обучены, не представляем,
Как слить Свободу и Необходимость.

К двум крайностям во сне клонится ум.
Погибель неземных и осиянных:
Ища небес, материю презрели.
В ней радость, сила жизни и тепло.
Погибель грузных и благоразумных:
Рассветную звезду во лжи утопят —
Тот дар, что выше смерти и природы.

Подпольные листки в холщовой сумке.
Крошится пропагандная поэма.
Не зная, что к чему, звучит фальшиво.
От сильных чувств поэзия смолкает,
Еще твердит далекие призывы,
Но содержание ей не в подъем.

В наш век есть то, чего не увидали
Двадцатилетние варшавские поэты, —
То, что идеям сдастся, не Давидам
С пращю. У больничного порога
Вот так стремишься только раз, последний,
Понять и смех детей, и птичье пенье,
Пока еще не заперты ворота,
И, к завтрашним решениям равнодушный,
Ты цепко верен нынешней минуте.
Над старой баррикадой не вставали
Народов зори и заветы предков.
Стояла раненая Богоматерь
Над желтым полем и венком полегших.

Те юноши растерянно касались
Стола и стула утром, словно в ливень
Нетронутый находишь одуванчик.
Для них дробились в радугу предметы,
Размытые, как в отошедшем прошлом.
Возможность славы, мудрости, покоя
Они своей молитвой отвергали.
Все их стихи — о мужестве молебен:
«Когда мы будем изгнаны из жизни,
Наш дом златой, в постель из малахита
Ты на ночь нас — на вечную — прими».
И ни один герой у древних греков
Не шел на битву так лишен надежды,
Воображая свой бесцветный череп,
Откинутый ботинком равнодушным.

Поляком или немцем был Коперник?¹⁹
У памятника пал с венком Боярский.
Должна быть жертва чистой и бесцельной.
Тшебинский, этот новый польский Ницше,
Шел на расстрел со ртом, залитым гипсом,
Запомнил стену, медленные тучи,
Секунду глядя черными глазами.
Бачинский пал ничком, лицом к винтовке.

Восстание спугнуло голубей.
Строинский, Гайцы были взнесены
В багрянец неба на щите разрыва.

С гусиных перьев капелькой чернильной
Свет дня еще под липой не скатился.
Все тот же в книгах царствовал порядок,
Уверенный, что зримая краса
Есть зеркальце для красоты творенья.

В полях живые от себя самих
Бежали, зная, что столетье минет,
Пока вернутся. Впереди зыбучий
Песок, где превращаются деревья
В ничто, в анти-деревья, где границ
Нет между формами, где напрочь рухнул
Тот дом золотой, то слово б ы т и е ,
И — с т а н о в л е н ь е с этих пор у власти.

Им шею гнула прожитая трусость:
Никто не рвался погибать бесцельно,
Но, гибели боясь, утратил цель.
А он, предсказанный и долгожданный,
Дымил над ними тысячей кадильниц.
К нему ползли они по хлябям на поклон.

«О Царь веков, Круговорот безмерный,
Ты наполняешь гроты океана
Беззвучным шумом, ты живешь в крови
Акулами сжираемой акулы,
Ты слышен в посвисте летучей рыбы,
В железном грохоте и гуле скал,
Когда вздымаются архипелаги.

Прибой грохочет, унося пожитки,
Жемчужины суть кости, с коих соль
Сняла парчу и царские короны.
О Безначальный, о переходящий

Из формы в форму, о поток, о искра,
О антитезис, зреющий во чреве
У тезиса. Вот стали мы как боги,
В тебе поняв, что мы не существуем.

Ты, в ком с причиной следствие сошлось,
Ты вывел нас из глубины, как волны,
В единый миг безбрежной перемены,
Открыл нам боль двадцатого столетья,
Чтоб мы взойти могли на высоту,
Туда, где держишь ты штурвал вселенной.
Помилуй нас. Грехи наши огромны.
Мы забывали твой закон. Невеждам
Прости и яко верных нас прими».

Так присягали, но упорно втайне
Надеялись, что время — арендатор
Не на века. В один прекрасный день
Дано им будет на побег цветущий
Глядеть одну безмерную минуту,
Закреть клепсидру, убаюкать волны
И маятника слушать замиранье.

Когда обмотают мне шею веревкой,
Когда мне дыханье отнимут веревкой,
Качнусь я по кругу, и кем же я буду?

Когда меня в ребра уколут фенолом,
Когда я шагнуть не смогу под укол,
Какую ж я мудрость пророков добуду?

Когда разорвут наши руки навеки,
Когда разорвут наши зори навеки,
Никто их на небе не свяжет обратно.

А я, кроме сердца, что вот-вот умолкнет,
А я, кроме слова, что вот-вот умолкнет,
Не знаю ни дома, ни сына, ни брата.

Поэт облакам угрожал в нашем гетто,
Бросал я монетки в ладони поэта,
Чтоб песня до смерти осталась со мною.

На камерной стенке долбил я ночами
То слово любви, чтоб до века скончанья
Оно вокруг солнца кружило с тюрьмою.

В жестянку, в жестянку в такт песенке бил я,
И нет меня, нету, а там еще был я,
Где наша дорога свернула к застенку.

И в день покаяния, в день ли прощенья,
Быть может, откроют, отроют в защельи
Мой след, мой дневник, замурованный в стенку.

Земля истребленья, погибели, злобы,
Она не очистится силою слова,
Не уродить ей такого поэта.

А если б один и нашелся единый,
Мы вместе за проволоку с ним уходили,
Избранником было бы детище гетто.

Славянской сельской неуклюжей речи
Пришлось-таки изрядно потрудиться
Над рифмой безымянного напева,
Что и поныне в воздухе дрожит
И там, где в пальмы белый бьет прибой,
И там, где встали пихты штата Мэн
И в ледяные воды Лабрадора
Скопа ныряет. А напев был прост.
Тот мадригал, что прежде под виолу
Девичам пели во саду зеленом,
Впервые прозвучал наоборот.

Зима пройдет

Единственная мстительная радость
Еврейских девушек на тяжком марше.
Да, скоро ночью журавли промчатся,
Лежалый снег не будет ранить руки.
Да, у ручья на гравии стопа
Розовощекой галькой захрустит.

Весна придет

Да, буйным соком набегут тюльпаны,
В окно жужжа ударит майский жук.
Да, юноша сплетет своей невесте
Венок из молодых дубовых листьев.

Тогда из нас

Из нас — ведь мы теперь одно и то же.
Кость, мясо, нервы — наши, не мои.
А имена Рахиль, Мирьям и Соня
Угаснут и остынут на ветру.

Трава взойдет²⁰

Трава, побитая иронией напева.

Засолены огурчики с укропом
В посуде запотелой. Вот что вечно.
И хворост в очаге трещит с утра.
Некрашенные ложки в миске с супом.
В сенях берешь корзины и мотыги
Под стенкой, под куриное квохтанье.
И — по меже. И ни конца, ни краю.
Туманно, плоско аж до Скерневиц.
Туманно, плоско дальше до Урала.
Эй-эй, не уставай, не скоро полдень.²¹

*В легкую нанку одевшись по моде,
Юных и светских сзываю соседей;
Мы за нарядами утро проводим
Иль предаемся веселой беседе.*

Над глиной, над картофельной ботвою
Порхнет снежинкой, искрой самолет
И кувыркнется высоко за тучей.

*Ну-ка, кто о чем тут страждет?
Кто тут алчет? Кто тут жаждет?*

В горчичных зернах больше нет нужды.
Поэзия живет в фарфоре теплом,
И служит ей Харит прелестных стайка,
Смысл извлекая из античных зелий.
Попыхивая люлькой, в легкой нанке,
Пускай бы снова помечтал поэт.
Был дом бревенчат, но на камне ставлен.

Лежали там «Федон» и «Жизнь Катона».
А если в доме том в канун субботы
Затепливали дедовский подсвечник —
Из ритмов Даниила и Исайи
Звучал навеки памятный урок
Цены молчания и правил стихотворства.

Венчает замок гору в Новогрудке.

Нужны ручьи, лесистые пригорки,
А здесь не защитится человек.
Пустые горизонты озирая,
Он не поверит, что стоит в середине,
И в путь пойдет за движущейся тенью.

Кто не рожден в том полевом краю,
По морю уплывет, уйдет по суше
Под яблонями рейнскими искать,
Ловить под мэнской пихтой отраженьё
Черно-зеленых рек своей отчизны.
В столпотвореньи незнакомых лиц
Так гонишься за некогда любимым.

Пожалуй, трудноват для нас Мицкевич.
Куда нам до наук еврейских, панских.
Мы там за плугом аль за бороной.
Не та нам в праздник музыка играла.

*Го-ля о-ля
пастухи-та с поля
утки в дудки
пастухи до будки
йдите-ка до хлева
там Святая Дева
и Григорий эконоом
со чернилицей с пером*

Бурчит, буркочет брюхо контрабаса:

*гуду-гуду-ду
играю-граю-у
Пану Богу Христу Пану
граемо Ему*

А скрипка липовая тоненько пищит:

*тили-тили тели-тели
заиграли та запели
чили-ли чели
до звезды сочельной*

Волынку мнет и дует старый Гжеля:

*ме-э-э-ле ме
козу-бе козу-ме
дули-гудули
до моей козули*

А с ним вперегонки дудит кларнет:

*муля-уля уля-ля
матуленька-матуля*

И контрабас, подтягивая, вторит:

*Пану Богу
Христу Пану
граемо Ему*

Так многое, так много миновало.
Но что литература не спасла —
Нам Тит Чижевский возвратил колядкой.
И контрабас не молкнет, как не молк.

Я высыпал табак, скрутил сигарку
И чиркнул спичкой в домике ладони.
А почему не трут и не кресало?
Дул ветер. В полдень я сидел и думал
На том краю картофельного поля.

IV. Природа

Отворяется сад природы.
На пороге трава зеленеет.
Зацветает миндаль.

Sint mihi Dei Acherontis propitii!
Valeat numen triplex Jehovahae!
Ignis, aeris, aquae, terras spiritus,
Salvete! — гость говорит.

Живет у яблони в хоромаш Ариэль,
Но не придет дрожать крылом осиним.
И Мефистофель, нарядясь аббатом
Доминиканским или францисканским,
С тутовника не спрыгнет в пентаграмму,
Начерченную тростью на дорожке.

Но в розовых молчащих колокольцах
Взбирается на скалы рододендрон.
Колибри, как воздушная юла,
Повисла — сердце сильное движенья.
Коричневою капелькой потеет
На терние насаженный кузнечик,
Не ведая ни пыток, ни закона.
Что делать тут тому, кого зовут
Верховным чудищем и чудодеем,
Сократом слизняков, судьей иволг
И музыкантом вишен, — человеку?
Способна выжить индивидуальность
В картинах, в статуях — в стихии гибнет.
Сопровождать ему гроба лесничих,
Которых скинул горный черт, козел
С кольцом рогов над выгнутым загривком.
На кладбище гарпунщиков ходить:
Копье вбивая в плоть левиафана,
Они в жиру кишок секрет искали —
Энергия, остыв, волной вскипала.
Распутывать загадки докторов
Алхимии: они почти достигли
Разгадки, то есть власти, и исчезли
Без рук, без глаз, да и без эликсира.

Тут солнце. Тот же, кто поверил с детства,
Что акт и действие понять довольно
И повторяемость вещей порвется, —
Унижен и в чужой сгнивает коже.
Ошеломленный бабочкою яркой,
Он чужд искусству, безъязык, бесформен.

Я вёсла обвернул, чтоб не скрипели
В уключинах. А от Скалистых Гор,
Небраски и Невады шли потемки,
Заглатывая лес материка.
Отражены предгрозовые тучи,
Пролеты цапли, и торфяник топкий,
И черный сухостой. За лодкой следом
Вновь строила утопия мошки
Сияющие своды. Погружалась
Тень лилии под борт, прошелестев.

Чем ближе ночь, тем пепельней тона.
Играйте, музыканты, но не громче,
Чем ход часов. Я жду своей минуты.
Моя столица на бобровых гонах.
Вся в бороздах озерная вода,
Ее вспахал чернильный месяц зверя,
Взошедший ввысь из пузырьков метана.
Нематерьяльным быть мне не дано.
Мне не глядеть таким бесплотным взглядом.
И мой звериный дух гудит сиреной,
Сияет радугою, спугивает зверя.
Плеснулось эхо.

Но остался я
В высокой, мягкой бархатной укладке
И властвую над тем, что захватил:
Над шлепаньем четверопалых лап,
Над отряханьем шубки в коридоре.
Не знает он ни времени, ни смерти,
Я — выше: я-то знаю, что умру.

Я помню всё: ту базельскую свадьбу.
Струна виолы вздрагивает. Фрукты
На серебре. И опрокинут кубок
На шестерых, как принято в Савойе,
Вином текущий. Язычки свечей
Неверны, шатки в дуновеньи с Рейна.
С белеющими косточками пальцы
Запутывались в петлях и крючках.
Упало платье шелковой скорлупкой
С ядреного литого живота.
На шее цепь звенела вне эпохи,
В колодцах, где со ржою завещаний
Рыжь кесарей сплелась и птичий крик.

А может, это за семью морями
Одна любовь моя. Навязчивой идеей
Нечистой закрыт туда мне доступ.
А ставень и собаки на снегу,
Свист паровоза и сова на ели
Исчезнут из припоминаний ложных,
И вымолвит трава: да было ль это?

Плеснет бобер в ночи американской,
И вот уж память больше целой жизни.
Еще звенит луженая тарелка
На выщербленном каменном полу.
Таис, Белинда, юная Джульетта
Шерстистое под лентой прячут лоно.

Принцессам — вечный сон под тамариском.
В их крашенные веки бил самум,
Пока не свили тело кушаками,
Пока пшеница в склепе не уснула,
Не смолкли камни и осталась жалость.

Вечор шоссе змея перебегала.
Вилась, помята шиной, на асфальте.
А мы — мы и змея, и колесо.

Два измеренья есть. Тут, на границе
Не-жизни с жизнью, правда существа
Непостижимая. Сошлись прямые.
Два времени над временем скрестились.

Без языка, без формы ужаснется
Он перед бабочкою — он, непостижимый.
Что бабочка, оставшись без Джульетты?
И что Джульетта без ее пыльцы
На животе литом, в глазах и косах?
Ты скажешь — царство? Мы в него не входим,
Хоть и не можем выйти из него.

Надолго ли еще достанет мне
Абсурда польского с поэзией аффектов,
Не полностью вменяемой? Хотел бы
Я не поэзии, но дикции иной.
Одна она даст выражение новой
Чувствительности, что спасла бы нас
И от закона, что не наш закон,
И от необходимости не нашей,
Хотя б ее мы нашей называли.

Из лат разбитых, из глазниц пустых,
Приказом времени обратно взятых
В распоряжение плесени и гнили,
Растет надежда: воедино слить
Бобровый мех и камышовый запах,
Ладонь, что опрокидывает кубок,
Вином текущий. И к чему же крики,
Что историчность суть уничтожает,
Когда она-то и дана нам, Муза
Седого Геродота, как оружие
И инструмент? Хоть не всегда легко
Использовать ее и так усилить,
Что снова, словно золото в свинце,
Она послужит людям во спасенье.

Так размышляя, в центре континента
Я греб во тьме сквозь вязкую осоку,
Воображая оба океана
И качку фонарей сторожевых
Судов и зная, что не только я
Нашел зерно неназванного завтра.
И в такт тогда слагался вызов, чуждый
Для шелестящей шелковой ночнянки:

*О Общество, о Город, о Столица!
Раствóренным зияя дымным чревом,
Ты не накормишь нас своим напевом.
Чем ты была, тому не воротиться.*

*Ты слишком предалась самодержавью
Бетона, стали, пакта и закона.
Ты нам была пример и оборона.
Для нас росла и в славе, и в бесславьи.*

*Где оказался наш союз разорван?
В огнях войны, во вспышках звезд падучих
Иль в сумерки, в пустыне рельсов, в тучах,
Когда бежали башни с горизонтом.*

*И хмуρο вглядывалось в отраженье
Лицо девичье узкое, и чётко
Был ленты взмах над чащей папилюток
В окне, под паровозное круженье?*

*Твоя стена — теней стеною стала.
Твой свет угас. Не монумент надменный
Под солнцем изменившейся вселенной,
Но наших рук создание устояло.*

*Сквозь ширмы, занавески, позолоту,
Прорвав портреты, зеркала и стены,
Выходит человек, нагой и смертный,
Готовый к правде, к речи и к полету.*

*Приказывай, Республика. До слёз
Испробуй все свое очарованье.
Но он идет, как стрелка часовая.
И смерть твою уже с собой принес.*

Я шел по лесу, вёсла на плече.
Мне вслед зафыркал дикобраз из сучьев.
Присутствовал и филин, мой знакомый,
Эпохе неподвластный и пространству,
Всё тот же самый Vubo из Линнея.

Америка моя — в мехах енота,
С его глазами в черных ободках.
Бурундучком в валежнике мелькает,
Где повитель над черною землею
Свила лириодендрона стволы.
Ее крыло — окраски кардинала.
Клюв приоткрытый — как из-под куста
Шипит, в парú купаясь, пересмешник.
Стеблистость мокасиновой змеи,
Переправляющейся через реку.
Она гремучкой под цветами юкки
Совьется в грудку крапинок и пятен.

Америка мне стала продолженьем
Преданий детства о глубинах чащи,
Повествовавших под пенье прялки.
И, заводя square-dance'а хоровод,
Играют скрипки, как в Литве играли.
Моя танцóвщица — Бируте Свенсон,
Из Ковно родом, замужем за шведом.
И тут ночная бабочка на свет
Влетает, в две ладони шириною
И глянцево-прозрачно-изумрудна.

А почему бы нам не поселиться
В природе, пламенистой, как неон?
Не задает ли нам работы осень,
Зима, весна и мучащее лето?
Нам не расскажут воды Делаваара
Ни о дворе блестящем Сигизмунда,
Ни об «Отъезде греческих послов»²².
И, не разрезан, Геродот пылится.
И только роза, символ сексуальный,
Она же символ неземной любви,
Откроет неизведанные бездны.
О ней-то мы во сне напев услышим:

*В глубинах розы есть дома златые,
Ручьи ледяные, черные протоки.
Персты рассвета на вершинах Альп,
А вечер с пальм стекает на заливы.
А если кто умрет в глубинах розы,
То вереница веемых плащей
Дорогой пурпурной несет его с горы,
Дымятся факелы в пещерах лепестков,
И будет он схоронен в недоступной
Завязи цвета, у истока вдоха,
В глубинах розы.*

Пусть месяцев названья то и значат,
Что значат. Да ни в коем залп «Авроры»
Не длится. И ночной бросок хорунжих²³
Ни одного не заразит. На память
Пускай хранится, как в шкатулке веер.
И почему бы на столе дощатом
Нам не писать по-старосветски оды
И славить звездный календарь, сгоняя
Жука с бумаги кончиком пера?

О Д А

О октябрь!

Ты мое истинное наслаждение.

О месяц клюквы и кленов багряных,

Гусей, летящих в воздухе чистом с Гудзонова залива,

Сохнущей повилики и увядающих трав.

О октябрь.

О октябрь!

В тебе живет тишина дорог, усталых хвоей,

И причитанья собак, напавших на след.

И в тебе же игра на пищалке из совиного крылышка

И трепыханье птицы, еще не упавшей в бор.

О октябрь.

О октябрь!

Ты инеем белым сверкаешь на шпагах,

Когда за Вест-Пойнтом, с поросшей вьюнком скалы

Польский артиллерист²⁴ зрит многоцветную чащу

И кафтаны кленовые английских солдат,

Пробирающихся по тропе Аппалачей.

О октябрь.

О октябрь!

Холодно твое хрустальное вино.

Терпок вкус твоих губ под рябиновым ожерельем.

На твоих задыхающихся боках

Пепельная шкура горного оленя.

О октябрь.

О октябрь!

Росою осыпающий ржавые следы,

В буйволовый рог трубящий над привалом повстанцев,

Босую стопу обжигающий на покатой меже,

Где клубится картофельный и пушечный дым.

О октябрь.

О октябрь!

Ты пора поэзии, то есть полной решимости

В любое мгновение жизнь начать сначала.

Ты даешь мне волшебное кольцо, и, повернуто,

Оно светит вниз никому не видимым бриллиантом свободы.

О октябрь.

Нам многое, да, многое припомнят.

Отвергли мы спокойствие молчанья,

Достойных уваженья размышлений

О мировых структурах. Вечной теме

И чистоте мы были неверны.

И хуже — пыль событий и имен

Мы что ни день словами ворошили,

Тревожась мало, что она угаснет

Мильоном искр, и вместе с нею мы.

Даже бесславье, принятое нами,

Как будто было умысла не чуждо,

И нехотя, но мы платили цену.

Когда себя ты знаешь — признаёшься,

Что был как тот, кто слышит голоса,

Не разбирая слов. Отсюда злость,

Подошва, выжимающая скорость,

Как будто можно от галлюцинаций

Бежать. Свою незримую веревку

Влачили мы, гарпун спиною чужа.

И всё же обвинители ошиблись,

Печальники о зле эпохи нашей,

Принявши нас за ангелов, что в бездну

Низвергнуты и там, из этой бездны,

Грозятся кулаком делам Господним.

Да, многие сошли на нет бесславно,

Открывши относительность и время,

Как химию неграмотный открыл бы.

Другим — одна обкатанная галька,
Подобранная около реки,
Дала урок. Достаточно мгновенья,
Набухших кровью окуньковых жабр,
Пропаханной бобровой борозды
По спящей тоне, под безлунным небом.

Ведь созерцанье без отпора гаснет —
Его и сам отвергнет созерцатель.
А мы — наверно, были мы счастливей,
Чем те, кто в Шопенгауэра книгах
Печали черпал, слушая в мансарде
Назойливые отзвуки шантана.
И философия, поэзия, деянье
Нам не были, как им, разделены,
В одну сливаясь — волю? иль неволю?
Подчас горька, а все-таки награда.

Пусть, заблудясь, в истории застряв,
Не обретаем венца и вечной славы.
Ну так и что? У них и мавзолеи,
И памятники, но в осенний дождик
Для юной пары под одним плащом
Их совершенство ничего не значит.
А слово, что останется, — осталось
Вспоминаньем приоткрытых губ:
Хотели вымолвить, да не успели.

О духи воздуха, огня, воды,
Пребудьте с нами, но не слишком близко.
Винт корабля от вас уж отделился.
Проходим зону чайки и дельфина.
И ожиданье, что Нептун с трезубцем
И nereидами всплывет из пены,
Напрасным было. Только океан
Кипит и повторяет: тщетно, тщетно.

Тщета могущественна. Ей противясь,
Мы размышляем о костях корсаров,
О губернаторских бровях атласных,
Что краб прогрыз, до мяса добираясь.
Уж лучше крепко в поручни вцепиться
И в тяжком духе мыла, краски, лака
Найти подмогу. В скрежете заклепок
Плывут безумье наше и неясность,
И вера тайная, и тайный грех,
И лица павших вдалеке от дома.
На остров счастья? Нет. Ни я, ни ты
Не внемлем строк Горация за вихрем.
С изрезанной, скрипучей школьной парты
Нас в пустоте соленой не нагонит:

Iam Cytherea choros ducit Venus imminente luna!

1956, Бри-Конт-Робер

Примечания переводчика

- 1 «Рахили в длиннохвостых шалях» — отсылка к героине драмы Станислава Выспянского «Свадьба» (те, кто видел фильм Вайды, помнят Майю Коморовскую в роли Рахили). Переводчику приходится признаться, что первый, поверхностный (и ошибочный) вариант был «Рашели»: автоматически сработало «ложноклассическая шаль» и «Так, негодующая Федра, / Стояла некогда Рашель».
- 2 Анна Чилаг (правильно: Циллаг) — героиня рекламы средств для ращения волос перед Первой мировой войной в Австро-Венгрии. Она уже появлялась в польской поэзии — в стихотворении Юзефа Виттлина «A la recherche du temps perdu» (1933):

Я, Анна Чилаг, с длинными кудрями,
Всё та, всё в той улыбке сладко тая,
Стою между газетными столбцами
Вот уже тридцать лет, как бы святая.
.....
Моих кудрей шумящий водопад
Ковром пушистым стелется до пят,
До пят босых волосяной богини.
.....
Я, Анна Чилаг, даже в те года,
Как кровь была дешевле, чем вода,
И литеры набора заливала,
И рядом со столбцов ко мне взывала, —
Не поседела ни на волосок,
Не оскудела ни на волосок.
- 3 Немецкое слово *Schifkarte* в форме «шифкарта» вошло в польский язык в начале XX в., во времена массовой эмиграции, — ныне ощущается как устаревшее. «Шифкарта» была для эмигрантов даровым билетом на проезд в трюме трансатлантического парохода — билет оплачивали и высылали заокеанские родственники.
- 4 Речь идет о повести Джозефа Конрада «Сердце тьмы».

- 5 «Словечки» Тадеуша Желенского, более известного под псевдонимом Бой, — сборник «фрашек» (стихотворных острот или, попросту говоря, эпиграмм).
- 6 «Кавалергард, солдат всех выше» — по-русски в тексте. Строка из русской армейской песни.
- 7 «На Черняковской, Гурной, на Воле» — начало припева популярной в варшавских предместьях баллады о Черной Маньке, проститутке, отравившейся после того, как ее бросил возлюбленный (ср. «Маруся отравилась...»).
- 8 Строка из «Конрада Валленрода» Мицкевича. Здесь приводится по кн.: Адам Мицкевич. Стихотворения. Поэмы. М., 1968, — в пер. Н. Асеева.
- 9 Бал у Сенатора — сцена из III части «Дзядов» Мицкевича:

Смотри, как подъезжает к даме.
 Вчера пытал — сегодня в пляс.
 Обшаривает всех глазами,
 Шакалом рыщет среди нас.

 Вчера, как зверь, когтил добычу,
 Пытал и лил невинных кровь.
 Сегодня, ласково мурлыча,
 Играет с дамами в любовь.

 Какой здесь блеск, все тешит взоры!

 Ах, негодяи, живодеры!
 Чтоб разразило громом вас!
Пер. В.Левика. Цит. по тому же изд.

Речь идет о следствии, которое вел в Вильне сенатор Новосильцов по делу молодежного тайного общества филаретов. Арестованный по этому делу, Мицкевич был выслан во внутренние губернии России (его приговор был одним из самых мягких).

- 10 «И пусть весной весну — не Польшу встречу», — писал Ян Лехонь (Лешек Серафинович) вскоре после восстановления независимой Польши. Это было время, когда в кафе «Под

Пикадором» (одним из его основателей был Лехонь) начала складываться поэтическая группа «Скамандр» — о ней Милош далее говорит: «Такой плеяды не было вовеки». Кроме Лехоня, в «Скамандр» входили Юлиан Тувим, Казимеж Вежинский (скончавшийся, как и Лехонь, в эмиграции), Антоний Слонимский и Ярослав Ивашкевич — обо всех см. далее текст «Трактата». Нижеупомянутые «слуцкие пояса» и «кармазин» — приметы «старопольскости».

- 11 Ор-От (Артур Оппман) — польский поэт старшего по сравнению со «скамандритами» поколения (1867–1931), певец Варшавы, патриотизма и борьбы за независимость, участник польско-советской войны 1920.
- 12 «Весна и вино» — сборник стихов К. Вежинского (1919).
- 13 ОНР — Национально-радикальный лагерь, национал-социалистическая группировка, действовавшая в Польше в 1930-е. Деятели ОНР, особенно его крайнего крыла — ОНР-Фаланги, позднее легко нашли общий язык с коммунистическим режимом и, возглавив «товарищество мирян-католиков» «Пакс» («Рах»), содействовали идеологии и практике национал-коммунизма. Константы Ильдефонс Галчинский перед войной сотрудничал в журналах ОНР.
- 14 Юзеф Чехович (1903–1939) был убит в Люблине в первые дни войны немецкой бомбой — такую смерть он себе предсказал в одном из своих стихотворений. Крупнейший представитель «катастрофизма», поэт «второго авангарда», провинциал, лишь наездами живший в Варшаве, — он особенно близок Милошу, с которым его связывала и личная, и поэтическая дружба. Выше Милош цитирует стихотворение Чеховича «Из деревни».
- 15 Всё начало этой строфы — вереница скрытых цитат или отсылок к стихам названных в ней поэтов: «Гимн о ложке супа» Юзефа Виттлина, «Возвращение в Исфагань» Станислава Балинского, «Пасторалька (Коляда)» Тита Чижевского (цитаты из этого стихотворения см. также в конце III части «Трактата»). Адам Важик много переводил французских поэтов, в особенности Г.Аполлинера. Мои поиски упомянутого Милошем стихотворения Важика не увенчались успехом.

- 16 Оршуля — дочь величайшего польского поэта Яна Кохановского (XVI в.), умершая в малолетстве. На ее смерть Кохановский написал пронзительные «Трены» («Плачи»), где говорит, что Оршуля должна была стать его наследницей в поэзии. В традициях польской поэзии — сравнивать поэтесс с Оршулей Кохановской.
- 17 Стихотворение Марии Павликовской-Ясножевской «Perché» входит в цикл «Пластинки Карузо». Образ пластинки появляется и в одном из предсмертных стихотворений Павликовской, где «игла соловьиного голоса» упирается в «холодную могильную плиту» (по-польски плита и пластинка — одно и то же слово), и эта плита-пластинка «кружит, и звучит слоу-фокс „ЖИЗНЬ“ среди ночи и рос» (перевод дословный).
- 18 Владислав Себыла был расстрелян в Катынском лесу. В Нобелевской лекции Милош сказал:
«В антологиях польской поэзии есть имена моих друзей: Леха Пивовара и Владислава Себылы — и дата их смерти — 1940. Абсурдно, что нельзя написать, как они погибли, хотя в Польше каждый знает правду: они разделили судьбу многих тысяч польских офицеров, разоруженных и интернированных тогдашним пособником Гитлера, и похоронены в массовой могиле».
- Отметим, однако, что в двухтомной антологии «Польская поэзия» (сост. С. Гроховяк и Я. Мацеевский. Варшава, 1973) годы жизни Себылы указаны: 1902–1941, с фальсифицированной датой смерти. Те же даты были повторены и в первом и единственном (на 1982, когда я переводила «Трактат» и составляла примечания. — *НГ-2011*) издании стихов Себылы, вышедшем в Варшаве в 1981. Упомянутое Милошем стихотворение — «И снова топот ног солдатских...» — было напечатано в 1938 в сборнике «Образы мысли».
- 19 В 1943 Третий Рейх торжественно праздновал 400-летие со дня рождения «великого немецкого ученого» Николая Коперника. В знак протеста молодые поэты из группы «Искусство и нация» решили возложить венок к памятнику Коперника. Памятник охранялся — именно во избежание манифестаций польского патриотизма. Венок возложил

Вацлав Боярский, Здислав Строинский делал фотографии, Тадеуш Гайцы с пистолетом прикрывал операцию. Уходя от погони, Боярский наткнулся на патруль и был смертельно ранен — он умер в тюремной больнице. Арестованный Строинский успел уничтожить пленку, а затем и доказать, что он, провинциал, в Варшаве оказался случайно и ни к чему отношения не имеет. Освобожденный через несколько месяцев после ареста, он погиб в 1944 во время Варшавского восстания в один день с Гайцы. Анджей Тшебинский, поэт, прозаик и драматург, был в первую очередь теоретиком этой группы, патриотизм которой доходил до великопольского шовинизма и имперской идеологии и приводил к проповеди утилитарного искусства. В 1944 Тшебинский попал в облаву и был расстрелян в развалинах варшавского гетто. Чтобы расстреливаемые не могли кричать, им заливали рты гипсом.

Кшиштоф Камиль Бачинский (не примыкавший к группе «Искусство и нация», но так же, как и вышеназванные поэты, боец Армии Крайовой) был, несомненно, самым многообещающим поэтом этого поколения. После смерти его сравнивали с Юлиушем Словацким. Все эти поэты погибли в возрасте 22–23 лет. Милош во время оккупации хорошо знал всю эту молодежь, составлявшую, как и он, часть подпольной культурной жизни Варшавы. (Многие страницы дневника Тшебинского посвящены полемике с Милошем: идейное несогласие борется с восхищением.) В 1958 Милош написал стихотворение «Баллада». Вот строки из него:

Под землю Гайцы, под землю,
Уж навеки двадцатидвухлетний.
И без глаз он, и без рук, без сердца,
Ни зимы не знает и ни лета.

.....

Под землю Гайцы — не узнает.
Что Варшава битву проиграла.
Баррикаду, на которой умер,
Разобрали треснутые руки.

.....

— Говорят, сынок, стыдиться надо,
Не за правое, мол, дело бился.
Мне ли знать, пускай Господь рассудит...

(Теперь я перевела стихотворение целиком. См. с. 114 наст. изд. — НГ-2011.)

- 20 Эти четыре строки — подлинная песня, возникшая в гетто во время оккупации.
- 21 Далее следуют прямые и скрытые цитаты из Мицкевича. Мицкевич — более, чем кто-либо, соотечественник Милоша. Несмотря на утверждение, что «только речь — отчизна», Милош мог бы повторить за Мицкевичем: «О Литва! отчизна моя!» «В легкую нанку...» — строфа из раннего (1817) стихотворения Мицкевича «Зима в городе», оттуда же — «стайка Харит».

«Ну-ка, кто о чем тут страждет? / Кто тут алчет? Кто тут жаждет?» — из части II «Дзядов».

Переводчику было бы удобнее использовать уже имеющиеся русские переводы Мицкевича, но если стихотворение «Зима в городе» в основательный, уже цитированный нами том «Библиотеки всемирной литературы» не вошло, то две строки из «Дзядов» (припев Хора) переведены несколько неуклюже и не очень точно: «Что вам дать? пусть молвит каждый! / Голодом томитесь? Жаждой?» — в то время как дословно это: «Говорите, кому чего не хватает, / Кто из вас жаждет, кто из вас алчет?» При этом справедливость требует отметить, что в целом перевод Л. Мартынова очень хорош — так, предыдущий припев Хора и точен, и выразителен, и сохраняет структуру мицкевичевского двустишия: «Глушь повсюду, тьма ложится, / Что-то будет, что случится?»

Из той же сцены «Дзядов» — и «горчичные зерна»:

Что же просишь ты, дружок,
Чтоб попасть душе на небо?

.....

Два зерна горчичных дайте!
Эти зернышки дороже
Всяческого отпущенья!

Слушайте же все и разумеите,
Знайте, что Господь повелевает:
Тот, кто горя не познал на свете,
После смерти радость не познает!

.....

Детки горемычные,
Вот вам на дорогу
Два зерна горчичные
И — летите к Богу!

Пер. Л. Мартынова

Дом, что «бременчат, но на камне ставлен», — это дом Соплицы в книге первой «Пана Тадеуша» (в переводе «Библиотеки всемирной литературы» эта деталь отсутствует, видимо, не вместились в строку). Там же упомянуты «Федон» (диалог Платона) и «Жизнь Катона» Плутарха (где, в частности, говорится, что Катон Младший увлекался диалогом «Федон, или О бессмертии души»):

...Вот Рейтан на портрете,
Без вольности былой не мыслит жить на свете:
Сверкает нож в руке, решение непреклонно,
Раскрыты перед ним «Федон» и «Жизнь Катона».

Пер. С. Мар (Аксеновой)

«Венчает замок гору в Новогрудке» — строка из «Гражины», приводящая к сравнению холмистой Виленщины и плоской мазовецкой равнины. Потому-то далее «кто не рожден в том полевом краю» — это и Мицкевич, и Милош.

- 22 «Отъезд греческих послов» — трагедия Яна Кохановского.
- 23 Восстание 1830 (в польской традиции «ноябрьское восстание», как восстание 1863 — «январское») началось с вооруженного выступления группы штатских заговорщиков и «подхорунжих» — учащихся офицерской школы.
- 24 Тадеуш Костюшко, участвовавший в американской Войне за независимость.

Читатель заметит, что в сравнении с числом упоминаемых в «Поэтическом трактате» имен и реалий примечания не исчерпывающи. Задача комментария — разъяснить главным образом те места, где понимание текста русским читателем — без дополнительных сведений — осталось бы заведомо обедненным или неясным. В задачу переводчика не входило ни дать полный академический комментарий, ни разъяснять, почему Милош так, а не иначе оценивает лица и события (ни, тем более, толковать историософские и натурфилософские концепции «Трактата»).

Переводчик благодарен автору, внимательнейшим образом прочитавшему перевод и сделавшему целый ряд ценнейших замечаний, а затем нашедшему время обсудить со мной внесенные поправки. Переводчик также благодарит своих польских и русских друзей: Владимира Аллоя, Александра Бондарева, Станислава Баранчака, Иосифа Бродского, Ренату Горчинскую, Генрика Гринберга, Наташу Дюжеву, Якуба Карпинского, Ирену Лясоту, Владимира Максимова, Хелену Шмунес, — которые были первыми читателями или слушателями поочередных вариантов бесконечно перерабатывавшегося перевода, — за советы и замечания. И Мирослава Хоецкого, поддержка которого была решающей на трудной стадии, предшествовавшей изданию.

(1982)

ПРИЛОЖЕНИЯ

«РЕЧЬ — ОТЧИЗНА...»

Интервью в связи с выходом в свет русского перевода поэмы Чеслава Милоша «Поэтический трактат»

— Мы публикуем в этом номере газеты отрывки из поэмы Чеслава Милоша «Поэтический трактат». Не могли бы вы прежде всего дать для наших читателей общую характеристику поэмы?

— Я думаю, что характеристику «Трактата» следует начать с его композиции. Его четыре части — после краткого основополагающего вступления — это как бы четыре концентрические окружности, из которых каждая следующая шире предыдущей. Первая часть, «Прекрасная эпоха», — это «крохотный Краков», австрийская Галиция, манерная младопольская поэзия: «...тайное волненье / И легкий вздох, укрытый в многоточьях». Это времена накануне Первой мировой войны, когда, по выражению Ахматовой, лишь «приближался не легендарный, настоящий двадцатый век». Вторая часть, «Столица», — Варшава, независимая Польша, славное и противоречивое в истории как Польши, так и ее поэзии «межвоенное двадцатилетие»; история раздвигается, набирает масштабность. Третья, «Дух истории», — уже в высшей степени «настоящий двадцатый век». Историко-хронологически — это Польша времен Второй мировой войны и гитлеровской оккупации. Историко-литературно — это главным образом возврат к Мицкевичу (как всегда в тяжкие минуты возвращаешься мыслью к вершинам национальной культуры, чтобы и опираться на них, и отвергать, опровергать их). Но, может быть, главный аспект этой части — значительно более широкий, историософский: спор с Духом Истории, с торжествующей гегелевской диалектикой. И, наконец, четвертая часть — «Природа», заглавие, казалось бы, говорит

само за себя: мы ожидаем бегства в природу от истории, но находим иное — встречу, сложный сплав природы и истории в человеке, который живет на рубеже обоих миров, принадлежит им обоим. «Ты скажешь — царство? Мы в него не входим, / Хоть и не можем выйти из него», — говорит Милош о животном царстве, о «саде природы». Призывая на помощь «историчность», «музу седого Геродота», он одновременно взывает к возможности (скорее, мечте) поселиться «в природе, пламенистой, как неон», где, «не разрезан, Геродот пылится». Историософия, которая в третьей части была скорее лишь спором, ожесточенным и почти безнадёжным, с представлением о свободе как «осознанной необходимости», здесь, обвенчавшись с натурфилософией, не победив ее, но и не уступив, находит свою полноту. Но, прошу прощения, я, кажется, занялась ровно тем, чего не хотела делать в своих примечаниях к переводу.

— *Действительно в книге, после восьми страниц довольно подробных примечаний, вы, в частности, пишете: «В задачу переводчика не входило ни дать полный академический комментарий, ни разъяснять, почему Милош так, а не иначе оценивает лица и события (ни, тем более, толковать историкофилософские и натурфилософские концепции «Трактата»)». Чему же в таком случае вы посвятили эти восемь страниц?*

— А вы думаете, восемь страниц — это много? На самом деле полагалось бы дать краткие сведения, хоть даты жизни, о каждом из упоминаемых в «Трактате» поэтов. Я же остановилась на самом-самом минимуме. В одних случаях я считала, что русский читатель знает имена таких поэтов, как, скажем, Стафф и Лесьмян, Броневский и Галчинский. В других — что даты жизни ничего не прибавят и пусть читатель узнает о неизвестном ему польском поэте ровно столько, сколько сказал о нем Милош. В некоторых случаях комментарии были необходимы. Если, например, имена Тувима, Ивашкевича и Слонимского русскому читателю так или иначе известны, то о группе «Скамандр» в целом, куда входили также поэты, ставшие после войны эмигрантами, он знает мало или ничего. Это о «скамандритах», и поныне олицетворяющих для русского читателя всю польскую поэзию межвоенного двадцатилетия, Милош говорит: «Такой плеяды не было вовеки, / Но в речи их поблескивала порча...» Конечно, мне пришлось чуть подробнее сказать о Юзефе

Чеховиче, ибо этот поэт, самый близкий автору поэмы и, возможно, самый прекрасный польский поэт 30-х годов, в России практически неизвестен. Или о Владиславе Себыле, мало известном и у себя на родине, где долго не решались переиздавать поэта, погибшего от пули НКВД в Катынском лесу. А в третьей части надо было выловить все рассыпанные по тексту цитаты из Мицкевича, найти их более или менее «канонические» переводы или перевести заново и указать, откуда они взяты, из какого контекста, ясного для поляков, но вовсе не очевидного для русского читателя.

— Вернемся к поэме и к переводу. Как мы знаем из объявления о вашем вечере, русский перевод «Поэтического трактата» — это вообще первый перевод поэмы на иностранный язык. Между тем, стихи Милоша много переводились — и на английский, и на французский, и на другие языки. В чем тут дело?

— Я думаю, что тому есть две причины. «Трактат» написан давно, в 56-м году. В тот момент поэзия эмигранта с Востока, беженца от коммунизма, одним словом — «отщепенца», не слишком притягивала переводчиков. Позднее же, когда Милоша принялись переводить, выбирали прежде всего, разумеется, более поздние вещи. Те же, кто в конце концов взялся представить полный образ поэта, включая его раннее творчество начиная от довоенных стихов, те, вероятно (тут начинает действовать вторая причина), оттаивались перед трудностями перевода «Поэтического трактата». Поэма настолько плотно «набита» содержательностью всякого рода: реалиями, оценками, размышлениями, — что переводчик, видимо, чувствует необходимость чрезвычайных затрат времени и сил на то, чтобы всё осмыслить, обдумать, осознать. Возможно, это отпугивает. Сейчас, правда, насколько я знаю, в Америке готовится перевод «Трактата» на английский — под присмотром автора, и, если я не ошибаюсь, Кот Еленский, постоянный переводчик Милоша на французский, также готовит перевод поэмы. Пока же, как это ни парадоксально, мой перевод может оказаться временной заменой для тех иностранцев, которые не читают по-польски, но владеют русским.

— А вы, значит, всё осмыслили, обдумали, осознали?

— Нет. Думаю, что, примись я первоначально за труд осмысления, я, наверное, и застряла бы на этом этапе. Я просто взялась переводить, полупонимая, что я делаю и на что решилась. Это

была отвага, граничащая с наглостью и легкомыслием. Я «осмыслила» в ходе перевода. При этом происходили странные вещи. Каждый знает, что стихотворный переводчик всегда вынужден — ради «благозвучия», то есть ради передачи фактуры оригинала, — что-то менять в смысловых деталях текста: опускать, присочинять. Первый вариант перевода вышел у меня невероятно хромым — в нем лишь просвечивал намек на гениальную поэму. Первые слушатели и читатели ощутили, однако, и этот намек и поддержали меня, одновременно указав мне ряд неловких мест (я их потом нашла куда больше). Без такой поддержки у меня, наверно, опустились бы руки и я бы все бросила. Я принялась переделывать. Содержательное богатство Милоша не вмещалось в мои хромящие ямбы — русский текст был и беднее, и корявее оригинала. Тогда я поставила себе только одну, чисто техническую задачу: привести в порядок ямб. Чтобы не было лишних слогов, провисающих посреди строки. Чтобы стихи звучали стихами, а не ковыляющими виршами. Вот тут-то и начали твориться чудеса: каждый раз, как я поправляла строку «ради благозвучия», строка *сама* возвращалась от опущенного и присочиненного мною — к тому, что было у Милоша в оригинале.

— *На своем недавнем вечере вы сказали, что считаете удачу своего перевода как бы чудом, подарком судьбы...*

— Отчасти — да. Я, в общем, не очень люблю переводить стихи — я люблю переводить прозу. Перевод стихов для меня всегда труд несколько мозольный. А тут хоть труда вложено и много, но сам труд был постоянной немыслимой радостью. Первый вариант я делала ночами, вместо того чтобы лечь или заняться чем-то более срочным (работы у меня всегда по горло). Ночами, почти до утра, и не могла оторваться. Отрывалась, когда какое-то место «заколдобило», ложилась и не могла уснуть, всё крутила в голове строчки, которые не выходили, и вскакивала вновь записать, когда что-то выходило. И потом, много месяцев внося поправки, я с наслаждением, почти со стороны, смотрела, как строка сама выправляется, распрямляется, становится стройной, как милошевский стих начинает звучать по-русски. Моя заслуга — лишь тот первоначальный импульс, который загнал меня за машинку и рядом с машинкой положил раскрытый на «Трактате» том Милоша, а уж дальше всё пошло-поехало само.

— *Говорят, автор доволен переводом?*

— Да, хотя я еще не знаю его реакции на самый-самый окончательный текст. В июне прошлого года, когда он возвращался из своей триумфальной поездки в Польшу и заехал в Париж отпраздновать свое 70-летие, я вручила ему перевод. Это был один из промежуточных вариантов — третий или четвертый. Он прислал мне его с многочисленными пометками и замечаниями, но тогда же, еще до внесения поправок, уже показывал его в Америке своим студентам-славистам: вот-де как надо переводить. Затем мы встретились осенью в Гарварде. Я показала ему все переделанные места, даже объяснила, в чем я с некоторыми его замечаниями не согласна, и сказала, что перевод частично уже просмотрен Бродским. Мы еще раз просмотрели вместе ту часть текста, которую не успел прочитать Бродский, ибо то, что он успел, Милош решил даже не смотреть, заявив, что Иосифу он доверяет полностью. В общем, затем мне оставалось лишь получить остаток замечаний от Бродского. Их было не так много (новых, последних поправок я внесла больше), и при их посылке Иосиф написал: «Чеславу повезло. Тебе — тоже». Ну я не знаю, как Чеславу, а что мне повезло — это точно.

— *Будем надеяться, что прежде всего повезло русским любителям поэзии. Равно на родине и в эмиграции, ибо для поэзии, по выражению Милоша, «только речь — отчизна».*

НЕ ТРАКТАТ, А ТРАКТАТ В СТИХАХ...

...дьявольская разница, неправда ли? Перечитав давнее интервью, сама удивляюсь, почему это я употребляла термин «поэма». По инерции, наверное: длинное и в стихах — значит, поэма. «Трактат» — конечно, не поэма, но и не просто трактат. Одним словом, см. заголовок.

Впервые я прочла «Поэтический трактат» (а есть еще и «Моральный трактат», блестяще переведенный И.Калугиным и напечатанный в книге: Чеслав Милош. «Так мало» и другие стихотворения. М., «Вахазар», 1993), так вот, впервые я его прочла в томе избранных стихов Милоша, который получила в подарок еще в Москве. Прислал мне этот том — с надписью автора: «Коллеге Горбаневской дружески. 20.11.1973. Чеслав Милош» — приятель, женившийся на американке и приземлившийся в Калифорнийском университете в Беркли, где преподавал Милош. Это был, конечно, царский подарок. И, помню, я читала-читала увлеченно и... запнулась на «Трактате», подумала: «Как бы мне хотелось это перевести», — и сама себе горестно вздохнула: не перевести. (С этого же тома я, кстати, и переводила «Трактат»: чудом увезла книгу с собой в эмиграцию, и сейчас она у меня стоит с целой батареей других книг Милоша.)

С самим Милошем я познакомилась, разумеется, только в Париже, мы сразу расположились друг к другу, он и по сей день ужасно любит говорить со мной по-русски, даже когда я обращаюсь к нему по-польски. Но как на «предмет» потенциального перевода я на него не смотрела: с Москвы застряло во мне это «не перевести». Помогла, стыдно признаться, Нобелевская премия. Никита Струве попросил перевести несколько стихотворений для «Вестника РХД», и мой собственный главный редактор Владимир Емельянович Максимов потребовал от меня Милоша для «Континента». Пожалуй, не стихи в «Вестнике» (довольно обычные верлибры), а именно «Особая тетрадь: Звезда Полынь», только что тогда опубликованная по-польски в парижской «Культуре», стала для меня тем трамплином, взяв который я и подумала: а может, теперь и «Трактат» одолею?

Что такое «Особая тетрадь: Звезда Полынь»? Вот опять вопрос жанра: «поэма»? Может, и поэма, но зато не «в стихах». По крайней

мере, не в том, что мы, русские, воспитанные на метре и рифме, привыкли считать стихами. И даже не в том, что привыкли считать стихами народы (включая поляков), в последние этик девяносто лет усердно воспитывающиеся на верлибре. Кроме заключающего поэму «добротного» стихотворения, написанного рифмованными четверостишиями, остальные части «Особой тетради» — скорее «стихотворения в прозе» (плюс верлибры и белые стихи), только, разумеется, не в единственной знаменитой у нас приторной тургеневской традиции. В них есть свой ритм, летящий, бегущий, задышающийся, который мне, кажется, удалось передать.

Жанр — вообще очень темный вопрос в поздней поэзии Милоша. В последние лет двадцать ему нередко случается то перемежать стихи и отрывки исторических документов — иногда на том древне-белорусском языке, который был языком Великого Княжества Литовского и который, замечу, нам, русским, легче понять, чем соотечественникам поэта; то стихи и переводы, скорее переложения, американских или восточных поэтов, то опять-таки стихи и... Нет, не скажу прозу: прозу Милоша, и художественную, и эссеистику, в которой он особенно блистателен, я знаю хорошо, переводила немало, и разницу чувствую, потому что переводится совсем по-другому. Поверьте, что вообще в любой текст переводчик вникает глубже всякого читателя: видит и слабости (говорю не о Милоше), которые порой надо затушевать, а порой оставить в неприкосновенности, и акценты, которые надо не потерять при переводе, и ритм... Да, конечно, у прозы есть свой ритм, свой тип ритмико-синтаксических конструкций, но не тот, не тот, что в стихах, будь они верлибры или «стихи в прозе».

Не помню где, давно уже Милош писал, что в молодости он отталкивался от русской поэзии, противился ее влиянию, весьма тогда сильному в Польше: чересчур завораживала она своей мелодикой, как будто обманывала. (Так в нашей юности одна моя подруга читала свои стихи по телефону, и слушатель, которому они неожиданно понравились, сказал: «Не может быть. Ты меня голосом обманываешь».) У меня складывается впечатление, что в последние десятилетия странным путем: через верлибры, «стихи в прозе», перемешивание стихов, документов, переложений и мимолетных заметок — Милош пришел к тому же мелодическому завораживанию, которого когда-то так боялся. И напрасно

боялся: оно не обязательно обманывает, и даже чаще всего не обманывает, а, наоборот, торит дорогу к истине, несказуемой «простыми словами».

«Поэтический трактат», конечно, еще не такой: он строже, дисциплинированней, хотя если сравнить его, например, с более ранним, более виртуозным и, я бы сказала, более «маршевым» «Моральным трактатом», то в нем куда больше простору, куда шире дыхание — недаром он срывается то в оду, то в песенку, пусть лишь цитируемую (припевки Чижевского, песня девушек из гетто), то прямо в пение-рыдание («Когда обмотают мне шею веревкой...»). Так, может быть, «Поэтический трактат» — все-таки поэма?..

ОСОБАЯ ТЕТРАДЬ: ЗВЕЗДА ПОЛЫНЬ

Нынче нечего больше терять, мой премудрый, осторожный, мой ты сверхсамолюбивый котик.

Нынче мы можем дать волю признаниям, не боясь, что их использует могущественный враг.

Мы только эхо, что несется с топотом частым сквозь анфиладу комнат.

Вспыхивают, гаснут времена года, но словно в саду, где мы не бываем.

Да и легче, нам не нужно стараться сравняться с ними, с людьми, в беге и прыжках.

Вашей Светлости Земля не понравилась.

В ночь, когда зачат ребенок, заключают пакт непонятный.

И невинный осужден, не умея разгадать приговора.

Ни по пеплу прочесть, ни по созвездьям, ни по птичьему полету.

Гнусный пакт, повапленный кровью, анабасис мстительных генов гнойных тысячелетий,

От придурков, уродов, помешанных девок и хворых царей,

За ляжкой бараньей и кашей и хлюпом похлебки.

Мүром и водой крещённый на восходе Звезды Полюнь,

Играл я на лугу возле палаток Красного Креста.

Время, в удел мне данное, словно бы мало частной судьбы

В любом городке старосветском («Едва пробил полночь на
башенных часах, когда студент Н.» ...и так далее).

Как говорить? Как кожу слов продрать?

Что написал я, теперь как будто не то.

И что пережил, теперь как будто не то.

Когда Томас привез известие, что дома, где я родился, нету,

Ни аллея, ни сбегавшего к берегу парка, ничего,

Мне приснился сон возврата. Счастливый. Яркий. И я летал.

Деревья были даже выше, чем как в детстве, они подросли
за время, что уж не было их.

Утрата родимых околиц и родины,

Блужданье всю жизнь среди чуждых народов,

Да это ж

Всего лишь романтично, то есть выносимо.

Вот так-то исполнилась моя молитва гимназиста, вскормленного
на польских поэтах: просьба о величии, а значит, об изгнании.

Вашей Светлости Земля не понравилась

По иной, нежели всемирное государство, причине.

Не устану удивиться, что дожил почтенных лет.

И бывал, несомненно, чудесно спасен, за что обетовал
благодарность Богу, то есть тот ужас и меня посетил.

Он слышит голоса, но не понимает этих криков, молитв, проклятий, гимнов, избравших его медиумом. Он хотел бы знать, кем был, и не знает. Хотел бы быть един, а есть — внутренне противоречивое множество, которое радует его лишь чуть-чуть, а больше смущает. Он помнит палатки Красного Креста над озером в местности Вышки (и не мог бы назвать их по-польски, раз тогда не знал слова). Помнит воду, вычерпываемую из лодки, большие серые волны и словно выныривающую из них деревенскую церковь. Он думает о том, 1916 годе и о своей хорошенькой двоюродной сестричке Эле в форме сестрицы, как она, только что обручившись с красавцем-офицером, объезжает с ним верхом сотни верст прифронтовой полосы. А мамочка его, завернувшись в шаль, сидит перед камином в сумерки с нашим паном Некрашем, которого знает со студенческих лет в Риге, и его погоны блестят. Он лез в разговоры, но теперь сидит тихонько и вглядывается в синие огоньки, потому что мама сказала: если долго глядеть, увидишь там, как едет смешной человечек с трубкой.

Что делать нам с дитятей женщины? вопрошают силы,
Пролетая над землей. Пушечные дула
Прыгают в откате. И опять. А там равнина,
Полыханьями полна, бегущим муравейником.
В парке над рекой госпитальные палатки
Около шпалер, клумб и огорода.
А теперь в галоп. Вуаль сестрицы вьется,
Вихрем карий конь, пожниво, овраги.
Бородатые солдаты сталкивают лодку.
Открывается за дымом посеченный бор.

Знание наше не безбрежно, воздыхают силы.
Боль их познаём мы, но не сострадаем.
Мы, под облаками, чтим одно величье,
Матери смирение, Сути, девственной Земли.
И что нам их жизни, что нам умиранье?

На карачках ползут из землянки. Светает.
На льдистой заре, вдалеке, бронепоезд.

Он идет, да не путем-дорогой, побираясь ради Бога, а всего лишь комнатами, в которых кипит, сверкает, меняется цвет и звук единожды рожденных форм. Здесь артель кобзарей, взятых в средневековой деревушке, по травянистому склону взбирается на ровное место, откуда пойдут приготовления к атаке, тут Вилия так разлилась, что дошла до ступеней собора, и под резким апрельским солнцем зелено-бело-голубые полосатые лодки увиваются возле колокольни, а там мальчишки, собирая малину, наткнулись на заросшее кладбище с именами Фауст, Гильдебранд. Воистину, что́ нам их жизни, что́ нам умиранье.

Дамы Двадцатого Года, поившие нас какао.
Растите во славу Польши, рыцарята наши, орлята!
Алый ворот застегнут под горло, наши уланы въезжают
от Острой Браны.

Дамы из Общества Полек, дамы из ПеОВе.

Отвозил я в музей эти фраки с серебряной искрой,
Табакерки ораторов депутатских палат.
Копыта першеронов стучали по асфальту.
Запахом гнили несло от улиц пустых.
Попивали мы себе спирт, мы, возницы.

«Мать воспоминанья, любовь любви». От автобуса Владек вез его двуколкой, «докартом», и никто там не додумался, что название это значит dog-cart. Шоссе с выбоинами, совершенно пустое, на продуваемой безлесной высоте, внизу справа озерко, дальше протока: здесь улегшийся в зеленых полях глазок воды, там широкое мерцающее пространство меж холмов, покрытых ледниковыми валунами, заросших можжевельником. Белое пятнышко чомги посреди рябящего сияния. Они свернули проселком налево, туда, где виднелось еще одно озеро, и ложбинкой проехали через деревню, потом снова под гору, в лес, сосны и елки с подлеском орешника, и лесом почти до самого дома.

— Кто же обвинит в неточности, кто распознает места и людей? Всё в моей полной власти, всё там теперь принадлежит одному лишь человеку, что некогда, виленским школьником, был привезен сюда в двуколке. И либо захочет, либо нет, сказать, кто был, например, Владек и что до Первой мировой войны изучал он инженерное дело в Карлсруэ, или кто была тетя Флорентина и что еще в ее молодости лес нетронутый, девственная пуща, стенкой стоял на трех километрах горбов и впадин между этим и тем, огромным озером, и что она-то и собирала эти французские романы в желтых обложках: Бурже, Жид, Доде. Что выбрать, а о чем умолчать, моя воля, и командует мною лишь неприязнь к фантазированию, как если бы я верил, будто можно воистину восстановить то, что было. И почему Флорентина? Трудно приходит новое знание: что теперь можно обращаться к ней на «ты», хотя тогда я ни за что не осмелился бы, и что она не старая дама, а барышня, и ребенок, и всё одновременно. Что мне до нее, в корсете и турнюре, непредставимой в плотских потребностях, вывозившей дочерей в Варшаву, Париж, Венецию и Биарриц? И, тем не менее, как раз мысль о ней заводила меня в удельное княжество чистой эмпирии. О том, как она всё наладила: не эконом и не прислуга, дочери встают с рассветом, высокие сапоги, кожухи, в конюшню, в хлев, отправляют челядь на работы, зимой до вечера присматривают за молотьбой. А три месяца в году не усадьба, а пансионат для дачников, на кухне у Катречки огонь не угасает с четырех утра до ночи, и Владек часами колошматит по клавишам пианино, а они, те гости, что платят, — танцуют. Еще и молчаливую перемену нравов надо было принять, безразличие к тому, с венцом дочери заводят мужчин или без венца, и что, кроме Владека, живет то Ежи, то еще кто. Всё было как было, невысказанное, так что вынужденно воцарявшаяся привычность обращала любой принцип и требование в человеческую выдумку, терявшую силу без «нет» и «да». В костел не ездили, изредка разве, ради Флорентины. И она, с двумя не слишком правоверными дочками, была моей скрытой идеей об условности вер и убеждений, которые не могут устоять перед ходом вещей.

В сущности, почему бы ему, ткущему этот монолог, не было довольно того, что познал он там? Тогда он думал, что оказал-

ся там случайно и на время, что это лишь предисловие к чему-то, но и позже никогда не было ничего, кроме предисловия и на время.

Тот матерьял косматый, чуть не войлок,
в течение целого века шел на шитье шлафроков,
и не поймешь, конец ли это или начало двадцатого века,
если та, что в зеркало смотрит, его лоскуток откинет
ослепительно-желтый над розово-бронзовой грудью.
И щетка в ее руке не изменила формы,
и оконная рама возможна когда угодно,
как и вид из окна на сгибаемый ветром ясенник.
И кто же она, в этом едином теле
пребывающая, и в единой минуте?
И кем на самом деле увидена тут она,
если отнято у нее даже имя?
Ее кожа ни для кого, если в третьем лице,
ее нежнейшей кожи нету в третьем лице.
А вот и туча налетает из-за крон,
медным сияньем обведенная, и всё это
сгущается, и замирает, и затмевает свет.

Северная заря, пенье жнецов заозерных.
Еле видные вдалеке, последние вяжут снопы.
Что за право воображать их возвращенье в деревню,
как садятся у очагов, и варят, и режут хлеб,
или отцов их по избам до изобретенья трубы,
когда каждая крыша дымилась, словно в пожар,
или всю эту землю прежде, чем пошла на добычу ветрам,
тихой, с глазами озер, с нетронутым бором?
И что за право гадать о грядущих рассветах
над эшелонном этапным или сном журавлей на башнях?
Назначать себя богом, который заглядывает в их окна,
мотаает головой, отходит с жалостью многознанья?
Ты, молодой охотник, лучше лодку столкни на глубины,
подбери убитую утку до темноты.

В ночном вагоне пустого поезда, громыхающего через поля, через леса, молодой человек, я прежний, необъяснимо со мною тождественный, поджимает ноги на жесткой полке, потому что в вагоне холодно, и сквозь дрему слышит щёлк переездов, эхо мостов, такты пролетов, свист паровоза. Просыпается, протирает глаза и видит выше проносящихся кострубатых сосен сизые просторы, в которых горит, низко, одна кровавая звезда.

ЗВЕЗДА ПОЛЫНЬ

А под Звездой Полынь течение рек прогоркло,
И горький хлеб сжинал на поле человек.
Ему с небес не засветила весть про Бога.
Век подданным своим свой диктовал завет.

От ящеров они вели преданье,
Храня лемулов пещерные ухватки.
И птеродактилей полет над городами
Нёс тине мыслящей законы и порядки.

А человеку руки проволокой скрутили
И, осмеяв, прикончили над ямой,
Чтоб не взывал о правде и в могиле
Лежал без завещанья, безымянный.

Была вселенская империя всё ближе.
Над словом власть досталась в руки им.
И вновь на неостывшем пепелище
Вознесся Диоклетианов Рим.

ШЕСТЬ ЛЕКЦИЙ СТИХОМ

Лекция I

Как же рассказать вам? На какую сослаться летопись?
Представьте себе юношу, идущего берегом озера
В жаркое позднее утро. Посверкивают русалки
Над камышом, как обычно. Но ничего еще нету,
Чему предстояло быть. Поймите: ничего.
Или, может быть, есть, но не довершилось:
Тела, обреченные ранам, города — разрушенью,
Боль необъятных чисел, и всякая боль — иная,
Цемент на крематорий, страны на расчлененье,
Убийцы по воле жребия — ты, и ты, и ты.
Вот так. И реактивный. Транзистор. Видео пленка.
И люди на Луне. А этот идет и не знает.

Он подходит к мелкой заводи, вроде бы пляжу.
Там загорает компания из усадебки-пансионата,
Скучающие дамы, скучающие господа,
Болтая о кто-да-с-кем, о бридже и новом танго.
Этот юноша — я. Я им был, а может, остался,
Хоть полвека минуло. И помню я, и не помню
Его и их разделенными. Он другой, он чужой, чужой.
Замкнувшись в его уме, они уезжают, гибнут,
Он презирает их, судья и наблюдатель.
Так-то вот болезненность возраста созревания
Угадывает болезнь исторической стадии,
Которая хорошим не кончится. Чего не сознающие
Заслуживают наказания: желали жить, и только.

Волна, обломки камыша на гравии, облака.
За водой деревенские крыши, лес — и воображение.
В нем еврейские местечки, поезд на равнине.
Abyssus. Земля шатается. Неужто лишь теперь,
Когда я тут открываю лабиринты времени,
Как если бы знать означало понимать,
А за окном колибри танцуют свой танец?

Я должен был. Что должен был, пятьдесят пять лет назад?
Жить в радости. В гармонии. В вере. В примирении.
Как будто можно было. А потом удивление:
Почему они не были умными? Будто бы слагается
Игра причины и следствия. Нет, и это сомнительно.
Ответственность ляжет на всякого, кто дышал.
Воздухом? Неразумьем? Миражем? Идеей?
Неясный, как и всякий, кто жил там и тогда,
Исповедуюсь перед вами, мой молодой класс.

Лекция II

Нежные сёстры и матери, возлюбленные и жены.
Подумайте о них. Они жили и носили имена.
Я видел на раскаленном адриатическом пляже
Тогда, между войнами, девушку такой красоты,
Что хотел остановить ее в невозвратном мгновенье.
Ее стройность, обтянутая шелковым костюмом
(До эры синтетических тканей) цвета индиго
Или же ультрамарина. Глаза фиалковые,
Волосы белокурые, рыжеватые — дочь патрициев,
Рыцарских, может, родов, ступающая твердо.
Светловолосые юноши, тоже пригожие,
Были ей свитой. Сигрид или Инге,
Из дома, где запах сигар, благополучие, порядок.

«— Не уезжай, безумная. В иератические статуи
Укройся, в мозаики соборов, златоцветные зори,
Останься эхом на водах при закате солнца.
Не губи себя, не вверяйся. Не возвышенность и хвала,
Тебя зовет обезьяний цирк, твой племенной обряд».

Так я мог бы сказать ей. Сущность? Личность?
Душа неповторимая? А день рождения
И место рождения, как положение звезд,
Контролируют, кем она будет? Чтоб ее соблазнила
Любовь к обычаям, послушание-добродетель?

Ошибался, однако, Данте. Не так оно творится.
Приговор — коллективный. Вечному осуждению
Следовало бы предать их всех, да-да, всех.
Что, пожалуй, невозможно. Супротив Иисуса —
Чайники в цветочек, кофе, философствование,
Ландшафт, бой часов на ратушной башне.
Никого не убедит Он, жалкий, черноглазый,
С горбатым носом, в нечистой одежде
Пленника или раба, один из бродяг, которых
Справедливо отлавливает и изгоняет государство.
Теперь, когда я знаю много, я свои же грехи
Вынужден себе прощать, их грехам подобные:
Я хотел сравняться с другими, быть всегда как они,
Замкнуть слух, не слушать призыва пророков.
Поэтому я понимаю. Уединенный дом, зелень,
И из глубин ада fuga Себастьяна Баха.

Лекция III

Бедное человечество кочует по вокзальным плитам,
Шапки-ушанки, платки, ватники, тулупы.
Спит вповалку, поезда ждет. От дверей тянет морозом.
Входят новые, стряхивают снег, прибывает грязь.

Я знаю, не для вас это знание о Саратове или Смоленске,
Что и к лучшему. Кто сумеет, пускай избегнет
Сострадания, этой боли воображения.
Так что не буду точен. Едва лишь обрывки, набросок.

Появляются. Их четверо. Трое мужчин и женщина.
Сапоги из мягкой кожи, первого сорта,
Куртки из дорогих отрезков. Шагают уверенно, ловко.
Ведут на поводке овчарок. Поглядите на нее,
Широкую, чуть сонливую, недавно из-под мужика,
Презрительно поглядывающую из-под бобровой шапки.

Это ли не доказательство, кому принадлежит власть,
Кто здесь получает награду? Идеологическую,
Если кому так хочется. Ибо здесь ничто
Не явлено, всегда переодето в ритуальные фразы,
Хотя страх настоящий, а люди покорны,
И там, откуда едут эти четверо, в снежной метели,
Настоящая колючая проволока, лагерные вышки.

На Конгрессе защитников культуры в Париже
Весной тридцать пятого года мой товарищ-студент,
Странствовавший по Европе, Гюнтер из Марбурга,
Смеялся. Поклонник Стефана Георге,
Он писал стихи о рыцарских доблестях
И носил карманное издание Ницше.
Ему предстояло погибнуть, может под Смоленском.
От чьей пули? Одного из этих спящих?
Надзирателя с овчарками? Зэка из-за колючки?
Этой Нади или Ирины? Он ничего о них не знал.

Лекция IV

С действительностью что мы сделаем? В словах где она?
Едва мелькнет и уже исчезает. Несочтенные жизни,
Никогда не вспоминаемые. Города на картах
Без лица во втором этаже дома на рыночной площади,
Без них двоих в кустах у газового завода.
Времена года возвращаются, горные снега, моря,
Оборачивается синий шар земной,
И молчат те, что бежали под артобстрелом,
Припадали к сырой земле, чтоб она спасла,
И те, кого увозили из дома на рассвете,
И те, кто выполз из-под груды окровавленных тел.
А я здесь, инструктор по делу беспамятства,
Поучаю, что боль проходит (потому что боль — чужая),
Мысленно продолжая спасать панну Ядвигу,
Маленькую горбунью, библиотекаршу,
Что погибла в бомбоубежище того большого дома,
Считавшемся надежным, но обвалился,
И никто не сумел дорыться сквозь пласты стены,
Хотя много дней был слышен стук и голоса.
И вот навеки, навсегда потерянное имя,
Ее последние часы неизвестны никому,
И время, что унесло ее в слое плиоцена.
Истинный враг человека — обобщение.
Истинный враг человека, так называемая История,
Предписывает и пугает множественным числом.
Не верьте ей. Предательская и коварная,
Она не анти-Природа, как нас учил Маркс,
А если и богиня, то слепого Рока.
Скелетик панны Ядвиги, место,
Где пульсировало сердце. Одно это кладу
Против необходимости, права, теории.

Лекция V

Христос воскрес из мертвых. Всякий, кто в это верит,
Не должен вести себя так, как ведем себя мы,
Растерявши верх и низ, право и лево, небеса и бездны,
Но пытаюсь как-то пробраться, в автомобилях, в ложах,
Мужчины хватаясь за женщин, женщины за мужчин,
Проваливаясь, подымаясь, заваривая чай,
Намазывая хлеб, ибо снова день.

И снова год. Возвращается время подарков.
Елки в огнях, гирлянды, музыкальность,
Нам, пресвитерианам, католикам, лютеранам,
Сладко петь на церковной скамье с другими,
Благодарить за то, что мы по-прежнему вместе,
За дар вторить Слову, ныне и во веки веков.

Мы радуемся, что нас миновало несчастье
Стран, о которых читаем, где несвободные
Поклоняются идолу-государству, с его именем на устах
Живут и умирают, не зная, что несвободны.
Как бы оно там ни было, с нами повсюду Книга,
А в ней чудесные знаки, советы и наказания,
Негигиеничные, правда, и противоречат рассудку,
Но и то хорошо, что есть они — на немой земле.
Это как будто костер греет нас в пещере,
Когда снаружи стоят огни холодные звезд.

Молчат богословы. А философы
Не осмелятся даже спросить: «Что есть истина?»
И так, после великих войн, в нерешимости,
Почти что по доброй воле, но не совсем,
Трудимся с надеждой. А теперь пускай каждый
Исповедует себе. «Воскрес?» — «Не знаю, воскрес ли».

Лекция VI

Безграничная история продолжалась в то мгновение,
Когда Он преломил хлеб и выпил вино.
Люди рождались, жаждали, умирали.
Такие толпы, Господи помилуй! Как это возможно,
Что все хотели жить, а нет их?

Воспитательница ведет цепочку дошколят
По мраморным залам музея.
Усаживает послушных мальчиков и девочек
На паркет перед большой картиной.
Объясняет, говорит: шишак, меч, боги,
Гора, облака, орел, молния.
Она умеет, а они видят в первый раз.
Ее непрочное горло, ее женские органы,
Цветное платье, кремы и украшения
Объаты прощением. А что не объато
Прощением? Неведенье, беззаботность невинных
Вопияли бы о мести, взывали к приговору,
Если бы я был судьей. Не буду, не есмь.
В славе обновляется бедное мгновенье земли.
В одновременности, здесь, теперь и во все дни
Хлеб обращается в плоть, вино в кровь.
А то, что невозможно и непереносимо,
Становится снова принятым, опознанным.
Наверное, утешаю вас. Утешаю и себя.
Не слишком утешен. Деревья-канделябры
Несут зеленые свечи. И магнолии цветут.
Это тоже действительность. Гулкий шум затихает.
Память замыкает свои темные воды.
А те, как за стеклом, смотрят, молчат.

(Из книги «Хроники», 1987)

БОГОСЛОВСКИЙ ТРАКТАТ

1. Такого трактата

Такого трактата молодой человек не напишет.
Не думаю всё же, что его диктует страх смерти.
Это — после многих попыток — попросту благодаренье,
а еще и прощанье с декадентством,
в какое впал поэтический язык моего века.

Почему богословие? Ибо первому — быть первым.

А первое — истина. И как раз поэзия
своим поведением перепуганной птицы,
бьющейся в прозрачное стекло, подтверждает,
что мы не умеем жить в фантасмагории.

Лишь бы в нашу речь действительность вернулась.
То есть смысл, невозможный без абсолютной точки отсчета.

2. Поэт, которого крестили

Поэт, которого крестили
в деревенском приходском костеле,
натолкнулся на трудности
из-за собратьев по вере.

Тщетно гадал он, что там творится у них в голове.
Подозревал окостенелую травму унижения
и компенсацию племенными мифами.
А ведь каждый из них, дети, нес бремя своей судьбы.

Противопоставлять «я» и «они» было аморально,

Ибо доказывало, что сам он считает себя чем-то получше.

Легче было твердить с другими молитвы по-английски
в церкви Марии-Магдалины в Беркли.

Однажды, въезжая на окружную, откуда один поворот
ведет в Сан-Франциско, второй — в Сакраменто,

Он подумал, что придется написать богословский
трактат во искупление греха
самолюбивой гордыни.

3. Не владею

Не владею и не хочу владеть истиной.

Мне пристало странствовать по окраинам ереси.

Чтоб уйти от того, что зовут спокойствием веры,
а что попросту самодовольство.

Мои польские собраты по вере любили слова церковной службы,
а богословия не любили.

Может, я был монахом в лесном монастыре,
что, глядя в окно на разливы реки,
писал свой трактат по-латыни, на языке, непонятном
деревенщине в бараньих кожухах.

До чего же комично под кривыми заборами местечка,
где роются куры в пыли среди улицы,
рассуждать об эстетике Бодлера!

Приученный обращаться за помощью к Божьей Матери,
я с трудом ее узнавал
в Божестве, вознесенном на золото алтарей.

4. Простите

Простите, достопочтенные богословы, за тон, не подобающий
фиолетовым вашим тогам.

Я мечусь и ворочаюсь на ложе моего стиля,
ища, чтобы вышло удобно, не слишком
набожно, не слишком по-мирски.

Должна найтись середина, между абстракцией
и впадением в детство, чтобы говорить
всерьез о том, что и вправду серьезно.

Католические догмы как будто на вершок
высоковаты, мы тянемся на мысках, и тогда на один
миг нам кажется: видим.

Но тайна Пресвятой Троицы, тайна первородного
греха и тайна искупления
броней покрыты против разума,

Который тщетно стремится узнать историю
Бога до сотворения мира и когда
в Его Царствии вышел раскол на добро и зло.
И что из этого могут понять одетые в белое девочки,
идушие к первому причастию?

Хотя и седым богословам это слегка чересчур,
и они закрывают книги, ссылаясь
на недостаточность человеческого языка.

Но этой причины недостаточно, чтобы
щебетать о сладком Младенце Иисусе на мягком сене.

5. Бремя

Этот Мицкевич, чего им заниматься, когда он и так удобен.

Превращен в реквизит патриотизма в поучение молодежи.

В консервную банку — откроешь: мигает кадрами мультика
про стародавних поляков.

И католичество — не лучше ль оставить в покое?

Чтоб сохранился ритуал окропления святою водицей
и празднованья святок и проводов покойников
на почитаемые кладбища.

Всегда найдутся такие, что будут его трактовать
серьезно, то есть политически.

Никогда я, однако, не мерялся силами с теми врагами
Просвещения, что слышат, как дьявол
говорит языком либерализма и терпимости ко всем иноверцам.
Увы, ко мне относилась американская поговорка,
порожденная недобрыми чувствами:
«Раз католик, навсегда католик».

6. Тщетно

Боги или всемогущи, но, судя по миру, который
сотворили, не благи, или благи, но мир ускользнул
у них из рук, значит — не всемогущи.

Школа Эпикура

Шестилетним я чувствовал ужас в каменном миропорядке.

Тщетно потом я пытался укрыться
в разноцветных атласах птиц, толстощекий хранитель
Кружка любителей природы.

Чарльз Дарвин, несостоявшийся пастор, с горечью огласил
свою теорию естественного отбора, предвидя,
что она послужит дьявольскому богословию.

Ибо она гласит торжество сильных и поражение слабых,
а это и есть замысел дьявола, потому-то
его и называют князем мира сего.

Всё, что бегают, ползает, летает, умирает, — довод
против божественности человека.

Обратился я к анти-Природе, то есть к искусству,
чтобы вместе с другими строить наш дом из звуков
музыки, красок на холсте и ритмов речи.

Ежеминутно в опасности, мы отмечали наши дни
на каменном или бумажном календаре.

Готовые к тому, что из бездны холода воздвигнется
десница и унесет нас вместе с нашей
незавершенной стройкой.

Но веря, что кое-кто из нас получит дар, благодать
вопреки силе тяготения.

7. Всегда мне нравился

Всегда мне нравился Мицкевич, но я не знал — почему.

Пока не понял, что писал он шифром и что это принцип поэзии,
дистанция меж тем, что знаешь
и что выявляется.

То есть важно содержание, как ядро в скорлупке, а как станут
играть скорлупой, уже неинтересно.

Ошибки и детские планы искателей тайны
заслуживают прощения.

Меня высмеивали за Сведенборгов* и прочие небылицы,
ибо я выходил за рамки рецептов
литературной моды.

Злорадной гримасой искривленные морды
питекантропов, рассуждавших о моих суевериях
набожного ребенка,

Который не хочет принять одно доступное нам знание —
о взаимном сотворении людей
и совместном сотворении того, что называют истиной.

В то время как я хотел верить в Адама и Еву,
изгнание из рая и чаянье возврата.

* Эмануэль Сведенборг (1688–1772) — шведский мистик-теософ.
О нем, как и о Якобе Бёме (см. ниже), много говорится в книге Чесла-
ва Милоша «Земля Ульро».

8. Ну да, я помню

Ну да, я помню двор в усадьбе Ромеров,
где помещалась ложа «Беззаветный литвин».

И в старости я стоял на моем университетском двореке
под аркадами, перед входом в костел Святого Апостола Иоанна.

Какая даль, но я мог бы услышать, как возница щелкает бичом
и мы из Тугановичей гурьбой подъезжаем к воротам имения
Хрептовичей в Щорсах.

Чтобы в самой большой в Литве библиотеке читать книги,
украшенные рисунком космического человека.

Если пишушие обо мне перепутают столетия,
я сам подтверждаю, что был там в 1820 году,
склонившись над «L'aurore naissante» Якоба Бёме*,
издано во Франции, 1802.

9. Не по легкомыслию

Не по легкомыслию, почтенные богословы,
занимался я тайным знанием многих столетий —
но по боли сердечной, глядя на ужасы мира.

Если Бог всемогущ, Он может это позволить,
только если предположить, что Он не благ.

Откуда границы его могущества, почему таков,
а не иной порядок сотворения — пытались ответить
герметики, каббалисты, алхимики, рыцари Розы и Креста.

* Якоб Беме (1575–1624) — немецкий мистик, «домашний пророк», по профессии сапожник.

Лишь сегодня теории астрофизиков подтвердили бы
их предчувствия, что пространство и время
отнюдь не вечны, но имели свое начало

В одной невообразимой вспышке, от которой пошли
исчисляться минуты, часы и веки веков.

А они занимались тем, что случилось в лоне Божества
перед этой вспышкой, или как появились Да и Нет, добро и зло.

Якоб Бёме верил, что зримый мир возник
из катастрофы, как акт милосердия Бога,
желавшего упредить расширение чистого зла.

Когда мы жалуемся, что земля — приходящая ада,
то вообразим: могла бы она быть настоящим адом,
без единого проблеска красоты и добра.

10. Мы читали в катехизисе

Мы читали в катехизисе о восстании ангелов —
что предполагало бы некие деяния в пред-мире,
прежде чем зримый космос был сотворен,
только так мы умеем мыслить, в категориях «перед» и «после».

Даже если б в пред-мире жили целые полчища
невидимых ангелов, только один из них,
проявляя свободную волю, взбунтовался
и стал предводителем мятежа.

Точно неизвестно, был ли он первым и самым совершенным
из призванных к жизни существ
или же темной стороной Самого Божества,
которую Якоб Бёме называл Гневом Божиим.

Так или иначе, ангел прекрасный и сильный обратился против непостижимого Единства, ибо сказал «Я», а значит, отделился.

Люцифер, носитель темного света, называемый он же врагом, сатаной, в Книге Иова он государственный обвинитель в хозяйстве Творца.

Нету хуже изъяна в деле рук Бога, Который сказал «Да», чем смерть, то есть «Нет», тень от воли отдельного существования.

Этот бунт — демонстрация собственного «Я» и называется похотью, *concupiscentia*, а потом его повторили на земле наши прародители. Древо познания добра и зла могло бы, как это открыли Адам и Ева, называться древом смерти.

Грех мира мог быть изглажен лишь новым Адамом, чья война с князем мира сего есть война против смерти.

11. По мнению Мицкевича

По мнению Мицкевича и Якоба Бёме, Адам был таким, как Адам Кадмон из каббалы, космическим человеком в лоне Божества.

Он явился посреди сотворенной Природы, но ангельский, одаренный незримым телом.

Его искушали силы природы, взывая к нему (как продиктовал Мицкевич Арману Леви):
«Вот они мы, очевидности, формы, вещи, добиваясь лишь подчиняться тебе, служить тебе. Ты нас видишь, касаешься, можешь нами командовать взглядом, кивком. Видел ли ты когда-нибудь существо выше себя, бога, чтоб у него был взгляд и кивок

повелевать стихиям? Веруй нам, ты настоящий бог для нас, ты настоящий господин всей твари. Соединись с нами, станем одной и тою же плотью, той же природой, уподобимся друг другу».

Адам поддался соблазну, и Бог наслал на него глубокий сон.

Когда он проснулся, перед ним стояла Ева.

12. И так вот Ева

И так вот Ева оказалась делегаткой Природы и втянула Адама в однообразный круг рождений и смертей.

Как будто Великая Матерь-Земля палеолита, что рождает и сберегает прах.

Отсюда, быть может, у мужчин страх любовных обетов, ибо они всего лишь обетованье смерти.

Наши сестры не согласятся с земною природой Евы, но у Якоба Бёме мы встретим и образ Евы иной, той, что получила и приняла призыв стать матерью Бога.

Не забудем, однако, что Бёме говорит о мире архетипов, созерцаемых Богом, а значит, о таком, где не существует никакого перед и после, то есть вторая Ева вовсе не преемница первой, они стоят рядом, та и другая, под взглядом Творца.

Перетекают друг в друга, родные, ближе чем сестры.

Поразительный «Гимн на Благовещение Пресвятой Деве Марии» молодого антиклерикала Мицкевича был написан прямо перед масонским гимном, известным как ода «Молодость», и прославляет Марию словами пророка, то есть Якоба Бёме.

13. Нельзя удивляться

Нельзя удивляться этим спекуляциям,
ибо первородный грех непонятен
и лишь чуть-чуть проясняется, когда мы положим,
что Адаму льстило стать властелином
всей зримой твари, а она, желая,
чтоб он с ней соединился, надеялась,
что этим он спасет ее от смерти.

Этого не случилось, и сам он утратил бессмертие.

Похоже на то, что первородный грех —
это прометейская мечта о человеке,
существе настолько одаренном, что силой своего ума
он создаст цивилизацию и откроет лекарство против смерти.

И что новый Адам, Христос, облекся плотью и умер,
чтоб избавить нас от прометейской гордыни.

С которой, правду сказать, Мицкевичу справиться было труднее всего.

14. Ты, родившись

Ты, родившись в бедной хатке,
Вырви нас из бесей хватки.

Коляда

Всякий, кто считает нормальным порядок вещей,
где сильные торжествуют, а жизнь кончается смертью,
согласен на господство дьявола.

Христианство пускай не притворяется, что расположено к миру,
если видит в нем грех похоти, или универсальной Воли,
как назвал это великий философ пессимизма Шопенгауэр,
который в христианстве и буддизме находил общую черту —
сострадание к жителям земли, юдоли слез.

Кто веряется Иисусу Христу, тот чаёт Второго пришествия
и конца света, когда первое небо и первая земля
прейдут и смерти уже не будет.

15. Мы принимаем религию

Мы принимаем религию из жалости к людям.

Они слишком слабы, чтобы жить без Божьей опеки.

Слишком слабы, чтобы слушать скрежещущий ход адских колес.

Кто из нас смирится со вселенной без единого голоса

Сострадания, жалости, понимания?

Человечность означает нечто совершенно чуждое среди галактик.

Этого достаточно, чтобы вместе воздвигать храм
невообразимого милосердия.

16. А на самом-то деле

А на самом-то деле я ничего не понимаю, есть лишь
наш танец в экстазе, танец дробинки великого целого.

Рождаются и умирают, танец всё тянется, закрываю глаза,
защищаясь от наплыва бегущих на меня картин.

Может, я лишь изображаю жесты и слова и поступки,
задержан в предназначенном мне загоне времени.

Homo ritualis, сознавая это, выполняю
всё, что предписано однодневному мастеру.

17. Почему не признаться

Почему не признаться, что я не пошел в моей религиозности
дальше Книги Иова?

С той разницей, что Иов считал себя невинным,
я же возложил вину на свои гены.

Я не был невинным, хотел быть невинным, но не мог.

Насланное на меня несчастье терпел, не проклиная Бога,
раз уж научился не проклинать Бога за то,
что сотворил меня таким, не другим человеком.

Несчастье было, думаю, наказанием за то, что существую.

День и ночь задавал я Богу вопрос: Почему?
Так до конца и не уверен, понимаю ли
Его неясный ответ.

18. Если б я не приобрел

Если б я не приобрел обширных познаний о том,
что называется гордостью, гордыней, тщеславием,

Я мог бы всерьез принимать зрелище, завершаемое не столько
спуском занавеса, сколько громом с ясного неба.

Но комизм этого зрелища так несравненен,
что смерть выглядит неуместным наказанием несчастным куклам
за их игры самохвальства и вероломные успехи.

Я думаю об этом с печалью, видя себя
посреди участников забавы.

И тогда, признаюсь, трудно мне верить в бессмертие души.

19. Ну да! надо умирать

Ну да! надо умирать.

Смерть огромна и непонятна.

Тщетно в день Поминовения мы хотим услышать голоса
из темных подземных краев, Шеола, Аида.

Мы играющие кролики, не сознающие, что пойдут под нож.

Когда останавливается сердце, наступает ничто,
говорят мои современники, пожимая плечами.

Христиане утратили веру в грозного Судию,
осуждающего грешников на котлы с кипящей смолой.

Я получил пользу от чтения Сведенборга,

У которого ни один приговор не произносится свыше,

А души умерших тянет как магнит к подобным им душам
И х к а р м а, как у буддистов.

Я чувствую в себе столько не проявленного зла,
что не исключаю попадания в ад.

Он наверное будет адом художников,

То есть людей, которые совершенство произведения

Ставили выше, чем свои обязанности супругов, отцов,
братьев и сограждан.

20. Граница

Снился мне сон о трудной для перехода границе,
а границ я перешел немало, несмотря на стражников
государств и империй.

Этот сон был без смысла, ибо он был о том,
что всё хорошо, пока нам не придется
перейти границу.

По эту сторону зеленый пушистый ковер,
это кроны тропического леса,
парим над ними мы, птицы.

По ту сторону ничего такого, что мы могли бы
увидеть, тронуть, услышать, отпробовать.

Мы отправляемся туда мешкая, словно эмигранты,
не чающие счастья в далеких краях изгнания.

21. Чтобы наконец

Чтобы наконец представить себя как наследника мистических лож,
а также как человека иного, нежели в легенде.

Будто бы тот, кто родился в рубашке и кому всё удастся,
собирал я почести в долгой трудовой жизни.

На самом деле всё происходило совершенно не так,
но из гордости и стыда я воздерживался от признаний.

В школьные годы на грубом футбольном поле я счел
себя неспособным к борьбе и рано начал устраивать
эрзац призвания.

Потом я пережил настоящие, не в грёзах, трагедии,
тем трудней переносимые, что не чувствовал себя невиновным.

Я научился переносить несчастье, как переносят увечье,
но читатели это редко могли из моих сочинений угадать.

Только темная тональность и склонность к особому,
почти манихейскому варианту христианства
могли навести на нужный след.

Надо прибавить запутанность этого индивида в историю
двадцатого века, нелепость его поступков
и серию чудесных спасений.

Как будто эрзац призвания был утвержден
и Господь Бог требовал, чтобы я доделал дело.

Я трудился и искал величия, недостижимость его
объясняя пустыми временами.

Находя его у других, иногда у себя,
я был благодарен за дар участия
в необычайном Божием замысле о смертных.

22. Постарайтесь понять

Постарайтесь понять маловеров.

И я день верую, а день не верую.

Но мне хорошо в молящейся толпе.
Веруя, они помогают мне верить
в их, непостижимых существ, существование.

Я помню, что они были сотворены не слишком ниже
небесных сил.

Под своим уродством, клеймом практичности,
они чисты, в их горле, когда они поют,
бьется пульс восторга.

А больше всего перед статуэткой Богоматери,
так вылепленной, как Она явилась ребенку в Лурде.

Разумеется, я скептик, но вместе с ними пою
и тем одолеваю противоречие
между частной религией и религией обряда.

23. Красивая Дама

Красивая Дама, Ты, что явилась детям в Лурде и Фатиме.

Больше всего, как рассказали дети, их поразило,
до чего Ты несказанно прекрасна.
Будто Ты хотела напомнить, что красота —
один из компонентов мира.

Что могу подтвердить, ибо в Лурде я был
паломником у грота, где шумела река
и на чистом небе над горами виднелся узкий серп месяца.

Ты стояла, говорят дети, над небольшим деревцем,
но Твои стопы возносились сантиметров на десять
над его листвою.

Твое тело было не призрачным, а из нематерьяльной материи,
и можно было сосчитать пуговицы на Твоем платье.

Я просил у Тебя чуда, но в то же время сознавал,

Что пришел из страны, где Твои святые места — средство
укреплять национальный мираж и прибегать
под Твою, языческой богини, защиту
от нашествия врага.

Мое присутствие здесь было замутнено

Долгом поэта, которому не дозволено льстить
народным фантазиям.

Но я жажду остаться верным Твоему непостижимому помыслу

Явиться детям в Лурде и Фатиме.

2000

СТИХОТВОРЕНИЯ

CAMPO DI FIORI

В Риме на Кампо ди Фьори
Корзины маслин и лимонов,
Булыжник вином забрызган
И лепестками цветов.
Креветок розовых груды
На лотках у торговков,
Черного винограда
Охапки и персиков пух.

Здесь, на Кампо ди Фьори,
Сжигали Джордано Бруно,
Палач в кольце любопытных
Мелко крестил огонь,
Но только угасло пламя —
И снова шумели таверны,
Корзины маслин и лимонов
Покачивались на головах.

Я вспомнил Кампо ди Фьори
В Варшаве, у карусели,
В погожий весенний вечер,
Под звуки польки лихой.
Залпы за стенами гетто
Глушила лихая полька,
И подлетали пары
В весеннюю теплую синь.

А ветер с домов горящих
Сносил голубками хлопья,
И едущие на карусели
Ловили их на лету.
Трепал он девушкам юбки,
Тот ветер с домов горящих,
Смеялись веселые толпы
В варшавский праздничный день.

Мораль извлекая, скажут,
Что римляне ли, варшавяне
Торгуют, смеются, любят
Близ мученического костра.
Другие, возможно, скажут
О бренности мира людского,
О том, что забвенье приходит
Прежде, чем пламень угас.

Я же тогда подумал
Об одиночестве в смерти,
О том, что, когда Джордано
Восходил на костер,
Не нашел ни единого слова
С человечеством попрощаться,
С человечеством, что оставалось,
В человеческом языке.

Спешили хлебнуть винишка,
Торговать мясцом осьминогов,
Корзины маслин и лимонов
Плыли в шуме толпы.
И он был от них далеким,
Как будто прошли столетья,
А им и мгновенья хватило
Взглянуть на последний взлет.

И эти — одни в своей смерти,
Уже забытые миром.
Как голос дальней планеты,
Язык наш уже им чужд.
Когда-то всё станет легендой,
Тогда, через многие годы,
На новом Кампо ди Фьори
Поэт разожжет мятеж.

Варшава — Страстная неделя, 1943

НАПОМИНАНИЕ

И острова минули мы,
И вёсны миновали,
И девушек, как персик
В пуховых щек овале.
Заискрились, мелькнули
Средь зелени неоны.
А с гор лились ручьями
Гитары перезвоны.
Тут губы в поцелуе
Над счетчиком мгновений
Проехали асфальтом
Под памятников тени.
Аэропортов полночь
Сияла с самолета.
О Греции, о Греции
Здесь разве помнит кто-то?

Наш мир, что несомненно,
К благому изменился.
Блистающей машине
Подчинена земляца.
Несчастье навещает
Несчастнейшие страны,
А мы, мы каждый счастливы,
Мы без вины, без раны.

Судьба к ним затеряет
Запутанные тропы,
И отделил нас океан
От той дурной Европы.
И кораблям свысо́ка
Дает сигнал Свобода
О Греции, о Греции
Здесь разве помнит кто-то?

А что война за морем
Горит кровавым солнцем?
Да это лишь встречается
Среди отсталых горцев.
У них одно имущество —
Накидка из овчины,
И жизнь отдать задешево
Жалеть им нет причины.
Ну, варвары, способны лишь
Расправиться кроваво,
Да им ли демократия,
Им ли закон и право?

Дождь выпал, на Олимпе
Клубился ветер дымный,
Очередями краткими
Играли пули гимны.
На скалах эхо пушек
Отмеривало время
Тем, кто не знает, как так
Он без вины задремлет.
Они же, хоть виновны,
Давали, что имели:
Накидку и цепочку
Кораллов с губ в ущельи.
Дождь отмывает пятна,
Ложатся в землю-камень,
Кто ж не забыл о Греции?
А траурная мать.

Скажи мне, как измерить
Дел наших смысл и норов:
На пристанях богатствами,
Ценой ли договоров?
Иль что ни день гасимым
Светильником надеи,
Что нации на лучшие
И худшие не делит?
Так замолчи, не говори,
Что бьются государства,
Не то тебе из этих гор
Ответит праха горстка.
И потому-то не забыть
Страну того удела,
Что т а м , что начиналось там
Наше общее дело.

Вашингтон, 1947

* * *

Ты человека простого измучил
Да над его же мученьем хохочешь
И со своими шутами хлопочешь
Зло и добро обесмыслить получше.

Хоть бы и все пред тобой на колени,
Рады, что шкура цела, упадали,
Оды чеканя тебе и медали, —
Ты не надейся на успокоенье.

Все позабудут — запомнит поэт.
Можешь убить его — явится новый.
Будет записано дело и слово.

Лучше уж выбери крепкий еловый
Сук, и веревку, и зимний рассвет.

Вашингтон, 1950

БАЛЛАДА

Ежи Анджеевскому

На равнине дерево сухое.
Мать сидит в его тенёчке малом.
Облупляет вареное яичко,
Запивает чаем из бутылки.
Видит город, никогда не бывший.
В полдень башни и стены так и блещут,
Смотрит мать на голубиную стаю,
С кладбища до дому возвращаясь.

Позабыли, сынок, позабыли.
Из друзей тебя никто не вспоминает.
Ребятишек народила невеста,
О тебе уж не подумает ночами.
Памятники стали по Варшаве,
Твое имя не выбито на камне.
Только мать, пока жива еще, припомнит,
Как смешон ты был и прямо как ребенок.

Под землю Гайцы, под землю,
Уж навеки двадцатидвухлетний.
И без глаз он, и без рук, без сердца,
Ни зимы не знает и ни лета.
Что ни год река взрывает льдины,
Во бору подснежник расцветает.
Кувшины черемухой наполнив,
«Сколько лет мне, — спросят, — жить, кукушка?»

Под землею Гайцы — не узнает.
Что Варшава битву проиграла.
Баррикаду, на которой умер,
Разобрали потресканные руки.
Красной пылью окрашивался ветер,
Дождь прошел, и соловей защелкал,
Каменщик орал под облаками,
Кверху дом подтягивая новый.

— Говорят, сынок, стыдиться надо,
Не за правое, мол, дело бился.
Мне ли знать, пускай Господь рассудит,
Раз нельзя поговорить с тобою.
В пыль цветы твои поискрошились,
Это засуха, единственный, прости мне,
Мало времени, а воду издалёка
Надо брать, когда сюда приходишь.

Мать под деревом платок оправляет,
Светят в небе голубиные крылья.
Загляделась, задумалась мать,
А простор такой высокий, высокий.
Уезжает к городу трамвайчик,
Парень с девушкой мчатся вдогонку.
Мать и думает: поспеют — не поспеют?
Добежали. И вошли на остановке.

1958

ARS POETICA?

Вечно стремился я к форме более емкой,
что не была бы ни слишком поэзией, ни слишком прозой
и позволяла бы понимание, не обрекая
автора и читателя на высочайшие муки.

В самом существе поэзии есть непристойное нечто:
из нас возникает вещь, о коей не знали мы, что есть она в нас,
и мы моргаем, словно из нас выпрыгнул тигр
и стал на свету, хлеща хвостом по бокам.

Потому справедливы речи, что поэзию диктует некий дух,
но не стоит спешить с завереньем, что этот дух — ангел.
Трудно понять, откуда такая гордыня поэтов,
коли столь часто стыдятся, едва обнаружив слабость.

Какой человек разумный захотел бы стать вотчиной духов,
что им правят, как своим домом, из него кричат чужими языками,
а вдобавок, словно еще мало украсть его рот и руку,
своей корысти ради меняют его судьбу?

Ибо то, что болезненно, то и ценится нынче,
кто-то подумает: я, мол, шучу
или же изобрел еще одну манеру
превозносить Искусство с помощью иронии.

Некогда люди читали только мудрые книги,
помогающие перенести боль, а также несчастье.
Но это не то же самое, что перелистывать тысячу
творений родом прямо из психбольницы.

А мир-то вовсе не тот, чем чудится нам,
и мы вовсе не те, что в нашем бреде.
Так-то вот люди хранят молчаливую вежливость,
завоевывая уважение родственников и соседей.

Польза поэзии в том, что она нам напоминает,
как нелегко остаться тем же, самим собой,
ибо наш дом распахнут, нету ключа в дверях,
а незримые гости ходят туда-сюда.

То, что я тут рассказал, не поэзия, да, согласен.
Ибо можно писать стихи только редко и неохотно,
по крайней нужде и с тою надеждой,
что добрые духи, не злые, выбрали нас инструментом.

Беркли, 1968

МОЯ ВЕРНАЯ РЕЧЬ

Моя верная речь,
я тебе служил.
Что ни ночь, подставлял тебе мисочки с красками,
чтобы дать тебе душу, снегирия и кузнечика,
сохраненных в моей памяти.

Так прошло много лет.
Ты была моей родиной, ибо не стало другой.
Я надеялся, ты еще будешь посредницей
между мной и добрыми людьми,
хоть бы двадцать их было, или десять,
или даже еще не родились.

Теперь я, признаюсь, не уверен.
Временами жизнь мне кажется прошедшей впустую.
Ибо ты стала речью подонков,
речью неразумных, ненавидящих
себя чуть ли не больше, чем всех чужеземцев,
речью доносчиков,
речью помешанных,
заболевших своей невиновностью.

Но без тебя — кто я?
scholar в отдаленной стране,
a success, без униженья и страха.
Ну правда, кто я без тебя?
Философ — как первый встречный.
Понимаю, это мне в поученье:

ореол индивидуальности отнят,
Главный Лыстец подстиляет ковер багряный
Грешнику из моралите,
а в то же самое время волшебный фонарь
отбрасывает на полотно картины людских и божеских страданий.

Моя верная речь,
может, это все-таки мне должно тебя спасти.
Так что буду и дальше подставлять тебе мисочки с красками,
по возможности чистыми и яркими,
потому что в несчастьи надобна какая-то гармония и красота.

Беркли, 1968

ЧТЕНИЕ

Ты спросил меня, что за прок в греческом чтении Евангелий.
Я отвечу, что нам пристойно пальцем водить вдоль строк,
Где литеры вековечней, чем высеченные в камне.
А также медленно-медленно выговаривать гласные,
Познавая подлинное достоинство языка.
Прикованному вниманью увидятся те времена
Вчерашнего дня не дальше, хоть нынешних кесарей лики
Другие на динариях. Продолжается тот же эон,
Те же и страх, и жажда, хлеб, вино и маслины
Означают всё то же. И прежняя шаткость толпы,
Жадной до чудес. Даже обряды и нравы,
Свадебные пиры, оплакиванье умерших
Отличаются только с виду. И в те времена, например,
Было полно таких, называемых в оригинале
Daimonizomenoi, то есть беснующихся
Или же бесноватых (ибо слово «одержимый»
У нас в языке укрепилось по фантазии словаря).
Судороги, и пена на губах, и скрежет зубовой
В те времена не считались знаком таланта.
Не было у бесноватых журналов или экранов,
Изредка лезли они в искусство и в литературу.
А все-таки притча о них остается в силе:
Владеющий ими дух может войти в свиней,
И те, пораженные столь внезапным столкновеньем
Двух различных натур, дьявольской и своей,
Прыгают в воду и тонут. Снова, и вновь, и опять.

Так на каждой странице неумолимый читатель
Видит двадцать веков, словно двадцать дней,
Устремленный к пределу давний и всё тот же эон.

Беркли, 1973

**ИЗ КНИГИ «ХРОНИКИ»
(Париж, «Институт литерацкий», 1987)**

От переводчика: Я стараюсь не переводить то, что уже переводилось: русского Милоша, как я уже писала (см. статью «Человек-эпоха»), у нас не так много, чтобы позволять себе роскошь переводить заново. К сожалению, у меня во время работы не было антологии В. Британишского и Н. Астафьевой, так что я не могла сверить, что из книги «Хроники» раньше перевел Владимир Британишский. Уже переведя ряд стихов, я нашла на сайте «Журнального зала» небольшую подборку переводов Британишского из Милоша и обнаружила, что одно стихотворение («Родословная») я переперевела, а путем электронной переписки с московским коллегой выяснила, что в антологии есть стихотворение «Тревога-сон». Но уж раз дело сделано, решила печатать и эти переводы. В подборке Британишского (Старое литературное обозрение. 2001. №1/277) есть еще одно стихотворение из «Хроник» — «1911 год».

Несколько переводов из сборника «Хроники» читатель может найти в единственном русском избранном Милоша — «Так мало и другие стихотворения» (М.: Вахазар, 1993): «Только это» и «Признание» (пер. М. Осмоловской), «Мария Магдалина и я» (пер. А. Гелескула), «Те голоса, которые мной говорили...» (пер. Г. Ефремова), «За Уралом» (пер. С. Свяцкого).

Книга «Хроники» принадлежит к тем формам или жанрам, о которых я писала в вышеупомянутой статье: стихи нередко выходят за рамки собственно стихов (тут характерен конец стихотворения «За Уралом» — верлибр сменяется

драматургической прозой диалога и завершается чисто прозаической концовкой, выдержанной в духе сухого комментария, но притом трагической), перемежаются «стихотворениями в прозе» и «прозой в прозе». То, что остается стихами и написано, как правило, верлибром, нередко тяготеет к польской силлабике, вводя то еле, а то и отчетливо слышную цезуру, становясь почти или вполне белыми стихами (что замечательно получилось у Анатолия Гелескула в переводе стихотворения «Мария Магдалина и я» и что я как раз попыталась сделать в переводе «Родословной»).

Мне хотелось бы, чтобы читатель этой подборки не только прочел неизвестные ему стихотворения, но и слегка ощутил характерную для Милоша структуру книги.

ВРЕМЯ ГОДА

В тишине безграничной моего любимого месяца
Октября (багрянец кленов, бронза дубов, на березах
Еще там и сям светло-желтый лист)
Праздновал я остановку времени.

Обширное царство мертвых начиналось повсюду:
За поворотом аллеи, за газонами парков,
Но я не обязан был входить — оттуда меня не звали.

Моторные лодки на берегу, тропинки в хвое,
Река текла в темноте, ни огня по другую сторону.

Я собирался на бал дүхов и чародеев,
Куда является делегация в париках и масках
И танцует неопознанной в хороводе живых.

★

О безграничный, о неисчерпаемый, о несказуемый мир форм. Как же я шел бы к тебе с философией, если ее силлогизмы взаимно опровергались и я остался столько же умным, как был, прежде чем углубился в ее тома. Как же я шел бы к тебе с нравственностью, если это значило бы, что я вопрошаю о нравственности или безнравственности дерева или камня. Когда-то я воображал, что в старости мы размышляем над тем, что вечно, вознесено над преходящим, но вижу, что всё иначе, что всё мое внимание обращено к мимолетному. На упрек, что я не умею постепенно возноситься к трансцендентности, отвечаю, как классики дзэна: мимолетное и вечное — это, быть может, две стороны одного и того же листа.

О безграничный, о неисчерпаемый, о несказуемый мир форм. Предстояло раздраться завесе, а мне тогда — познать тайну. Но поздно уже, и всё открыто или никогда не откроется. А я стараюсь день за днем избавиться от слов, которые до сих пор употреблял, и назвать то, что теперь я мыслю и чувствую — что ускользает от моих прежних слов. И кажется мне временами, что вся моя жизнь состояла в таком стремлении проникнуть по ту сторону слова, но по той же причине мои книги — всего лишь след движения вперед, или, по мне, всегда недостаточно голы. Новые упражнения в стиле, готовящие окончательный вариант, который не наступит.

1985

РАЗГОВОР О СЛАВЕ

— Читали они, учили же о зрелище тщеславия.
И попусту: отнюдь их это не исцелило.
Готовы за грохот хвалы отдавать наслаждение
Кровавым бифштексом, и женским лоном, и даже
Отдачей приказов другим. Отрекаясь,
Лишь бы им остались: имя, венец, память.

— Тебе-то хорошо, ты-то этим сыт,
Лавры засушил, почести собрал,
Доброе, дурное ли скажут — а тебе все равно,
Потому что ты и так торжествуешь.

— Нет, не поэтому. Вечно, что ни день, что ни час,
Со мной недружелюбное и острое сознание.
Не оставляет ночью, истерзывает сны.
То есть я знаю столько, что лучше бы закрыть лицо.

ДОВОД

Тот, кто долго живет, размышляет о временах года,
О том, что их так много, каждый раз других.
Угадать пытается, кем он был в такой-то год и месяц,
Как тогда он видел мир и что понимал.
Особое, невозвратимое каждый раз понимание,
Хотя прибавляется разве что по одной линии, тени.
Отсюда — серьезный довод в пользу бытия Божия,
Ибо только Он способен составить перечень боли,
Смирения, блаженства, ужаса и экстаза.

МОНАРХИ

Монархи выбрали остров тюрьмой Наполеону, поделили страны и установили свой порядок, обещая взаимную вооруженную помощь против заговорщиков и бунтарей. Добывали руду и каменный уголь, строили дороги и мосты, железные дороги соединили столицы. Паровозы, извергавшие пар, пробегая по лесам с ревом и грохотом, были предметом страха и поклонения, так же, как котлы, клапаны, колеса, приводные ремни в машиностроительных цехах. Керосиновая лампа под зеленым стеклянным абажуром начала заменять свечи и лучины, по улице большого города вечером шел человек с длинным металлическим прутом и зажигал газ в фонарях. Неисправимые мечтатели призывали народы восстать против подлой тирании сильных мира сего, власть и всяческие богатства предрежащих. Наступал год, когда сражались на баррикадах, но отголосок сразу утихал, и дальше тянулся век империй на всем континенте от Атлантического до Тихого океана. Каждую зиму тысячи мастерских на чердаках или в подвалах готовили бальные платья, закалываемые перед зеркалом портнихой, которая стояла на коленях с булавками во рту. Поверили в Прогресс и открыли, что человек происходит от обезьяны. Всё больше развивались неизвестные предкам гуманные чувства, всё выше становилось просвещение, искоренявшее предрассудки и суеверия, в библиотечных залах загорелось электричество, по дну моря укладывали кабель для разговоров между материками, право и независимые суды защищали граждан, земля шла к победе парламентов и всеобщему миру.

ПЕРВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ (1913)

Оркестр настраивал инструменты, чтобы играть «Весну священную».
Слышите шествие свистулек, грохот барабанов и меди?
Дионис наступает, из долгого изгнания возвращается Дионис,
Кончилось царствование Галилеянина.
А Он, всё бледнее, бесплотнее, луннее,
Развеивается, оставляя нам темные соборы
С цветною водой витражей и звонком к Пресуществлению.
Благородный Равви, объявлявший, что будет жить вечно
И спасет Своих друзей, пробуждая их из праха.
Дионис наступает, сияет оливковым золотом в развалинах неба.
Крик его, наслажденья земного, разносит эхо во славу смерти.

РОДОСЛОВНАЯ

*Яну Лебенстайну**

У нас наверно много общего друг с другом,
У всех, что вырастали в городах барочных,
Не вопрошая, а какой король построил
Костел соседний и княжны какие жили
Вон в том дворце, как звали скульпторов и зодчих,
Откуда прибыли, чем стали знамениты.
А мы футболили под стройной колоннадой,
Носясь вдоль эркеров и мраморных ступеней.
Потом милее стали нам скамейки в темных парках,
Чем чаща ангелов лепных над головами.
А все ж мы сохранили что-то: страсть к изгибам,
Огнеподобную спираль противоречий
Да женщин ряженье в богатство драпировок,
Чтобы скелет прибавил блеску пляске смерти.

* Ян Лебенстайн — польский художник (1930–1999), с 1959 жил в Париже. Ему принадлежат, в частности, иллюстрации к Книге Иова в переводе Чеслава Милоша, а также витражи на тему Откровения Иоанна Богослова в католическом «Центре диалога», где всегда выступал Милош, приезжая в Париж, и в чьем издательстве выходили его библейские переводы. — НГ

ТРИТОНЫ

(1913–1923)

Узнаю их. Стоят на палубе
Парохода «Correct», вошедшего в устье Енисея.
Этот чернявый, в автомобильной кожаной куртке, —
Лорис-Меликов, дипломат. Этот толстый, Востротин, —
Владелец золотых приисков и депутат Думы.
Рядом тощий блондин, мой отец. И костлявый Нансен.
Фотография висит в нашем виленском доме
На Подгорной улице, 5. Рядом с моими
Тритонами в банках. Что может случиться
За десять лет? Начало? Конец? мира.
Мой отец, времен до. Не знаю, зачем он ездил
Летом девятьсот тринадцатого в унылые пустоши
Северного сияния. Какое смешенье
Времен. И мест. Я здесь, беспокойный,
Посреди калифорнийской весны: не складывается целое.
Чего я хочу? Чтоб было. Что? Чего уж нету.
Даже твои тритоны? Даже тритоны.

ТРЕВОГА-СОН (1918)

Орша — дурная станция. В Орше поезд может простоять и сутки.
И, может быть, в Орше я, шестилетний, потерялся,
А поезд с репатриантами тронулся, оставляя меня

Навсегда. И я будто понял, что стану кем-то другим,
Другого языка поэтом, с другой судьбою.
Будто угадывал свой конец на берегах Колымы,
Где бело дно моря от человеческих черепов.
И нашла на меня тогда великая тревога,
Та, которой предстояло быть матерью всех моих тревог.

*Трепет малого перед большим**. Перед Империей.
Той, что идет и идет на запад, вооруженная луками, секретами,
автоматами,
Подъезжая коляской, лупя кучера по спине,
Или джипом, в папах, с картотекой занятых краев.
А я убегаю да убегаю, сто, триста лет,
По льду и вплавь, днем и ночью, лишь бы подальше,
Оставляя над родною рекой дырявый панцирь да сундук
королевских грамот,
За Днепр, потом за Неман, за Буг, за Вислу.

Пока не добегаю до города высоких домов и длинных улиц,
И тревога меня терзает, ибо куда мне, деревенщине, до них,
Ибо я лишь притворяюсь, что понимаю, о чем они рассуждают
так живо,
И стараюсь утаить от них свой стыд, свое поражение.

* Курсивом — по-русски в тексте. — НГ

Кто меня накормит, когда иду на пасмурном рассвете
С мелочью в кармане, на чашку кофе, не больше?
Беженец из призрачных государств, кому ты будешь нужен?

Каменные стены, равнодушные стены, ужасающие стены.
Не моего ума порядок, а ихнего.
Теперь уж соглашайся, не дергайся. Дальше не убежишь.

**ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ ОФИЦЕРА ВЕРМАХТА
РУДОЛЬФА ГРЁТЕ
(1944)**

Белый город на равнине под высоким небом
День за днем стоит под тяжким пушечным обстрелом,
Линия домов от залпов крушится, чернеет.
Сыплет груз бомбардировщик. Сплошь да сплошь пожары.
Дым всё выше и всё гуще, до самого неба.
Стал столбом над горизонтом, черной вертикалью.
А людей не разглядеть мне в полевой бинокль.
Огнестрельного оружия треск очередями.
Но я знаю, что мы рушим. Малое свое.
Поколения обоев. Древности варений.
Запах капель от бронхита. Зеркала. Гребенки.
Чашки с блюдами и вазы. Платья в нафталине.
Кровь, особенная жидкость, следа не оставит.
Вещи же в осколках живы. Через годы станут,
В металлических решетках слой земли просеяв,
Брать рукою осторожно крупцу фарфора.

1945 ГОД

— Ты, последний польский поэт! — обнимал меня, пьяный,
Авангардист-коллега*, в длинной армейской шинели,
Что пережил войну на востоке и там всё понял.

Не мог обучить его этому ни Гийом Аполлинер,
Ни манифесты кубистов и ярмарка улиц парижских.
Против иллюзий лучше всего — голод, терпенье, смирение.

Воображали себе. А шел двадцатый век.
Слова в их прекрасных столицах всё те же с Весны Народов.
Но не они отгадали, что же будут отныне значить.

В степи, кровоточащие ноги обматывая онучей,
Осознал он пустую гордыню высокопарной мысли.
До горизонта — земля, плоская, неискупленная.

Над всяким народом и племенем становилась серая тишь.
После звона в барочных церквях. После руки на сабле.
После диспутов о свободной воле и парламентских соображеньях.

Я только моргал глазами, смешной и мятежный,
Один с Иисусе-Марией против нерушимой силы,
Потомок стрельчатых актов, золоченых скульптур и чудес.

И я знал: говорить я буду речью побежденных,
Что не прочнее реликтов, домашних обычаев,
Елочных игрушек и раз в году забавных коляд.

* Согласно сообщению Милоша в одном из его интервью, это был Адам Важик (1905–1982). До войны один из ведущих авангардистов, последователь французского сюрреализма, в послевоенные годы он стал одним из проводников соцреализма в польской поэзии, а затем первым «ревизионистом» — автором знаменитой «Поэмы для взрослых». — НГ

**ЧИТАЯ «ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ»
АННЫ КАМЕНСКОЙ**

Читая осознал как она была богата а я беден.
Богата любовью и болью, плачем и снами, и молитвой.
Жила среди близких, мало счастливых, но помогавших друг другу,
Соединенных всё обновляемым на могилах пактом живых с умершими.
Ее радовали травы, полевые розы, сосны, картофельные поля
И запахи знакомой с детства земли.
Не была выдающимся поэтом. Но это справедливо.
Добрый человек не обучится хитростям искусства.

(Из книги «Дальние окрестности», 1991)

ИЗ КНИГИ «ПОСЛЕДНИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ»

От переводчика: Когда «Мой Милош» был уже составлен, вычитан, даже отправлен (в первом, неполном варианте) издателю, я вдруг испытала чувство, похожее на обиду. На себя, наверное.

В статье Мариана Стали о посмертном сборнике стихотворений Милоша я перевела то короткие, то побольше фрагменты стихотворений, но мне тогда и в голову не пришло заняться переводом целых стихотворений, кроме тех трех, которые прислала мне на перевод редакция «Новой Польши». Прислали три — ну, значит, и перевела три. Теперь я решила перевести целиком хотя бы те, что цитируются в статье Стали. Замечу, что переводить вырванные строчки — не то же самое, что переводить их же в контексте стихотворения, поэтому мне пришлось кое-какие цитаты в статье исправить в сравнении с первой публикацией. (Теперь эти стихи вместе с «Напоминанием», из которого я прежде тоже перевела лишь цитаты, напечатаны в «Новой Польше», в номере, вышедшем к столетию со дня рождения Чеслава Милоша). Зато оказалось, что два коротких стихотворения в статье Стали были приведены целиком, хотя из текста статьи это никак не вытекало.

Но на этом дело не кончилось. Когда уже шла верстка книги, у меня в Париже побывали литовцы, снимавшие со мной интервью о Милоше. И очень огорчились, что среди стихов из книги «Последние стихотворения» не оказалось «Доброты» — стихотворения Чеслава Милоша о его литовском родственнике, французском поэте Оскаре Милоше. И я огорчилась. А взявшись переводить «Доброту», нашла еще несколько стихотворений, которые мне очень захотелось перевести. Удалось мне перевести три (включая «Доброту»).

Стихи в этом разделе поставлены в том же порядке, в каком они напечатаны в посмертной книге.

ПАН СЫРУТЬ

Цирюльник пану Сырутю на смертном ложе
поставил клизму. Турбуленции тела
ваша милость храбро сносила до конца.

А не так-то легко избыть бытие

И уснуть навеки вплоть до воскресения.

Когда последняя косточка рассыплется
в сухую пыль

И деревни с городами исчезнут

Он будет глаза протирать

Не найдя никаких былых названий.

Вернется на землю пан Шимон Сыруть
ковенский судья, литовский мечник,
с титулом витебского кастеляна.

Но не в те переменённые края,
что, пожалуй, было бы несправедливо.

Под ногою ощутит он вдоль Невежа дорогу,
деревушку Гинейты и паром в Вилайнах приветит.

Через тысячу лет будет вызван на Страшный суд
пан Шимон Сыруть

Среди тех, кто жил потом. Родня и знакомцы,

Неживые как и он но под фамилией
Прозоры и Забеллы.

Снова паром на Невеже и Ясвойны, Шетейны,
И белый костел в Опитолоках.

А судили вашу милость за пристрастие
К чинам и учреждениям,

Которые ничего не значат,
Когда города и деревни исчезнут.

[набросок стихотворения, 2003]

ДЕВЯНОСТОЛЕТНИЙ ПОЭТ ПОДПИСЫВАЕТ СВОИ КНИГИ

Ну так я вас пережил, мои враги!
Имена ваши мхом теперь порастают.
А как яростно вы лаяли в пылу травли
Предателя и выродка. Моралите говорит,
Что в конце всегда побеждает справедливость.
Ну, не всегда. Чуть послабже сердце,
Чуть поменьше выдержки, и трубы играют
Над бедным зайчишкой, а то и медведем.
Триумф не дает мне оснований гордиться.
Всего лишь одно из чудесных происшествий,
Вроде тех, что когда-то спасли меня
От Освенцима, как и (есть такие догадки)
От доли зэка где-нибудь на Воркуте.
Никакой своей заслуги я в этом не вижу.
Провидение бережет дураков и поэтов,
Как кто-то сказал. Компенсация вроде,
За то, что мы едва лишь игрушка
Таинственных сил, никому неизвестных,
И вменяемостью обладаем неполной.

Я верно служил польскому языку,
Для меня единственному из всех языков,
Он взывает, велит себя освящать,
А то питекантропы на нем говорят,
Которые мне отвратны, не скрою,
Но не меньше благих и чистых существ,
Чьи молитвы должны бы мир переменить.
Значит, польская речь — это долг,
А бывает — и страсть. Я ее не отдал бы
За шедевры наимудрейших стран.

Вы бывали правы, мои враги,
Указуя дрянные грёзы эгоиста:
Он нос задирал, он всех критиковал,
Нет чтоб с нами жить, он шел прямо к цели,
К этой своей славе, отгородившись гордыней.

Да, действительно, я свое написал.
Это значит всего лишь, что я сознаю,
Как опасно это дело для души.
Изучите хотя бы горстку биографий.
Мой ровесник Анджеевский Ежи
Или мой земляк от невежских берегов,
Пан Витольд Гомбрыс, ангелами не были.
И даже, думая о них, о том, какими были,
Об их одержимостях и жалких приемах
Монструозного эго, о несчастьи,
Я испытываю жалость и — опасенье:
Может, и я таков же, как они,
Может, дубом притворялся, а был гнилушкой.
Что за ничтожество. Но оно прощено.
Ибо они пытались прыгнуть выше себя,
Тщетно меряясь с пророками ростом.

Теперь, в старости, стою перед свидетелями,
Которые живым уже невидимы,
Разговариваю с ними, окликаю по именам,
А моя рука в это время подписывает книги.

БЕЗ DAJMONION'A

Демон мой, ты уже две недели меня не навещаешь,
И я становлюсь кем был бы всегда без твоей подмоги.
Гляжусь в зеркало и немило мне мое лицо,
Память отворяется, а там страшно.

Помутнённый я и несчастный человек.
Совсем другим я останусь в своих стихах.
Хотелось бы остеречь читателей, просить прощения.
Что поделать, даже этой жалобы не умею сложить.

В ТУМАНЕ

Если б хоть кто-то из этого что-нибудь уразумел.
Нет, хоть хромой, а с другими так быстро бежал, как умел.

Благодаря ничегошеньки не разуменью
даже действительное нам казалось тенью.

Ох, не хватало, ну, скажем, Фомы Аквината,
чтобы и званым, и избранным врезать как надо!

Были там где-то, конечно, церковные власти
Да заблуждённным во мгле они дали пропбсти.

Бедные люди, бежали мы, даже в припляску,
Пусто кругом, в голове пустота под завязку.

Цивилизация наша — как этот разбитый кувшин.
Косо глазают на баб мужики, ну а те на мужчин.

Если детей, то невольно — плодим, как плодится.
И от провинции неотличима столица.

Как же тут выбратся, не подсказал бы, пан Адам?
Я приучён послушанию к старшего взглядам.

Правда, то было, когда танцевали фокстроты
и заводили валюту по имени золотый.

«Большевики, — это пьеса шла, — в польском поместье».
Кто бы подумал, что это и вправду предвестье?

После звучали одни Иеремии плачи.
Хаос, иль общая каша, сказавши иначе.

Ты, мне пан Адам сказал, по велению долга
Всем растолкуй, что такое не тянется долго.

Проволкой можно кувшин обтянуть, что расколот.
Но за былое платить алименты на голод.

Чрева советы не слушай, когда пронесется.
А о поэзии не беспокойся. Пробьется.

УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ

за той линией начинается смрад врожденный
а линия чтобы жить не нуждается в плоти
она извечно чиста и неизменна

мой дом и сад недалеко от леса
заполучил я жену Петронеллу
и двух дочек Софью и Агафью

я не соревнуюсь с учителем биологии
который толкует детям что доказали
законы науки

я подсматриваю семью
так же как хожу наблюдать лисиц

как пищат верещат
сикают и стучают

секут мясо капусту лук
варят в кастрюльках жарят на сковородках
пахнет как лисья нора с останками съеденных кур

бумажный кораблик уплыл
мы шли сквозь какие-то запущенные сады
Ядвига в малиннике разорвала платье
далеко загорались города мирограды
и всё охватил сон

[2002]

ЧЕРЕПАХА

Солнце из тумана выходит как зверь золотистый,
Рыжеволосый, с гривой лохматых лучей.
Она его не видит. Она не смотрит в небо.
Глаза, прикрытые выпуклыми веками,
Смотрят только в землю или в плитки пола,
Как здесь, в Ментоне, в доме Яна и Нели.
Мы — вид, высоко заехавший в развитии,
Со взором межоблачным и небодостижным.
Мы с жалостью наблюдаем
Как неловко она ходит под стульями
И съедает зеленый листик салата.
Что за помысел демиурга? Между двух щитов
Всунуть ящеричью форму, чтобы жизнь защищать
От нападений больших динозавров!
Но говорить с ней невозможно.
Когда она вдруг забегает в усердной спешке,
Напрасно объяснять, что ботинок Яна —
Не подружка, достойная черепашого пыла.
Мы, как бы смущенные, созерцаем
Движенья копуляции, подобные человеческим,
И жидкую струйку, растекающуюся в лужу,
В то время как зверек замирает.
Единенье живых, но не до единства:
Как согласовать сознание и бессознание?
Янек и Неля не ловили черепаху.
Их унижало родство ее с ними.
Они хотели быть чистым интеллектом.
Вскоре они умерли, и на их стульях никого.

* * *

места явления духов
вбок от большака

настоятель ждал
гостей с того света

выросли цветы
где и не росли

белые мясистые
ну наверно лилии

дальше поскакали
заявила Стелла

и вела вперед
нашу кавалькаду

вправду ли у Стеллы
замыслы имеются

замыслы благие
замыслы ничтожные?

ох ямоглотная
нет не беззаботная

ХИМЕРА: МНОЖЕСТВО

Является во сне она, вылеплена
Из разных веществ, красок и имен.
Немного Кристина и немного Тереза,
С добавкой Софьи, щепоткой Магдалины.
Работает в фирме. В белом халате.
Другие, парикмахерши и маникюрши,
Не любят ее. Только что провыли:
«Ты притворяешься, ты ненастоящая.
Внутри у тебя ничего, nothing, nada».
Может, и так. Моя ли, не моя ли?
Вроде тут, со мной, а других соблазняет.
Приглядела себе проповедника,
Что в кофейне ее при всех обслужил,
А баба его, с криком, с плачем,
Примчалась ее побить. Между тем
Она рассказывает о медицинском заведении,
Где директор, милый старый мамонт,
Иногда по знакомству делает аборт.
(Кстати, однажды она вышла замуж когда-то за него).
И снова туда собирается, не спрошу — зачем.
Меня терзает страшная жалость, но и гнев.
«Мой ребенок или нет, — кричу, — не позволю!»
Над землей, от бледнеющих на рассвете звезд,
Звук бежит, нарастает. Так говорит тишина.
In Excelsis. Навеки. Благословенна.

ПОЗДНЯЯ СТАРОСТЬ

Окончились утренние пробужденья
со стоящей палкой
которая ведет и указывает дорогу.
Указывается Я, и это
совершенно черная пропасть.

Худшему нету дна.
Пришла пора набожных книжек.
Чтобы я вцепился в какую-то святую
например блаженную Кунигунду
и повис как мешок над бездной.
А она держится за рясу святого Франциска
и так возносимся всей гирляндой.

[август 2003]

ЧТО МНЕ

Что мне, да и еще там кому до того,

Что будут и дальше рассветы и закаты,
снег на горах, и подснежники,
и человечество с кошками и собаками?

Что нам до того,
что в великое землетрясение часть Северной Калифорнии
обвалится в море?

Что рассмотрена будет легальность браков с компьютерами,

Что возникнет кибернетическая планетарная держава,

Что в 3000 году в Риме будут торжественно праздновать
вступление в четвертое тысячелетие христианства?

Что нам до того — если в наших краях умолкает гомон мира

И мы вступаем в Другое, за пространство и время.

Напрасно в обряде Дзядов нас искушают даром еды и питья.

Не откликаемся, ибо нет языка, чтобы понять друг друга с живыми.

И вянут бесполезно цветы, возложенные, когда мы были уже далеко.

[2003]

СТАРЫЙ ЧЕЛОВЕК СМОТРИТ ТЕЛЕВИЗОР

Может всё ж вы хоть бы каплю
слёз пролили
а не щерили бы зубы
и для зала сальто не крутили

Чтобы чуточку подумать
есть причины и заботы
не один я это знаю
старый и белобородый

Каждый для отводу глаз
строит рожи ртом и носом
чтоб не догадались что
горький плач в себе мы носим

Ваши штучки и не ваши
а притворны
а хотелось бы вам стенку
головой пробить прискорбной

И далёко отлететь навеки
на свободу
Не считать ни тяжких дней,
ни за годом годы

Значит нам не до конца
здешняя земля мила
Вот на это вы могли бы
подобрать музыку и слова

[2003]

ДОБРОТА

Такая в нем нежность скопилась, что при виде хромого воробья готов был разрыдаться.
Под безупречным светским лоском он скрывал свое сострадание ко всему живому.
Кое-кто об этом подозревал, но уж точно об этом таинственно знали малые птахи, они садились ему на голову и плечи, когда он останавливался в парке, и ели у него из рук, как если бы отменен закон, велящий малому остерегаться большого, чтобы не быть пожранным.
Как если бы время пошло вспять и вновь засияли тропинки в райском саду.
Нелегко мне было понять этого человека, в словах его зияло знание о том, как ужасен мир, этот ужас был испытан и прочувствован до самого нутра.
И я спрашивал себя, как сумел он в себе подавить бунт, найдя силы на смиренную любовь.
Потому, пожалуй, что мир хоть дурной, но существует.

ФЛЕЙТА КРЫСОЛОВА

Может, все-таки плохо, что распаду подверглось
само понятие долга перед отечеством?

Что усердные лакеи и платные палачи
не только не наказаны, а посиживают
на своих виллах и пишут мемуары,
ссылаясь на будущий приговор истории?

Вдруг объявилась небольшая страна, заселённая
малыми людишками, годная в провинции,
которыми издали управляет империя.

Может, не ошибался Жан-Жак Руссо,
советуя, прежде чем освободить
рабов, образовать их и просветить?

Чтобы не превратились в стаю мордочек,
вынюхивающих корм, пока приближается
крысолов со своею флейтой и ведет их
в какую захочет сторону

Флейта крысолова играет мелодии чуждые,
всё больше эпохи «Нашей малой стабилизации».

Они обещают глобальное кино и вечернее блаженство
с банкой пива перед экраном телевизора.

Пройдет поколение, может быть, два, и юноши
откроют незнакомое их отцам чувство стыда.

И для бунта своего станут искать образец
в давно позабытом антиимперском мятеже.

НЕБО

Отче наш, сущий на небесах!

Выражение «сущий на небесах» означает не место, но величие Божие и его присутствие в сердцах праведных. Небо, Отчий дом, представляет собой истинное отечество, к которому мы стремимся и которому уже принадлежим.

Католический катехизис

Сколько я себя помню, всегда хотел быть на небе

И жил тут, зная, что это лишь на время.

Что когда-то мне будет дано вернуться в свое небесное отечество.

Не то чтобы я не думал: после смерти ничего нет.

Лгали себе святые и пророки, зиждители храмов и мудрецы и поэты.

Нет у нас и никогда не было ни Отца, ни дома.

Вопль поколений, чающих помилования, раздавался в пустыне и пропадал в пустыне, а они шли под землю вместе со своей иллюзией.

Маски трагедии, тиары, литургические одеяния окаменеют в болоте, как кости мамонта.

Так я думал, но признавал, что со мной говорит голос Небытия.

Против которого бунтовала моя плоть и кровь,
а они меня вели в долгом путешествии среди людей.

Сколько раз я испытывал любовь и гнев, отвращение к людям, благодарность и преклонение.

Их слабость согревала меня, их сила подпирала меня,
они были со мной в моих снах и бессонных ночах.

Если б не они, я был бы беззащитен, а глядя на них,
слагал гимны

В честь буковых лодок, металлических зеркал,
акведуков, мостов и соборов.

Всего, в чем проявляется наше подобие

Несказанному, нашему Отцу на небесах.

[2003]

КОММЕНТАРИЙ К СТИХОТВОРЕНИЮ «НЕБО»

Автор этого стихотворения как будто бы считает, что вера в Бога основана на общении людей с людьми и на всём, что мы называем человеческой цивилизацией. Согласно Библии, Господь сотворил человека «по образу» Своему и «по подобию», и не божественная ли черта человека — присущая ему способность творить?

Цивилизация с ее постоянным, поразительным приростом открытий и изобретений представляет собой доказательство неисчерпаемых и воистину божественных черт человека. Но осторожно! В библейской притче о первородном грехе Адам и Ева поддались искушению змея: «Будете, как боги», — и отказались от единства с Богом ради своего самолюбия. Результатом было явление смерти, труда в поте лица, мук рождения и необходимости строить цивилизацию. Таким образом, если цивилизация доказывает божественные, неисчерпаемые творческие способности человека, то стоит заметить, что родилась она из бунта. Какой парадокс! Но наверное согласующийся с богословием, ибо бунт мог явиться лишь потому, что человек при сотворении был наделен свободой.

Итак, стихотворение обращается к запутанности христианского богословия и чем-то похоже на головоломку, но, пожалуй, единственная вина автора — в том, что он вторгся на территорию, которая роится вопросами, но содержит мало ответов.

[8 мая 2003]

В ЧЕСТЬ КСЕНДЗА БАКИ

Ну и мухи,
Ну и мухи,
Пляшут точно молодухи,
В наши пляски влезли,
Как любезная с любезным
На краешке бездны.

Бездна — что безногий,
Бездна — без хвоста,
Лежит у дороги,
Перевернута.

Эй, мушки-дамы,
Мушки-господа,
Вашей думы, вашей драмы
Не узнает умный самый,
Веселитесь завсегда.

На дерьме коровьем
Или на повидле
Исполняйте фигли-мигли,
Исполняйте фигли.

А бездна не ест, не пьет,
Молока не дает.
Что же делает? Ждет.

[2002]

СЫН ПЕРВОСВЯЩЕННИКА

Да, отец мой был первосвященник,
но напрасно меня теперь убеждают,
что мой долг — отца осудить.

Он был муж праведный и благочестивый,
защитник имени Господня.

Он обязан был беречь имя Господне
от скверны из уст человека.

На страстные чаянья моего народа
отвечали лжепророки, лжеспасители.

Неизвестный плотник из Назарета не первый,
кто выдавал себя за Мессию.

Мой отец был впутан в трагическое дело
откуда не было выхода.

В народных представлениях пришествие Мессии
стало равнозначно концу римской оккупации.

Мог ли синедрион допустить восстание,
что окончилось бы разрушением святого города?

Если б даже мой отец хотел спасти
Назарянина, тот нанес ему страшную рану.

Ранил его благочестие, самой сутью которой
была уверенность в бесконечном расстоянии,
отделяющем нас, смертных, от Творца.

Неужто вы, ученики Иисусовы, не понимаете,
что значит для ушей благочестивых ваше утверждение,
будто этот человек был Богом?

[апрель 2003]

SANCTIFECITUR

Имя Твое как первый воздуха вдох
и первый младенца крик

Произношу имя Твое и знаю, что Ты беззащитен,
ибо мощью владеет князь мира сего.

Необходимости Ты отдал во власть тварные вещи,
а Себе оставил сердце человека.

Освящает имя Твое добрый человек,
освящает имя Твое жаждущий Тебя.

Высоко над землей равнодушия и боли
сияет имя Твое.

О СПАСЕНИИ

Спасённый от почестей и благ,
Спасённый от счастья и забот,
Спасённый от жизни и продления жизни,
Спасённый.

ПРОЗА, ПУБЛИЦИСТИКА

ОПЫТ ВОЙНЫ

О том, как люди внутренне переживают эту войну, которая ведется за концепцию мира и человека и тем напоминает религиозные войны, по сути дела известно крайне мало. Почти единственный источник знаний — размышления над собственным опытом, но и тут нелегко отдать себе в нем отчет: мешает отсутствие приспособленного к новым испытаниям языка, а мы знаем, как привычный язык деформирует даже самые искренние ощущения. Пример тому — многочисленные и чаще всего неудачные попытки придать свежим военным переживаниям литературную форму. О европейском опыте войны станет известно только тогда, когда он станет фактом общественным, то есть приземлится на почву новых философских и художественных течений, когда он будет закреплен в борьбе с творческим материалом — в слове, камне, краске, звуке. Конечно, я веду речь не о закреплении военной тематики — она дело второразрядное, — но об общей атмосфере, о смене внутренних пропорций, на что великий коллективный опыт не может не оказать влияния.

Между тем мы осуждены читать в себе самих. Поскольку личный тон в этом случае вполне оправдан, скажу, что я вижу некоторую внутреннюю логику и внутреннее развития моего отношения к военной действительности — и, может быть, это не только и исключительно мой удел. Я стараюсь выделить, обвести контуром это сплетение болезненных вопросов и, когда это хоть частично удастся, прихожу к выводу: существует нечто такое, что можно бы назвать специфическими военными переживаниями, и это какой-то механизм, о котором можно рассуждать, подобно тому как рассуждают о любовных переживаниях или о механизме жестокости.

Но дать названия частям этого сложного механизма — это, пожалуй, в настоящий момент недоступно. Поэтому нужно прибегнуть к помощи писателей, которые стремились передать если не такие же, то по крайней мере схожие чувства. Мне приходит на ум «Война и мир» Толстого. В поисках аналогии (хотя полной аналогии тут быть не может) мы нередко останавливаемся на наполеоновских войнах. Хотя и довольно невинные по сравнению с наступлением доктрины национал-социализма, для людей того времени они, должно быть, оказались столь же сильным потрясением, особенно в их наиболее яростных и кровавых формах — в Испании и России. Два самых серьезных документа войны в европейской культуре: рисунки Гойи и «Война и мир» — даны нам испанцем и русским; если это случайность, то во всяком случае выразительная. «Война и мир» написана через несколько десятков лет после событий, составляющих ее тему, и уже представляет собой полемику с наполеоновской легендой. Однако великая писательская интуиция Толстого оказалась способной преодолеть временную дистанцию (а может, как раз эта дистанция доставила необходимые средства) и дать пронизательный анализ явления, о котором идет речь. Хорошие книги живут настолько богатой и сложной жизнью, что каждое поколение может найти в них свою собственную злободневность. Так и роман русского писателя содержит фрагменты, которые для участников дьявольского зрелища приобретают совершенно новую выразительность. Поэтому есть смысл призвать эти фрагменты как свидетельство и, используя их как предлог, попробовать хоть чуть-чуть продвинуть наше самопознание.

В войне 1812 года уже существуют, хотя еще очень легкие, акценты тотальной войны. Горящая Москва и массы повозок на охваченных паникой дорогах близки сегодняшнему пониманию. Вид на войну глазами ее гражданского участника — вот что особенно сближает с нами некоторые части толстовской эпопеи, а история Пьера Безухова в критические для России дни — исследование опыта войны, достойное пера самого подкованного философа.

Пьер был в «состоянии, близком к безумию». Его охватило чувство неясного, но сильно испытываемого долга, необходимость любой ценой принять деятельное участие. Руководимый этим безумием, он совершенно утрачивает способность реальной оценки событий, пребывает в мире, больше похожем на галлюцинации,

чем на явь. Функции рассудка совершенно заторможены. Вопреки инстинкту самосохранения, который скорее повелевал бы ему бежать вместе со всей богатой Москвой, к которой Пьер как аристократ принадлежит, — он плывет против течения и остается. Туманный, непонятный ему самому императив кристаллизуется в чудаческое решение: заколоть кинжалом Наполеона как виновника всех несчастий отечества. В подлинность этого решения он и сам не вполне верит. Всё происходит, как сказали бы мы сегодня, в подсознании. Существенные мотивы остаются ему неизвестными — но где-то глубоко таящаяся солидарность с судьбами всего народа и жажда пожертвовать собой (не без умиления своей предполагаемой смертью) должны найти какую-то точку опоры снаружи — в сознательной части его «я». И он создает такую точку опоры, как пчела, строящая большую ячейку сот для пчелиной матки под натиском таинственного инстинкта.

Намерение убить Наполеона фантастично и нереально, но оно оправдывает пребывание Пьера в Москве, по крайней мере поначалу, потому что потом где-то незаметно развеивается: мавр сделал свое дело, мавр может уходить. Вот первый этап военных переживаний, эмоциональный фон: разрушение равновесия между сознательной и бессознательной частями человеческого существа и подчинение, большее чем когда-либо, инстинктам, назвать которые испытывающий их человек не способен, а если называет, то довольно грубо их искажает. Это инстинкты, как видно на примере, совсем не обязательно низкие и чисто биологические — они могут обладать прекрасным моральным блеском, но они превосходят способность восприятия индивидуума, принадлежа к сфере великих массовых восторгов, часто выражающихся скудными словами или совершенно бесполезными, на взгляд здравого разума, делами. Всякий, кто припомнит осень 1939 года и метание человеческих дробин, из которых одни рвались на восток, другие — на запад, когда для одних оказаться в том месте, откуда как раз трогались другие, было целью, достигаемой путем величайшего самопожертвования, — согласится, что ими, должно быть, владели какие-то могущественные силы, возникшие из скрещения личных навыков и склонностей с так или иначе ощущаемым чувством солидарности (быть вместе: с семьей, с родным городом, с армией, с партией, со своей средой — решения множились, и в зависимости

от того, что побеждало, индивидуумы выбирали то или иное направление). Несомненно, у этих дробинok были какие-то свои доводы, и они словесно сообщали эти доводы другим дробинкам. Но доводы эти были по преимуществу мнимыми, и, обосновывая свое поведение, говоря: так и так поступить лучше, потому что... — люди помещали вслед за этим «потому что» причину крохотную в сравнении с огромной стихией, несшейся через них.

Таким образом, первый слой основан, быть может, на большей, нежели в мирное время, зависимостью от скрытого тока, проходящего сквозь тело общества, — благодаря чему даже самый темный человек становится деятельным участником процессов, намного превосходящих его восприятие; интеллект тут не слишком пригодится — «состояние, близкое к безумию» оказывается состоянием интеллектуального разоружения, оно рождается из чувства интеллектуальной незащитности перед внутренним повелением (идти, действовать, выполнять приказы, быть вместе со всеми и т.п.). За этим приходят новые элементы: вид человеческой жестокости и личная нищета — нищета в библейском значении этого слова, то есть смерть близких, голод, унижение.

Пьер Безухов, схваченный французскими солдатами, отданный под суд и приведенный на место казни, смотрит, как расстреливают «для примера» его сотоварищей, наудачу выхваченных из московской толпы. Все детали казни рисуются перед ним с огромной ясностью: обморочные взгляды осужденных, которые до конца не верят, что это произойдет; нервозность и беспокойство расстреливающих солдат; поспешное засыпание еще шевелящихся и дергающихся тел. «Все, очевидно, несомненно знали, что они были преступники, которым надо было скорее скрыть следы своего преступления». Под влиянием этого зрелища у Пьера происходит — не в сознании его, а в тех глубинных, расшевеленных войной залежах — внезапный перелом, внезапный выход за тот круг, в котором мы пребываем, когда живем в традиционно накопленных веками убеждениях. «С той минуты, как Пьер увидел это страшное убийство, совершенное людьми, не хотевшими этого делать, в душе его как будто вдруг выдернута была та пружина, на которой всё держалось и представлялось живым, и всё завалилось в кучу бессмысленного сора. В нем, хотя он и не отдавал себе отчета,

уничтожилась вера и в благоустройство мира, и в человеческую, и в свою душу, и в Бога». Это второй слой опыта войны — его можно назвать утратой веры в цивилизацию. Живя среди ценностей, накопленных трудом поколений, в который складывались усилия святых, мыслителей, художников, человек пребывает в определенных рамках, его мысли и чувства развиваются в некоторый обряд. От слов молитвы, которым учит его мать, до школьного чтения и учения, а затем приобретя опыт жизни в обществе, он, сам того не ведая, черпает из сокровищницы гуманистических иерархий, усваивает способы оценки, а собственное бытие и бытие человечества принимает как борьбу за всё более совершенные цели. Он чувствует, что человек — не только животное, но что-то большее. Его нравственное чувство находит опору в обычаях, праве, заповедях религии, в повседневном языке лозунгов и призывов к согражданам. Когда эта хрупкая поверхность раздирается и обнаруживается дно человеческой природы — наступает критический момент. Всё рушится, всё кажется искусственным и ничтожным в сопоставлении с элементарными фактами: жестокость людей, по своим результатам такая же, как жестокость природы; легкость, с которой в одну секунду чувствующее и мыслящее существо превращается в мертвый предмет; обращение с теми, каждый из которых (как он верил!) есть отдельная личность, как с игрушками, коим подлежит быть уничтоженными, переброшенными с места на место, искалеченными. В такую минуту все возможные аспекты рассмотрения человека исчезают — остается только один, биологический. Остальное выглядит несущественной надстройкой.

Этот переломный пункт должен быть гораздо выразительней в великую войну XX века — как ни говори, а наполеоновские войны были столкновением сил в пределах цивилизации, ни одна из сторон не выступала с программой сорвать человека с пьедестала и не подвергала сомнению его установившееся веками достоинство. Там, где личность, переживающая этот переломный пункт, вынуждена перенести не только сам вид озверения, но и влияние доктрины, оправдывающей и восхваляющей голое зверство, — возможность сломиться намного больше. На душу, угнетенную такой картиной, какую увидел Пьер Безухов, грузом ложатся слова пропаганды, в основе которых лежит восторг перед безжалостным насилием и — вопреки накопленному достоянию западной

культуры — восторг перед «естественным» человеком, не сформированным ни Евангелием, ни таинствами, ни обычаями благожелательного сосуществования согласно *ius gentis*. Эти слова могут воздействовать сильно и оставить прочные следы в неосознаваемой, но важной для поведения сфере, где рождаются рефлекс мысли и действия.

Каковы могут быть результаты этой внезапной утраты веры? Не выразятся ли они в изменении коллективного духа, не запятнают ли поведение общества? Пьер Безухов впадает в отупение, в полное прозябание — и это одно из возможных последствий: своего рода сон и равнодушие к окружающим событиям, внутренний паралич, — собственно говоря, до этого состояния и хотят довести гонители, этого им вполне достаточно. Другим возможным состоянием — у личностей более подвижных и ловких — будет остановка на этом уровне внутреннего одеревенения при развитии вовне совершенно циничной деятельности. В гибели оценочности они черпают обоснование самых гнусных поступков: раз ничего прочного не существует, раз жизнь есть не что иное, как бессмысленный клубок пожирающих друг друга червей, — значит, всё позволено, спасем самих себя. Так они идут по пути потаенных или открытых преступников, которых любая масса производит во множестве, но в исключительные времена их рождается больше, чем когда-либо, ибо внутренние тормоза теряют свою действенность.

Однако вышеназванные виды последствий не выглядят настолько заурядными, чтобы следовало опасаться, что они разольются громадной волной, поглощающей мирные формы бытования общества. Опаснее результаты, более согласные с требованиями человеческой природы и поэтому случающиеся гораздо чаще. Врожденная жажда нравственной гармонии, стремление установить хоть какую-то иерархию — любую, лишь бы была, — могут толкнуть к обустройству в руинах этического мира, в руинах веры, а это обустройство называется деформацией ценностей. Усомнившись в наследии, оставленном проповедниками и пророками, призывавшими к борьбе за царство Божие на земле, люди вынуждены высвободить свой энтузиазм, свою любовь к благородным и жертвенным поступкам и лихорадочно ищут вокруг себя чего-то, что годилось бы для обожествления и украшения, — подобные в этом архитекторам, которые брали образцами руины, сочтя их

самым прекрасным продуктом строительства и не зная, что где-то существуют подлинно прекрасные и нетронутые памятники искусства. Эту потребность отлично понял национал-социализм: приходя в эпоху, когда военный опыт выжег души миллионов, и используя сильное течение сомнений в цивилизации, охватившее Германию, он поставил на место сверженных богов новый кумир — свое племя, придав ему черты божественности и снабдив его всеми достоинствами истины, красоты и добра. Нет истины, нет красоты, нет добра — безусловных, зато есть германская истина, германская красота и германское добро. Так был заполнен вакуум, и в рамках нового канона нашлось место героизму, самоотречению, товариществу и т.п.

Так как же поведет себя представитель завоеванной Европы, если ему выпадет это духовное поражение? Утратив веру в посланничество (с которой он прожил, правда не без лукавства, XIX век), видя горизонт, повсюду замкнутый ландшафтом руин, он может не найти в себе сил, чтобы выйти из этого заколдованного круга, и согласится устроить свое хозяйство по мерке пожарищ и развалин. Тогда, питая ненависть к врагу и отыскивая, что же противопоставить врагу, он пойдет по его следам и противопоставит ему обратный, но остающийся в тех же масштабах идеал: враждебному племени он противопоставит свое собственное племя и будет его обожествлять, признав его успешность и силу высочайшими критериями деятельности. Человек, человечество — эти понятия вызовут в нем только рефлекс неприязни и раз навсегда останутся связаны с неприятными воспоминаниями — как бессилие какой-нибудь Лиги Наций или фарисейство демократии. Такой подход, превращающий собственное отечество в алтарь, на котором сжигают отдельную личность, позволит ему высвободить весь запас благородства и героизма, тем более что пока продолжается гнет, этот алтарь — еще и алтарь страдающей человечности. Но победа неизбежно принесет раздвоение и поставит вопрос приоритета целей. Если бы такая атмосфера стала повсеместной, континенту вскоре грозила бы новая опасность, вытекающая из экзальтации своим родимым, к чему склонны много перестрадавшие народы.

Вышеприведенные рассуждения я извлек из опыта войны, но было бы ошибочно утверждать, что только он — мотор этих перемен, имеющих куда более сложные причины. Тем не менее опыт войны

содержит в себе как бы в сжатом виде историю последних десятилетий, обогащенную накопившимся материалом, сильнее чего бы то ни было другого преобразует человека — и затрагивает даже наименее чувствительных. Пойдем дальше. Исчерпывает ли утрата веры всю область феномена? Нет. Толстой велит своему герою утратить веру и затем снова ее отстроить. Пьер Безухов сходит в самую юдоль нищеты в лагере (депо) пленных — и именно там, среди полной примитивности, унижения и смерти, одного за другим уносящей его собратьев по плену, переживает великое преобразование, выходит оттуда, смирившись с миром и внутренне свободный. Это происходит через прикосновение к судьбе человека во всей ее простоте, бренности и боли. Можно сказать, что его спасает соседство простого мужика Платона Каратаева: само его ровное дыхание по ночам, его радостное смирение, его полное согласие на всё, что принесет грядущий день, — для Пьера новый и нелегкий опыт; может быть, это попросту называется любовью к ближнему. Идя «босыми, стертыми, заструпелыми ногами» по замерзшим русским дорогам, Пьер открывает, что человек не только зол, но и воистину добр, что земля и жизнь хороши, а зло не должно заслонять нам великую и мудрую гармонию бытия. Даже слабость и ничтожество человека не нарушают этой гармонии, входят как необходимый пункт в какой-то окончательный расчет. Толстой не колеблясь описывает поведение Пьера во время расстрела Каратаева, который слишком слаб, чтобы поспевать за конвоем. «Каратаев смотрел на Пьера своими добрыми, круглыми глазами, подернутыми теперь слезою, и, видимо, подзывал его к себе, хотел сказать что-то. Но Пьеру слишком страшно было за себя. Он сделал так, как будто не видал его взгляда, и поспешно отошел. <...> Сзади, с того места, где сидел Каратаев, послышался выстрел. Пьер слышал явственно этот выстрел, но в то же мгновение, как он услышал его, Пьер вспомнил, что он не кончил еще начатое перед проездом маршала вычисление о том, сколько переходов оставалось до Смоленска. И он стал считать».

Единственное ли это решение — то, которое дает Толстой? Можно ли, усомнившись в человеке, вновь обрести веру, только отрехшись от всего, чем дарят сытость, социальные различия и пользование материальными выгодами? Можно ли принять цивилизацию только тогда, когда подвергнешь ее огненному

испытанию суровости и простоты, принуждая людей проложить между ними те связи, которые возникают «в страданиях, в безвинности страданий»? Такое решение — очень русское, и в России оно повторяется в разных видах много лет. Парадоксально, что защищающаяся от такого решения Европа уже сошла в чистилище примитивности и убожества. Но ее традиции не опираются на евангельское христианство, ее не исходили «старцы», покинувшие семью и имущество, чтобы спастись в лесах над Обью или Печорой. Ее монастыри были деятельными, полными движения, занимались хозяйственными, политическими и учебными делами. Может быть, поэтому Европа так неохотно отступает, предпочитает рассматривать свое унижение как минутное поущение, не представляя себе — по крайней мере — своего будущего в сдержанности и суровости. Многим ее гражданам наверное дано испытать то, что испытал Пьер Безухов: пожатие руки, слово товарища по тюремной камере преодолевает чуждость и враждебность, снова возносит человека высоко, и «прежде разрушенный мир теперь с новой красотой, на каких-то новых и незыблемых основах, воздвигался в его душе».

Говорящая тут, в этот период возвращения к здоровью, традиция с удвоенной силой навязывает свои формулировки, навязывает свой язык. Демонические элементы человеческой природы широко учитывались в западном христианстве. С того момента, как отдельная личность вырывалась из-под опеки Церкви и вверялась своим силам, от нее всего можно было ожидать, и величайшее зверство было в глазах католика понятным результатом врожденной порчи. Поэтому человек, продолжающий традиции западного христианства, лучше подготовлен к выходу из неверия, в которое его загоняет подлость. Кризис у него не такой острый, антитоксины действуют быстрее и успешней. Несмотря на дно, которое иногда приоткрывается, он упрямится в сохранении надежды и постоянно ожидает братства людей — с помощью подавления этого дна и обуздания биологических инстинктов.

Результаты, вытекающие из размышлений над опытом войны, скорее тревожны. Твердо веря в уничтожение доктрины расового сверхчеловека, можно спросить, удастся ли зарыть и забыть такой мощный взрывчатый груз, как это пытались сделать после Первой мировой войны, пребывая в иллюзиях prosperity. Всё зависит от

того, как совесть человека справится с сомнением. Если сомнение в нем поселится, если он сочтет борьбу за «жизненное пространство» естественным состоянием, то на сцене появятся реалистические политики, которые будут искать единственную основу международных отношений в равновесии сил и шахматной игре государств, что, как мы знаем, приводит уже не к «малым войнам» между двумя государствами, а неизбежно заканчивается фейерверком для всего земного шара. Если он преодолеет сомнение и снова вернется на старый путь мечтаний о государстве объединенного человечества — еще неизвестно, какую выберет форму. Или же, сочтя, что цивилизация в ее настоящем виде — в принципе зло, пожелает ее уничтожить, перепахать и строить новую, воспитывая массы в братстве убожества и потере личности? Или же, сознательно либо бессознательно обращаясь к традициям западного христианства, он захочет цивилизацию обновить, обогатить и улучшить, меняя устарелые институты и приспособлявая их к новым требованиям? Неизвестно.

Да, помимо этого есть еще извечные столкновения интересов и эгоизм наций. Значение их, однако, меняется в зависимости от духа эпохи и от названий, которыми каждое поколение учится их определять. Они как некоторые болезни: достаточно больному знать, чем он страдает, и мучения окажутся куда ощутимей. Эгоизм трудно выполоть, но многое зависит от того, какие средства будут считаться дозволенными. Даже такая разница, как между применением протекционных пошлин и вырезанием дотла нации, мешающей в шествии к могуществу, — уже много.

Я сказал, что мало знаю о своем и чужом опыте войны и что остановился только над тем, как описал его Толстой. Я старался по нескольким чертам прочесть его внутреннюю структуру и извлечь аллюзии, которые как будто заключил в своих простых предложениях русский писатель. Может быть, переживания людей во время войны XX века намного разнороднее и глубже; может, они развиваются по другим законам. И, может быть, применять к ним Толстого так же нецелесообразно, как, например, применять описания из пацифистских романов о войне 1914–1918 годов. Пока что, однако, у нас нет большого выбора.

БЕДНЫЙ КАМЕР-ЮНКЕР

Waclaw Lednicki. Pushkin's Bronze Horseman.

The Story of a Masterpiece.

Berkeley — Los Angeles: Univ. of California Press, 1955

Александр Пушкин в сегодняшней Польше малоизвестен, и как раз потому, что пропаганда поместила его в музей восковых фигур, в отделение «польско-русской дружбы». Трагедия поэта — она же одновременно трагедия русского, и не только в XIX веке, — подвергнута старательной переработке, словно ее и вообще не было. Ничего удивительного. Там, где не разрешено видеть исторический контекст, если он не соответствует схемам, наступает умаление людей и явлений. Но не один из нас думал о Пушкине в последнее время, читая высказывания советских писателей, приходящих на подмогу российским государственным интересам и восхваляющим подавление Венгрии. Таланта у них меньше, чем у Пушкина, однако их дилемма аналогична: отечество contra человечество. Они не могут не подчиниться закономерностям, которые сильнее лозунгов и программ.

Польский пушкинист №1, Вацлав Ледницкий, — профессор Калифорнийского университета в Беркли. Пожалуй, никто не усомнится, что это крупнейший ученый. Однако перестанем держать ученых в отведенных им сейфах, если они пишут интересней, чем авторы романов. Последний труд Ледницкого о «Медном всаднике» — чтение увлекательное, ибо свойство дотошно представленных фактов таково, что они возбуждают у нас множество размышлений о наших днях. Закрывая эту книгу, мы приходим к следующим выводам.

Сегодня справедливо осмеяна склонность всё рассматривать под углом «Слон и Польша». Справедливо, ибо страна небольшая, мало прославленная в истории цивилизации и планета не много

потеряла бы, если бы этой страны вообще не существовало. Заняв такую смиренную позицию, следует сделать одно исключение: для России Польша обладает огромным весом, причем не только в сфере стратегии, но, что важнее, в сфере культуры. Она означает встречу с чем-то принципиально иным (с Европой), она представляет собой навязчивую идею, проблему, угрызение совести, и тем большее, что невысказанное и затертое ложью. Эту одержимость носил в себе величайший русский поэт.

Закономерность в двусмысленности: сначала либеральные мечты о братстве народов, прогулки и разговоры с Мицкевичем. Потом, когда «доходит до дела» и начинается восстание 1830 года — оскорбленная гордость, приступ националистического безумия. Вероятно, только тогда отношения между двумя странами вступят в новую фазу, когда в русских школах подвергнут честному анализу стихотворения Пушкина «Клеветникам России», «Бородинская годовщина», «Он между нами жил...». Что ж вы нам грозите анафемой, — восклицает Пушкин, обращаясь к западным странам, — что побуждает вас к пустой ярости? Униженная гордыня Польши? Да это же только «спор славян между собою», «вопрос, которого не разрешите вы» (применяя аналогичный принцип, интервенцию в Венгрии теперь объявили внутренним делом — круг «славян» расширился). «Славянские ль ручьи сольются в русском море? / Оно ль иссякнет? вот вопрос». И та известная угроза: попробуйте только на нас ударить — вашим гробам найдется «место <...> в полях России». «Восстав из гроба своего / Суворов видит плен Варшавы; / Вострепетала тень его / От блеска им начатой славы!» Разве Россия «больной, расслабленный колосс»? — иронически вопрошает Пушкин, отвечая на манифест Французско-польского комитета в Париже. «...скоро ль нам Варшава / Предпишет гордый свой закон? // Куда отвинем строй твердынь? / За Буг, до Ворсклы, до Лимана? / За кем останется Волынь? / За кем наследие Богдана? / Признав мятежные права, / От нас отторгнется ль Литва? / Наш Киев дряхлый, златоглавый, / Сей пращур русских городов, / Сроднит ли с буйною Варшавой / Святыню всех своих гробов?» Нет, Россия сильна. «И Польши участь решена... // Победа! сердцу сладкий час!»

Победа. Но тот, кто напоил «ядом / Стихи свои, в угоду черни буйной», Мицкевич, мучил Пушкина издалика. Последние годы жиз-

ни поэта, период, когда написан «Медный всадник», — тема труда Ледницкого. Мы здесь не будем входить в подробно исследованные гипотезы и в поправки, которые Ледницкий вводит в свои собственные, ранее им представленные гипотезы. В рецензии ограничимся вопросами, интересующими более широкий круг читателей. Возникновению «Медного всадника» содействовали смешанные чувства, которые возбудил в Пушкине «Отрывок III части „Дзядов“». Содействовала и одна поездка из Петербурга в деревню и вид летней грозы, ибо в мыслях писателя он соединился с описаниями большого петербургского наводнения (того самого, которое изобразил в стихах Мицкевич). Прежде же всего содействовали личные обстоятельства Пушкина: придворный поэт бился в золотой ловушке и бежать из нее смог, лишь погибнув на дуэли, не слишком отличавшейся от самоубийства. Поклонником, а может быть, и любовником его горячо любимой жены был не кто иной, как сам император Николай I. Гипотезы начинаются, когда историки литературы ищут ответа на вопрос, что собственно значит поэма. Ибо в ней сливаются два течения: с одной стороны, гимн в честь мощи царизма, в честь символа этой мощи (памятник Петру Великому), с другой — сострадание к человеку, сокрушенному всеилием государства, «бедному Евгению», и враждебность к царю. Пушкину приходилось шифровать, ибо он был окружен врагами, а цензором его произведений был его главный враг — Николай I. Однако в поэме происходит раздвоение, и попытка описать Петербург иначе, нежели описал его Мицкевич, обнаруживает принципиальную амбивалентность: жалость к жертвам насилия незаметно переходит в поклонение абсолютной власти, культ абсолютной власти незаметно переходит в жалость к ее жертвам. Кто знает русских, тот знает, что этот узел они до сих пор не сумели в себе развязать.

Я не пересказываю рассуждения Ледницкого — я записываю свои заметки на полях. Очень любопытно то, что он говорит о причинах личной неприязни Пушкина к Петру Великому. Она вытекала из преданности традициям своей семьи. Пушкины принадлежали к тому старинному дворянству, упадок которого был результатом реформ Петра; в конце концов, революция 1917 года не впервые ввела в России новую иерархию привилегий. Боярские роды могли утешаться прошлым, но первые места получали парвеню, постами и титулами обязанные исключительно воле монарха. Все

путешественники по России XVIII–XIX вв. обращают внимание на шаткость любого общественного положения в этой стране. Тамшний строй, собственно говоря, имел мало что общего с французским ancien régime, где обязывало почтение к «голубой крови». Из низов взлетали на вершины, с вершин катились вниз, и решала тут царская милость. И Пушкин ненавидел придворную камарилью, набранную из таких «новых людей», в сравнении с которыми он, потомок старого рода, был в положении едва терпимого писаки.

Труд проф. Ледницкого в десять раз человечнее и дружественнее к русскому поэту, чем лакированные сочинения, написанные в Польше. Ибо факты восстанавливают действительный размах несчастья. Что бы ни говорить о страданиях и безумствах Мицкевича-эмигранта, Пушкин, хоть и жил у себя на родине, был куда несчастней: он шел по узкой тропинке между оподлением и самоуничтожением, как позже Маяковский. Чтобы измерить его несчастье, надо не забывать, что поэт не может быть только циником и должен верить в то, что пишет.

А кто поруган злей? Кого из вас горчайший
Из жребиев постиг, карая неуклонно
И срамом орденов, и лаской высочайшей,
И сластью у крыльца царёва бить поклоны?

А может, кто триумф жестокости монаршей
В холопском рвении восславить ныне тщится?

[Мицкевич. Русским друзьям.

Пер. Анатолия Якобсона]

Но был ли Мицкевич справедлив, когда так обращался к старому другу (не имеет значения, Пушкина ли он имел в виду, если тот так воспринял)? Обвинитель никогда не вникает в запутанные мотивы, в ту чащу жизни, где принимаются решения.

Были ли антипольские стихи Пушкина, подлые, как любая литература, вступающая в союз с сильными против слабых, написаны «в холопском рвенье»? Можно полагать, что нет. Можно полагать, что возмущение парламентскими «народными витиями», этим Западом, мешающимся не в свое дело, и мятежными поляками — было искренним. «Народный поэт» [по-русски в тексте] разделял

общий дух, ощущал глубоко великорусскую волю силы. Значит ли это, что он лгал, мечтая о временах, когда «народы, распри позабыв, в великую семью соединятся»? Тоже нет. Шофер берлинского такси, которого один журналист попросил прокомментировать события в Венгрии, так сжато изложил сложную истину: «Русский — мужик добрый. Он со всеми хочет дружить. Вынимает револьвер и говорит: „Люби меня, не то убью“». Быть может, в антипольских и антизападных стихах Пушкина — как в «Скифах» Александра Блока — есть попросту горькое изумление, что можно не восхищаться русскими и не любить их. В этом таится отсутствие перспективы: свой народ не воспринимается как один из многих. В этом есть черты инфантильного восторга по отношению к себе. На других языках столь племенная поэзия встречается редко. Чтобы найти ее, потребовалось бы отступить на много веков назад. В сравнении с ней поэзия Киплинга — вершина равнодушия к Британской империи.

И когда Мицкевич из-за границы бросал обвинения — что мог Пушкин, камер-юнкер, носивший ад в сердце? Даже его письма жене перлюстрировались. То, что он защищал эту систему и это рабство от «ветра с Запада», было особливим парадоксом судьбы. Но и в мятежные минуты он не мог себе позволить ясное сознание. Самое большее, что он мог себе позволить, — это образ из «Медного всадника: статуя царя Петра гонится по пустым улицам Петербурга за бедным Евгением, и эхо разносит стук копыт по мостовой. Статуя, под которой некогда, «Укрывшись под одним плащом, / Стояли двое в сумраке ночном» [цитаты здесь и далее в пер. В. Левика].

По мнению профессора Ледницкого, «Медный всадник» — в русской литературе произведение переломное, если говорить об отношении к «граду Петра». До тех пор было некритическое поклонение, теперь начнется отрицание. Следующим этапом станет гоголевский Петербург.

В течение XIX века Россия была больна навязчивой идеей польской «заразы». Дело Пушкина — лишь фрагмент целого. Царское правительство любило приписывать все мятежи и беспорядки деятельности иностранных агентов. Так, Кюстин в 1839 году записал, что крестьянское восстание на Волге называли «работой польских социалистических эмиссаров» — идея, надо сказать, свидетельствующая о фантазии чиновников. Влияние таких же

эmissаров усматривали в бунте украинских крестьян в 1855 году, как сообщает Аполлон Коженёвский. Наверняка удалось бы собрать еще немало подобных примеров.

Труд проф. Ледницкого лишен политических акцентов, но читателю разрешено проводить аналогии. Книга заслуживает того, чтоб ее рекомендовали всем иностранцам, которые хотели бы что-то понять в польско-русских отношениях. В ней также приведены в английском переводе «Медный всадник» и «польская трилогия» Пушкина, весь «Отрывок» Мицкевича и стихотворение Валерия Брюсова «Вариации на тему „Медного всадника“». Это стихотворение, большинству поляков неизвестное, сжато охватывает всю проблему. Есть тут и «двое под одним плащом» у памятника, и отъезд Мицкевича, и восстание 1830 года, подавляемое царскими войсками «под грозный зов» стихов Пушкина. «И заглушат ли гулы славы» голоса убиваемых борцов за свободу и «слабый стон» сосланных в Сибирь друзей-декабристов? Пушкин у Брюсова еще раз стоит у памятника Петру, думает, угрожая: «Добро, строитель чудотворный!» — и за это кощунство наказан: он слышит за собой «топот роковой» Медного всадника. Трудно устоять перед подозрением, что Пушкин в своем протесте напоминает человека, который является с повинной в полицию, прося его арестовать, ибо у него антигосударственные мысли: протест и страх перед национальным табу выступают у него с одинаковой силой.

ЧЕЛОВЕК СРЕДИ СКОРПИОНОВ

(Отрывки из книги)

Первое издание. Париж: Институт лите́рацкий, 1962

Жизнь наша, я наше — это пост часового; когда мы с него уйдем — его потеряет всё человечество навсегда.

Бжозовский

Станислав Бжозовский умер 30 апреля 1911 года во Флоренции от чахотки — или, вернее было бы сказать, от нищеты — на тридцать третьем году жизни. За полвека, прошедшие с тех пор, в Польше не было почти ни одной литературной дискуссии, где не раздавалось бы его имя. И все-таки в его родной стране нет даже такой памяти о нем, как собрание сочинений. Большинство его книг — сегодня библиографическая редкость, и любой, кто пожелает с ними ознакомиться, вынужден вылавливать их по одной в каталогах крупных библиотек.

Самым верным другом Бжозовского была его жена Антонина, урожденная Кольберг. Ее стараниями в 1928 году на флорентийском кладбище Треспиано был воздвигнут надгробный памятник по проекту скульптора Роберто Пассалы с надписью: «Stanislaw Brzozowski, poeta e filosofo». Вторым верным другом был львовский критик Остап Ортвин. В последние годы жизни, когда Бжозовский изо всех сил стремился успеть закончить как можно больше начатых трудов, польская пресса и издательства бойкотировали его. Если бы не Остап Ортвин, самые зрелые книги Бжозовского остались бы в рукописях, а рукописи могли бы и погибнуть, тем более что бойкот прекратился далеко не сразу после смерти их автора. Ортвин был литературным советником львовского

издательства Б. Полонецкого, и там вышли «Легенда Молодой Польши» (1909), «Идеи» (1910) и уже посмертно — роман «Один среди людей» (1911), «Голоса среди ночи. Исследования романтического перелома европейской культуры» (1912), вышедшие под одной обложкой «Призраки моих современников» и неоконченный роман «Книга о старой женщине» (1914), избранные сочинения кардинала Ньюмена в переводе и с предисловием Бжозовского (1915). Посмертно вышли и изданные Антониной Бжозовской «Записки» (год издания, вероятно, 1915).

В польской литературе XX века не найти писателя с таким размахом и серьезностью интересов. Умственно он превосходил всех знаменитостей своего времени, и это дает ему сегодня исключительное положение. Такие писатели, как Жеромский или Реймонт, оказались «обустроены», вмещены в свою эпоху, классифицированы, и никому не пришло бы в голову заниматься цензурой их сочинений. Бжозовский же у издателей или у тех, кто пытается о нем писать, возбуждает тревогу и дрожь, а причины этой дрожи меняются в зависимости от колебаний политической конъюнктуры. Это значит, что он по-прежнему остается нашим современником и еще не превратился в предмет историко-литературных исследований. По-прежнему каждый, кто о нем пишет, уже тем, что взялся за перо, высказывается за или против. Эту страстность, вытекающую из самой природы вопросов, которые заботили Бжозовского, тогда в этом одинокого, не следует скрывать.

Говоря в самом общем виде, темой его сочинений был переворот в истории рода человеческого, начавшийся под конец XVIII века и ознаменованный порогом новейшей истории — Французской революцией. Отдельные книги Бжозовского можно назвать экспедициями в разные края столетия перемен — быстрых, как никогда ранее. Это касается и его романов. Содержание «Пламени» — деятельность нечаевцев, затем Парижская коммуна и «Народная воля». «Один среди людей» — это картина 1830–1848 гг. в Польше и Пруссии, причем показаны круги левых гегельянцев в Берлине. Незаконченная «Книга о старой женщине» предвещала поразительный роман о «процессе реабилитации» революционера (1905 года), убитого своей партией. Давая своим очеркам о французских, английских и русских писателях подзаголовки «Исследования романтического перелома европейской

культуры», Бжозовский понимал этот кризис широко: по его мнению, он продолжался без перерыва, постоянно принимая новые формы.

Бурная эпоха, увлекавшая Бжозовского и понимаемая им как непрерывность, как целое, открытое в будущее, вскоре после его смерти стала еще более бурной. Нас отделяют от него Первая мировая война, русская революция, Вторая мировая война и еще трудное для полной оценки, ибо лишь начинающееся, явление «обобществления человечества» в планетарном масштабе. Опыт формирует язык, и многие чаяния, позиции, типы мышления получили хотя бы временные и несовершенные названия, на карте истории, находящейся в движении, отмечены точки ориентации. Бжозовский углублялся в пространства, почти никем тогда, и не только в Польше, не исследованные, поэтому ему приходилось самому создавать свой инструмент, свою терминологию. Сегодня мы сказали бы, что он производил «экзистенциальный анализ исторических структур», что всё у него вращается вокруг «проблемы отчуждения», — но он не давал таких определений. При этом его отчаянные метания иногда производят впечатление усилий добиться, чтобы его услышали глухие. Глухота его читателей состояла в полной неосвоенности с диалектическим мышлением, в требовании, чтобы было «или да, или нет», а уж по крайней мере — чтобы, рассматривая какое-то течение мысли или какое-то произведение, находить в нем «хорошие и плохие стороны».

Отсюда — оштолбенение, когда Бжозовский одним духом выговаривал «да» и «нет» (всё его отношение к романтизму), отсюда — крики, что он неустанно сам себе противоречит. Несомненно, сегодня мы читаем Бжозовского иначе, нежели его современники, и это не наша заслуга, а результат коллективного опыта, способного растопить воск в ушах у многих. Мы менее склонны ловить его на слове, и его нелегкая, протеичная мысль является нам в развитии, в постоянном преодолении самой себя, в постоянном исправлении собственных ошибок, однако при ясно указанном направлении.

Как оставаться писателем, не принятым теми, ради кого трагились все силы в уверенности, что совершаешь перестройку сознания — их или их сыновей? Почему столь многие черпали и черпают полными горстями из наследия Бжозовского, но как бы украдкой, не признаваясь в этом публично? Почему такая плата

за любовь? Как оставаться un écrivain maudit? Быть может, пришло время попытаться дать ответы на эти вопросы, пользуясь возможностями, которые дает перспектива времени, сгущенного историческими событиями. Да послужит это вместо венка на кладбище Треспиано, которого в это 50-летие со дня его кончины не возложит никакая делегация польских литераторов.

Умственное освобождение равнялось для Бжозовского, гимназиста в Немирове, протесту против родимого окружения, то есть против Польши сентиментальных нравов, католической церкви, культа национального мученичества, ритуального обжорства по праздникам и программного антиинтеллектуализма. Быть человеком — или быть поляком, в котором человек — самой своей принадлежностью к национальной группе и повиновением ее заповедям — уменьшен? Этот вопрос Бжозовский, видимо, пережил остро, если в двух его романах герой обретает внутреннюю свободу, лишь поправ национальный запрет. В «Пламени» Михал Канёвский рвет со своей помещичьей семьей и приносит позор ей на голову, становясь русским революционером и нигилистом: он вступает в группу Нечаева, а затем, уже народовольцем, принимает участие в подготовке покушения на жизнь Александра II. В Сибири он встречает польских ссыльных — участников восстания 1863 года, — и те не могут простить ему, что он в своей революционной деятельности идет вместе с русскими: для них Россия — это дикая страна, разъединенная взяточничеством и сифилисом, колосс на глиняных ногах. В романе «Один среди людей» шестнадцатилетний Роман Олуцкий дополняет свое освобождение от нравов и верований своей среды, нарушая морально-политическое табу, почти равное тому, которое в штате Миссисипи защищает белую женщину от половых отношений с негром: он облегчает барышне из хорошей польской семьи побег с русским офицером. Ни один писатель в Польше, притом по сей день, не осмелился обратиться к этой стыдливой сфере, сформированной коллективным подсознанием, к содержанию правила, согласно которому вхождение в «русский мир», согласие на этот мир тождественно нравственному падению, вечной утрате души*.

* Тувима в «Цветах Польши» это искушало.

В политике — да, при жизни Бжозовского левых раздирали спор между социалистами и социал-демократами, позднее ставший спором между социалистами и коммунистами: независимость и социализм или революция, которая разрешит национальные конфликты как бы автоматически. Однако в литературе не нашлось аналога этому спору на другом, более глубоком уровне, то есть не было изучено, откуда на самом деле бралась нечистая совесть, которую легко заметить у всех отщепенцев, готовых во имя принципов признать «русский мир» своим. Только Бжозовский показывал польско-русский узел трагически, то есть наделяя аргументы и позиции равным весом и равной эмоциональной напряженностью.

Значение Бжозовского в польской литературе нельзя оценить надлежащим образом, если фон, на котором мы его рассматриваем, слишком узок — например, замкнут в границах недолгой стадии «Молодой Польши». Подвергая ревизии весь XIX век, извлекая прежде всего проблемы первой его половины, нерешенные и отложенные или заслоненные, Бжозовский стал как бы реваншем, поспешным, иногда неловким, за всё то, что ни уст, ни перьев до тех пор не знало. В то же время его посмертная судьба позволяет вникнуть в исторические обстоятельства, которые и по сей день не вполне стали прошлым.

БЕСЫ

Всё в будущем столетии.

*Из заметок Достоевского**

Остановил меня на кампусе студент и сказал, что год назад слушал мой курс о Достоевском и что чтение «Бесов» переменяло его жизнь, «потому что это так, словно Достоевский описал сегодняшнюю Америку». В результате этого студент бросил занятия биологией и начал изучать общественные науки. Несколько дней спустя я снова увидел его на кампусе: он раздавал листовки американской компартии.

Каким образом «Бесы», роман, где Достоевский отчаянно пытается предостеречь Россию от революции, может убедить кого-то в благодеяниях революции? Дрожь за судьбу России, от которой, по мнению писателя, зависели судьбы мира, была настоящим, самым сильным стимулом его писательства. Западная Европа, по его мнению, была осуждена на коммунизм, логически вытекающий из атеистических посылок, а они в свою очередь вытекали из посылок науки, какой она возникла в орбите западного христианства. Этими идеями заразилась русская интеллигенция, и не от нее ждал Достоевский спасения России, но от крестьянских масс, верных православию. А что бы он сказал сегодня, если бы ему дано было своими глазами видеть и исполнение его наигорших опасений, и исполнение, можно сказать, навыворот, в результате чего его мессианская вера уже лишь удивляет мощью иллюзий?

* Неизданный Достоевский. М., 1972.

Я, кажется, сумел бы восстановить ход мыслей этого студента. Если «Бесы» так верно описывают деятельность революционных групп в Америке, хотя дело происходит в России на сто лет раньше, если предостережение Достоевского оказалось пророческим, потому что группа Нечаева, которая послужила ему образцом, самым своим существованием предвещает другую, более серьезную революционную организацию, это значит, что и в Америке ход вещей сложится точно так же. То есть, если ты не сторонник левых, надо оценивать деятельность левых групп типа анархистских как дурацкую, на уровне шутовства Петра Верховенского, и следует сразу делать ставку на движение, за которым будущее, централистически и иерархически организованное, опирающееся на марксизм (о котором, готов спорить, этот студент не имеет понятия: детская наивность американцев в том, что касается какой бы то ни было философии, общеизвестна).

Иначе говоря, студент получил от «Бесов» откровение: о том, что история нашей планеты составляет единство, развивающееся «закономерно», по определенным «законам», а значит, происшествия в провинциальном российском городе не следует рассматривать как экзотический подход, возможный лишь среди славян с непонятно запутанной психикой. Наоборот, революционные явления на всём земном шаре идут примерно одним и тем же ходом, а русская интеллигенция в этом обогнала остальное человечество. Таким образом, студент испытал, как я назвал бы, «гегелевский укус», что сегодня возможно, если даже не читать никаких философов.

Специфика рассуждения о законах развития состоит в том, что ум ведет себя, как заяц, попавший под автомобильные фары: он может бежать только вперед, то есть если бы не свет от фар, шоссе осталось бы малой частью пространства полей и лесов, но только шоссе и видно, полей и лесов, которые совсем рядом, не видать. Это, конечно, не значит, что попасть на ровное шоссе — то же самое, что принять тоталитарные верования. Многие противники тоталитарной организации общества, особенно если их взрастила восточная система, рассуждают схоже, только наоборот: американский сорт «бесов», хотя они действуют в контексте иного общества, нежели русское общество прошлого века, кажется им зловещим предвестием того же самого, что случилось

в России, литература, искусство, нравы всего Запада как будто повторяют декадентство, характеризующее несколько последних десятков лет царской России, и т.п. Каждый, впрочем, может на себе самом проверить силу таких обобщений, которые лишь после более длительных размышлений обнаруживают свой подозрительно логический и как раз поэтому в высшей степени алогичный характер.

Так называемые законы развития — вопрос слишком сложный и таинственный, чтобы ими чересчур заниматься, не боясь впасть в одержимость. А если кто-нибудь избегает определенных сфер ради сохранения здоровья — очень хорошо. Потому же, наверное, имея возможность стать профессором общественных наук, на что мне давал право мой диплом, я предпочел остаться профессором литературы. Однако давным-давно, 25 лет назад, я написал книгу «Порабощенный ум»*, в которой старался представить случаи «гегелевского укуса», по сути не отличавшиеся от случая моего американского студента.

За эту книгу мне многое пришлось вынести, притом от ее польских читателей. Некоторые заядло травили меня, используя средства достойные и недостойные, в уверенности, что уничтожить такого опасного типа — это вершина их призвания, может, даже призвание всей их жизни. Книга, по их мнению, доказывала, что ее написал коммунист, и любое *oratio obliqua* вкладывали в уста самого автора. Другие, не заходя так далеко, считали, что все мои рассуждения о причинах, по которым мыслителей XX века влечет марксизм, — чистая фантазия, что в Польше не какие-то там философии несли ответственность, а один только обычный страх, и что я наврал, для того чтобы оправдать себя и своих коллег.

Прошло много лет, и, быть может, в Польше, где исчезла магия «исторической необходимости», уже трудно воспроизвести описанные в книге обряды, зато «порабощение ума» стало заурядным в западных странах. Я не возвращался бы к этой теме, если бы не то, что как раз тогда, когда тот студент рассказал мне о выводах,

* В русском переводе (СПб: Алетейя, 2003 [2-е изд. М.: Летний сад, 2011]) она названа «Порабощенный разум», что не совсем точно. — НГ

которые он извлек из чтения Достоевского, я получил новый номер «Культуры», где Густав Герлинг-Грудзинский еще раз повторяет то, что я так хорошо знаю из прошлого: что «Порабощенный ум» — «отлично написанная книга, но ошибочная, „выдуманная за письменным столом“».

Я в «Порабощенный ум» давно не заглядывал и очень хотел бы знать, как же это обстоит на самом деле. Может, наконец, раз уж по поводу этого сочиненьица пролито столько чернил, я что-нибудь теперь узнаю? К сожалению, одной фразой ничего тут не объяснить. То, что сказал Грудзинский, напоминает речь на похоронах: «Покойник, правда, был конокрад, но какие изысканные были у него манеры». Ибо «отлично написанных» книг множество, но честных книг мало, а честность в писательстве — это уважение как к действительности, так и к своим взглядам. «Порабощенный ум» не был книгой, «выдуманной за письменным столом», — правильной будет сказать, что он писался живою кровью, и это наверное чувствуется. Это еще не доказательство правдивости заключенных в нем тезисов, потому что пишущий может ошибаться, обманывая нередко и самого себя, и других. Такую возможность следует беспристрастно изучить.

Темой книги был (используя прошедшее время, так как большинство сегодняшних читателей «Культуры» книгу уже не знает) «гегелевский укус», которому в нашем столетии подвергаются людские умы, как только приподнимутся над уровнем благословенной наивности. Интересы Герлинга-Грудзинского чисто моралистические, поэтому, видя, что толпы т.н. интеллектуалов (а в действительности модерновых полуинтеллигентов) в разных западных странах льнут к марксизму, он, кажется, объясняет это их глупостью и гнусностью. Разница между нами состоит в том, что как прежде, так и теперь я приписываю это действию причин куда более глубоких, соглашаясь с Достоевским, который в тех же «Бесах» показывает своеобразный рост растения из зерна — то есть из поколения в поколение — от мглисто-романтической риторики старого Верховенского, через демонические противоречия Ставрогина и до разгулявшейся силы «бесов», кончая же пророчеством, в котором злоеющее завтра как будто символизируют фигуры теоретика рабства Шигалева и молодого послушного офицера-исполнителя по фамилии Эркель.

«Всё это, простите, только со страху». Несомненно, что в Польше 1951 года страх был вездесущ и что он диктовал мелодию. Но «Порабощенный ум» был задуман как книга не только о Польше. К тому же страх, заключенный в самом слове «порабощение» — не простое понятие и охватывает куда больше, чем один только страх за свою шкуру. Чего же боялся, например, Владислав Броневский, отважный из отважных? Боялся одиночества, нуждался в постоянных похвалах и аплодисментах, в прикованных к нему очах зала, чёрту душу продавал, чтобы это получать. Но Броневский раньше, в молодости, испытал «гегелевский укус», когда в 1920 году, будучи солдатом Пилсудского, нашел в трофейных советских обозах сочинения Ленина, и «историческая необходимость» значила для него то же самое, что и для стольких западных писателей, знающих главный вид страха: как бы не навлечь на себя неудовольствие богини-Истории (наш век — это век мифологических фигур, и в большей степени, чем тогда, когда говорили о Марсе и Фортуне), ибо, только получив ее расположение, «останешься в литературе».

Меня эти aberrации не волнуют, но 25 лет тому назад мне нужно было выбросить их из организма. Что меня зато волнует, так это так называемое научное мировоззрение, навязывающее картину мира как «процесса», как «эволюции» и влияние этого мировоззрения на умы в тот момент, когда рвутся остатки традиционных связей, а каждый житель планеты получает учебники, пропагандирующие это мировоззрение. Может быть, не случайно молодой человек, о котором я рассказывал, был студентом-биологом.

Встает вопрос, не слишком ли пессимистичен задуманный как экзорцизм роман Достоевского, раскрывая демоническую закономерность и даже неизбежность перемен, каким подвергалась русская интеллигенция прошлого века? Иначе говоря: так ли уж ошибался студент, прочитывая в нем урок «хода вещей», «процесса»? И встает другой вопрос: а я-то сам, устанавливая связь между влиянием науки на воображение и тяготением к марксизму, — не оказываюсь ли я примером «гегелевского укуса», ибо тоже ведь раскрываю какую-то «закономерность»? Это крайне запутано, и, вместо того чтобы углубляться в чащу, я предпочитаю констатировать, что юноша-тяжелодум легко перепрыгнул через всё, что

у Достоевского составляет самое настоящее содержание: огромное знание о могуществе зла. Зато если сегодня едва-едва образованный ум хватается за марксизм как за первую доступную ему очевидность, то надо помнить, что сегодня на разных уровнях существуют картины мира, принадлежащие XVIII, XIX и XX векам и совсем не тождественные. Мой студент живет в рамках передовой технологии, но его историческое воображение не вышло за пределы XIX, а может быть, и XVIII века.

1976

ДОСТОЕВСКИЙ И МИЦКЕВИЧ

Произведение — не одежда, в которой выступает т.н. философия автора; оно даже не кокон формы, ткущийся, чтобы в нем поселилось содержание. Произведения Мицкевича и его философия пребывают в двух разных измерениях, и критика его взглядов не способна повредить его творчеству. Так же точно не умаляет Достоевского тот, кто негативно оценивает его особое национальное собрание принципов, которые он выражал в публицистике, ибо Достоевский-прозаик — это кто-то другой.

Кто-то другой? Не совсем. Между творчеством и убеждениями автора существует связь, загадочная, весьма сложная, и поэтому его убеждениями надо заниматься — в надежде, что это поможет нам лучше охватить его творчество. Здесь навязывается метафора, почерпнутая из явлений природы. Глядя на снежный горный ландшафт, на лыжников, на детей, лепящих снежную бабу, на сияющие от солнца сосульки под застрехами, мы можем сказать, что эти виды зимы — не что иное, как вода в ее определенном состоянии, что в конце концов это только вопрос температуры. Что будет и верно, и ошибочно. Метафора, впрочем, промахивается в том, что мировоззрение (неловкое слово) не обязательно принимает в произведении новую форму — бывает, что слово берут иные слои сознания, так что знаки оказываются передвинутыми и автор пишет против того, что «на каждый день» считает своими принципами. Так или иначе, а мировоззрения не обойдешь, хотя те, кто изучал Мицкевича, умели ускользать, используя слово «мистика», в польском языке имеющее отрицательный оттенок, раз оно значит то же, что «безжизненность». Такое употребление доказывает либо чрезмерную трезвость, либо попросту лень, ибо предполагает, что в области «мистики» человек

только измучится, стараясь что-то понять, и ничего не поймет — значит, лучше заранее это отбросить.

Имя Достоевского часто возвращается под моим пером, потому что жизнь коротка и меня всё меньше притягивает слишком литературная литература. Решающее в вопросе о нелитературности литературы — жанровый вес философии данного писателя, т.е. страсть, с которой он относится к «последним вещам», что создает огромное напряжение между мыслью и произведениями. Нескольких имен на мои нужды хватит на всю историю европейской словесности с того момента, когда ум оказался в краю отчуждения, в Ульро Блейка, в краю, где человек превращается в легкоменяемую цифру и, хуже того, для себя самого, в своем сознании, перестает быть чем-то большим, нежели меняемая цифра. Блейк и, по крайней мере частично, Гёте отважно вели бои, выбирая тактику наступления, а не обороны. Мицкевича до какого-то времени берегла его провинция, Литва-Муза. Вопреки видимости, а также вопреки сознательным замыслам автора, «Пан Тадеуш» — поэма насквозь метафизическая, то есть ее предмет составляет редко замечаемая в повседневно окружающей нас действительности гармония существования как образ (или отражение в зеркале) чистого Бытия. Тут лежит секрет «последнего эпоса в европейской литературе», ибо не одни лишь патриархальные общественные отношения позволили ему возникнуть. «Пана Тадеуша» мог написать только поэт, который — и когда, в 1849 году! — сказал Северину Гоцинскому: «Календарь и часослов — самые важные книги для человека», — то есть поэт, в котором глубоко таились навыки, ритуализирующие время: сельскохозяйственный год, литургический год. И в конечном счете только время, упорядоченное обрядами, а не механически по часам, позволяет нам действительно верить в существование вещей. Восходы и заходы солнца, обычные дела, такие как приготовление кофе или сбор грибов, — это и то, за что их принимает читатель, и поверхность, под которой кроется великое приятие, то, что одушевляет и поддерживает описание. Таковы картины некоторых голландских художников, ибо дело там не в верности деталям, ни даже в цветовой гармонии. «Символизм» как конкретная школа поэзии способствовал фальсификации понятия символа, если бы не то, сказали бы мы, что огурцы и арбузы сада Соплицы отвечают всем условиям, чтобы возвести их

в достоинство символов, то есть вещей, которые остаются собою во всей полноте и в то же время означают что-то иное. Мицкевич, который, завершив «Пана Тадеуша», обещал себе «пера на забавы не употреблять» и считал эту поэму «извращением», наверное с этим не согласился бы — мы, однако, защищая наше истолкование, располагаем по крайней мере двумя обстоятельствами. Во-первых, «Пан Тадеуш» написан в том самом потоке метафизической и религиозной поэзии, что римские стихотворения и «Дзяды. Часть III», сразу после этой последней, и «загадку Мицкевича» было бы воистину не распутать, если бы он поступил, как тот, кто закрывает один кран, а открывает другой, в то время как принятый у художников обычай состоит в послушании тому же самому вдохновению с использованием меняющихся средств и форм. Во-вторых, топтание профессоров полонистики вокруг этой поэмы выглядело довольно жалким в их неумении, и ничуть не удавалось им объяснить, «почему мы должны любить „Пана Тадеуша“», — да и действительно, если остановиться на поверхности, он любви не заслуживает и остается повестью, как у Вальтера Скотта, с довольно глупым развитием действия. А поскольку его скрытый смысл погибает в переводе, иностранцы могут выдвигать справедливую претензию, что восхваляется произведение вовсе не великое. Впрочем, не только иностранцы. Сопротивление польских читателей приземленности этого сочинения вело к поискам «глубин» у Словацкого, Красинского или, как в последнее время, у Норвида, хотя этих поэтов невозможно поставить рядом с Мицкевичем.

Достоевский принадлежит уже к другому историческому периоду, и его главные герои, интеллигенты-резонеры, страдают из-за отсутствия той упорядоченной земли-сада, которая в «Пане Тадеуше» предстает во всей своей красе. Так же, кстати, как их предшественники, пушкинский Онегин и лермонтовский Печорин, они жители Инфернального Города, края отчуждения, и каждый из них постепенно превращается в Spectre, в привидение абстрагированного интеллекта. Человек из подполья, Раскольников, Ипполит Терентьев, Ставрогин, Кириллов, Иван Карамазов — одновременно кровь от крови, плоть от плоти их создателя, и внутренне раздвоенный, разрушаемый изнутри «научным мировоззрением» Достоевский сражается отчаянно, потому-то он пишет нелитературную литературу и, к сожалению, литературу уже по мерке наших блужданий XX века.

В основе «Дзядов» лежит общение живых и мертвых, или заступничество. Мертвые просят помощи у живых (обряд «дзядов»), живые спасают живых молитвой (Ева, ксендз Петр), мертвые защищают живых («Вспомни мать! <...> Как скончалась — не забыла, / За тебя Творца молила, / От беды тебя блюла», пер. В. Левика). Система троична: Небо, Церковь торжествующая, Добро; Ад, осужденные на адские муки, Зло; посередине, в тесном союзе: Чистилище, Церковь страдающая, а также Земля, Церковь воинствующая, Добро и Зло. Между Злом и Добром идет неравный бой, и хотя иногда с помощью добрых духов человек спасется от гибели, но Зло сильно, Добро слабо, хотя в конце концов восторжествует.

Причины почти громоподобного эффекта, который производит чтение «Дзядов» или представление их на сцене, могут быть выслежены лишь путем интроспекции. Ведущая тема здесь — человек перед лицом несчастья, и поэтому следует постараться определить, как мы сами ведем себя перед его лицом. Пожалуй, каждый человек принимает несчастье ошеломленно, как что-то, что никак не могло случиться, а всё-таки случилось. Оно кажется нарушением неписаного договора с существованием. Мы доверяли этому договору, в согласии с которым, хотя люди обычно страдают, нас страдание пощадит. А раз договор нарушен, пусть будет хотя бы высшая инстанция, способная наказать того (кого?), кто договор нарушил, и отсутствие такой инстанции представляется нам чудовищным. Мы кричим — долго ли, это уж зависит от нашего характера, темперамента. Большинство людей испытывает это хотя бы раз в жизни в личном плане, потеряв любимого человека, неизлечимо заболев или провалившись в избранной профессии. Если же — что в нашем столетии нередко — ты видел иноземные танки, въезжающие в улицы родного города, то знаешь и другой род несчастья — публичного. И, в конце концов, все варианты публичного несчастья сводятся к несчастью нашествия, совершившегося или предчувствуемого, извне или изнутри, т.е. покорению безоружных организованной силой. Высшей инстанцией, к которой мы хотели бы обратиться, становится тогда «мир», другие страны, другие народы. Чтобы опыт был полным, те другие станут, откровенно или потихоньку, на сторону победителя, ибо тот, кто проигрывает, дает тем самым доказательство слабости, а значит, не заслуживает сочувствия.

Густав-Конрад познал двойное несчастье, личное и публичное, в результате вторжения извне. В античности завоевания считались обычным следствием военного превосходства, но несмотря на это нам до сих пор, даже сейчас, на склоне жестокого столетия, делается не по себе, когда мы читаем о резне, устраиваемой римлянами везде, где они наталкивались на сопротивление, будь то в Галлии или Палестине. Европа XVIII века успела уже отвыкнуть от завоеваний, и разделы Польши, резня [варшавской] Праги, торговля странами на Венском конгрессе были новинкой, предсказывавшей намного более поздние события.

Если всё, что в «Дзядях» касается ошибки, охватывать названием патриотизма, то становится невозможным анализ некоторых важных составных элементов драмы. По сути отчаяние из-за иноземного нашествия лишь частично питается противопоставлением «свое — чужое». Тот, кто ребенком, читая о благородных краснокожих, лишенных отчизны, сжимал кулаки, знает, что речь тут идет о нарушенной справедливости, которая требует, чтобы преступники были наказаны, и что когда они не только безнаказанны, но как будто действуют согласно законам этой земли, мы воспринимаем это как нравственное бесчестие. По причинам, установить которые трудно, в польской культуре, как ни в какой другой, проявляется оптимистическая вера в порядок дозаконный, божественно установленный, который может быть нарушен, но не надолго. Приведу слова Бжозовского: «Не находим ли мы во всей истории Польши как бы убеждение, что мир лишь мнимо может быть печалью, а по сути дела есть радость, что лишь мнимо он может быть упадком, а по сути есть победа? <...> Сквозь легкомыслие этого народа как будто просвечивают сияющие глубины». Но именно потому, что законы князя тьмы отвергаются, так остро переживается чужое нашествие — буквально как гром с ясного неба и как несчастье нравственного порядка.

Мицкевич, во многом старосветский, бывает и крайне современным. Спор Конрада с Богом включается в известный цикл, начатый французскими философами, которые составляли обвинительный акт, ссылаясь на ответственность Творца за огромные страдания, переносимые смертными. Обычно это относилось к страданиям отдельных личностей, иногда к стихийным бедствиям, обрушивающимся на великое множество людей. Несчастливым

случаем, закрепившимся в философских дебатах, стало страшное лиссабонское землетрясение 1755 года, когда погибли десятки тысяч людей. Конрад выдвигает аргумент иноземных нашествий и целых поработанных народов. Бросать в лицо Богу слова о том, что Он не Отец, а царь, похоже на рефлекс непослушного ребенка или, самое большее, оскорбление монарха. По сути в игре сделана куда большая ставка, и, чтобы в этом убедиться, следует помнить о героях Достоевского, которых мучит тот же вопрос.

Несимпатичный, но гениальный юноша Иван Карамазов — не какой-то там атеист, это для него слишком примитивно. Он попросту отменяет Бога на основе нравственного принципа, ибо порядок Сотворения нравственно неудовлетворителен.

В основе вопроса Ивана Карамазова лежит какая-то ложная русская чувствительность и сентиментальность, ложное сострадание к человеку, доведенное до ненависти к Богу и божественному смыслу мировой жизни. Русские сплошь и рядом бывают нигилистами-бунтарями из ложного морализма. Русский делает историю Богу из-за слезинки ребенка, возвращает билет, отрицает все ценности и святыни, он не выносит страданий, не хочет жертв. Но он же ничего не сделает реально, чтобы слез было меньше, он увеличивает количество пролитых слез, он делает революцию, которая вся основана на неисчислимых слезах и страданиях (Бердяев).

Недаром Иван Карамазов — автор «Легенды о Великом Инквизиторе». С момента, когда Бог «отменен», противопоставление добра и зла, правды и лжи утратило всякое основание и всевластной оказалась Природа, подчиненная своим собственным законам. Иисус отверг три искушения преодолеть эти законы; и вот Великий Инквизитор, который хочет осчастливить человечество («поправляя» Иисуса), решается действовать разумно, то есть в согласии с законами и Природы, и человеческой природы. Однако эти законы находятся в управлении могущественного духа Нечтобытия. И тогда Великий Инквизитор (или сам любящий детей Иван Карамазов) вынужден рассматривать тех, кем он правит, и как детей, и как рабов.

Если бы Конрад назвал Бога царем, то вынужден был бы признать, что Вселенная катится по своему собственному пути, без

всякой опеки Божией, или повторил бы ход мыслей, который позже стал уделом Ивана Карамазова. Значит, ставка — либо Вселенная как абсурд, либо Вселенная как гармония. Конрад, верный польской традиции, особенно противящейся пессимистическим решениям, выберет второе, что возможно лишь благодаря заступничеству, то есть молитве других людей. Почти логическим следствием такого выбора становится следующая поэма Мицкевича — «Пан Тадеуш» — как своеобразная теодицея, или оправдание Творца, ибо Он Творец земли-сада.

Приближаться к Мицкевичу окольным путем, через Достоевского, позволяет забыть о разных школярских банальностях. Кто-то из русских заметил, что чувство всеисия в «Большой импровизации» напоминает предэпилептические состояния, знакомые некоторым героям русского писателя: время тогда останавливается, и эпилептик Магомет в одно из таких мгновений окажется перед престолом Аллаха, прежде чем успеет вылиться вода из перевернутого кувшина. Можно предположить несоразмерность между вершинными секундами, которые переживает Конрад, и его монологом, растягивающимся на много минут. Любопытно, что в своем подъеме Конрад считает себя человекобогом, подобно предэпилептику Кириллову в «Бесах».

«Дзяды» были бы великой христианской драмой, если бы не вкрадывающаяся ересь, та самая, которая наделяет дурными чертами публицистику Достоевского, но не только: она накладывает порчу и на некоторые главы его романов. Состоит она в затирании границ между религией и «национальной идеей». Шатов в «Бесах» заявляет: «Я верую в Россию, я верую в ее православие... Я верую в тело Христово... Я верую, что новое пришествие совершится в России...» — но на вопрос, верует ли он в Бога, отвечает: «Я... я буду веровать в Бога». Только «буду». Тем не менее Шатов у Достоевского спасен на основе довольно натянутого силлогизма: кто любит русский народ, тот обладает добродетелью *caritas*, или тем самым способен любить ближнего и прощать ему вину, как прощает Шатов жене. Близкая логика там и сям проглядывает и в тексте «Дзядов» и кульминирует в Видении ксендза Петра. От несчастья нашествия может легко зайти ум за разум, но, уважая чей-то праведный гнев, мы еще не приобретаем права воздерживаться от критической оценки. Коллективное тело, распятое

на кресте и искупляющее грехи человечества? Кто же это «народа дивный избавитель», «наместник», «народов и царей превыше вознесенный», потому что любил свой народ? Предположим, что замысел Словацкого в Прологе к «Кордиану» был сатирическим. Но он прочитал Видение ксендза Петра, пожалуй, только так, как это навязывается каждому, то есть как травестацию Откровения апостола Иоанна, где сам Мицкевич предстает ни более ни менее как Сын Человеческий, Альфа и Омега, или Логос («Он к небу, к небу возлетел, / От легких стоп его развился / Покров, как снег нагорный, бел — / Ниспал, и мир им облачился»). Иначе говоря, христианская драма, драма победы, превращается в драму поражения: экзорцизмами ксендза Петра дьявол изгнан из Конрада, но оказывается так ловок, что вступает в экзорциста и диктует ему Видение — чего, к сожалению, не сознаёт сам поэт. Конрад хотел быть человекобогом, но при поддержке молитв ближних вовремя отступил. Кто же, однако, спасет самозваного человекобога, пришествие которого пророчит ксендз Петр в своем Видении?

ДОСТОЕВСКИЙ И ЗАПАДНОЕ РЕЛИГИОЗНОЕ ВООБРАЖЕНИЕ*

К съезду славистов в Атланте, где в одной из секций должна была проходить дискуссия о религиозной мысли Достоевского, я приготовил короткий рарег, или тезисы доклада, и теперь мне пришло в голову, что стоит перевести его с английского и включить в то целое, которое я сейчас пишу. При случае объясняю, что намерение мое — подбрасывать всё новые камушки в мозаику, пока, собранные вместе, они не сложатся в рисунок, так что и эта глава найдет свое применение. Недостаток этого текста — множество сжатых ходов мысли, оправданных тем, что он был предназначен для специалистов. Но, может быть, дальше мне удастся то или другое разъяснить.

I.

Религиозная мысль Достоевского относится к ключевому моменту в истории той единственной цивилизации, которой удалось покорить всю планету Землю. Цивилизация эта, первоначально ограниченная малым западноевропейским полушарием, выработала свою философию и науку, подвергая переработке понятия христианского богословия. Начиная с XVIII века, она открыто повернулась против своих христианских истоков.

* Так озаглавлен текст доклада, сделанного Чеславом Милошем на съезде славистов и включенного им в книгу «Земля Ульро». Поскольку дальнейшие рассуждения Милоша о Достоевском, входящие в ту же книгу, непосредственно примыкают к теме доклада, мы переводим всё под этим единым заглавием.

II.

Россию XIX века нельзя считать интегральной частью этой цивилизации, но русская литература, создание образованного слоя, была мутацией западной литературы. Ни один французский, английский или немецкий романист не совершил того, что Достоевский, использовавший форму романа для показа фундаментальной антиномии современного человека. В связи с этим встает вопрос о культурной роли центра и периферии.

III.

Ввиду особой социальной структуры русская интеллигенция внезапно, в течение нескольких десятилетий, усвоила идеи, которые на Западе созревали медленно, в ходе не менее двух веков. Подобно тому, как в случае некоторых болезней, не страшных для туземцев, но смертельных, когда ими заразятся пришельцы, дилемма: либо философия и наука, либо религия — приобрела в российских умах чрезвычайную болезненность. Так что, если необычайную смелость Ницше можно хотя бы частично объяснять его изоляцией и последствиями неизлечимых физических страданий, отвага Достоевского скорее соответствует определенной культурной модели. Наличие православных крестьянских масс вводит в эту модель многочисленные осложнения.

IV.

Удивительно сегодня, почти через сто лет после смерти Достоевского, читать, как заново формулирует его центральную проблему нобелевский лауреат генетик Жак Моно, лишенный каких бы то ни было религиозных склонностей. В «*Le Hasard et la Nécessité*» он говорит: «Ни одно общество не было раздираемо столь удручающими противоречиями, как наше. Как в примитивных, так и в классических культурах науку и ценности выводили из одного и того же истока, из анимистической традиции». И далее: «Как первоначальный „выбор“ в биологической эволюции вида может стать решающим для всего его будущего, так и выбор научной практики, выбор первоначально бессознательный, направил эволюцию культуры на один путь — на путь, который, по мнению сциентизма XIX века, должен был безошибочно вести вверх, к зениту, к звездному часу человечества,

в то время как мы видим перед собой лишь разверзающуюся бездну мрака».

V.

Достоевский записывал в 1875 году: «Наука в нашем веке опровергает всё в прежнем воззрении. Всякое твое желание, всякий твой грех произошел от естественности твоих неудовлетворенных потребностей, стало быть их надо удовлетворить. Радикальное опровержение христианства и его нравственности. Христос де не знал науки»* (Неизданный Достоевский. М., 1971, с. 446). Ранее, в своем знаменитом письме к Фонвизинной (1854), Достоевский говорит, что если бы он был должен выбирать между Христом и истиной, то выбрал бы Христа. Фраза, полная отчаяния и далеко идущих последствий. Я выдвигаю тезис о том, что религиозная мысль Достоевского сгущает, конденсирует принципиальные западные противоречия XVII–XVIII веков. В эту эпоху наступление на религию во имя так называемой объективной истины приобрело на Западе три основные формы: отвержение первородного греха; отвержение Боговоплощения; переработка христианской эсхатологии в светскую. Западные защитники христианской религии, которые старались отразить это наступление, использовали тактику, подобную той, какую позднее применял Достоевский.

VI.

Чтобы избавиться от понятия первородного греха, подчеркивали добрую и разумную природу человека. Защитники христианства, наоборот, говорили о полном убожестве человека и отождествляли грехопадение с победой себялюбия, этой причины бесчисленных человеческих несчастий. В этом направлении шел Блез Паскаль (*le moi est haïssable*). В том же направлении шли два великих визионера XVIII века: Эммануэль Сведенборг и Вильям Блейк. Причины космического зла Сведенборг усматривал в человеческом *proprium*; Блейк считал Вселенную, как ее себе

* Мы воспроизводим здесь точную цитату из Достоевского. Но — важно отметить — Милош переводит на польский последнюю фразу как «Христос не знал науки», без значащего «де».

представляют люди, результатом грехопадения и приписывал эгоизму личности «спектральные» черты. «Записки из подполья» Достоевского — продолжение и кульминационная точка тех же рассуждений.

VII.

Вочеловечение Бога можно выразить только в языке символов и мифов. Когда привыкаешь пользоваться языком, якобы апеллирующим к действительности, Боговоплощение становится совершенно непонятным. Более того, образ бесчисленных планет, кружащихся в абсолютном ньютоновом пространстве, трудно согласовывался с верой в особые привилегии, которыми Бог наделил Землю. В то время как деисты превращали Бога Отца в абстракцию, «разумно» толкуемое христианство делало из Иисуса Христа оратора, произносившего возвышенные проповеди, и, в лучшем случае, нравственный идеал. Потому-то и вера христиан, всегда весьма антропоцентрическая, искала нового видения, противопоставленного атеистической идее человекобога, который должен был стать своим собственным искупителем. В XVIII веке некоторым приходит в голову необычайная идея, родственная, быть может, идее Адама Кадмона, извечного, докосмического человека каббалистов. По Сведенборгу, Бог в Небесах обладает человеческим естеством, следовательно, человеческое естество Христа — совершенное исполнение Божественного. «Человеческая Божественная Форма» и Богочеловек как единственный Бог были заимствованы у Сведенборга Блейком. Эти два основных понятия: Божественного Человеческого и Человеческого Божественного — со временем так сблизились, что ныне некоторые исследователи ошибочно рассматривают Блейка как нечто вроде поэтического Гегеля.

Достоевский был, позволю себе так выразиться, лишен Бога Отца, и единственной его надеждой было держаться Христа. Противоположность человекобога и Богочеловека отчетливо вырисовывается в его творчестве и знаменательна для его биографии. Принадлежа к кружку петрашевцев, он верил в человекобога, позже — поверил в Богочеловека. Однако он никогда не сумел преодолеть противоречия, содержащегося в его высказывании о выборе между Христом и истиной.

VIII.

Идея трех фаз в истории человечества: до грехопадения, после грехопадения и, наконец, возвращенной гармонии в Царстве Божьем — была заимствована из Библии светскими философами XVIII века и превращена в идею имманентного прогресса. Число три было сохранено. Этот динамизм в свою очередь способствовал жажде всё новых версий христианской историософии. В конце XVIII и в первой половине XIX века появляются многочисленные доктрины, гласящие Страшный Суд и скорое пришествие третьей эры, эры Духа. Достоевский тоже верил в три фазы («Неизданный Достоевский»): до цивилизации; цивилизация, то есть переходная стадия; после цивилизации, осуществленная гармония. Ближайшее будущее его ужасало. Мы должны отнестись серьезно к нему, пишущему в свою записную книжку: «Всё в будущем столетии». Мы должны также серьезно отнестись к свидетельству О.Починковской, которая работала с ним в редакции «Гражданина» в 1873 году: «Он стукнул рукой по столу, так что я вздрогнула, и, возвысив голос, прокричал, как мулла на своем минарете: — Идет к нам антихрист! Идет! И конец миру близко, — ближе, чем думают!»

IX.

Почему, как сообщает Надежда Мандельштам во «Второй книге», Анна Ахматова называла Достоевского «ересиархом»? Причиной его ереси были как любовь к России, так и тревога за будущее христианства. Если образованные русские сжали несколько веков западной интеллектуальной эволюции в несколько десятилетий, то они еще, пожалуй, и обогнали Запад и устами Достоевского поставили человечество перед дилеммой, которую Западу предстояло открыть намного позже. Дилемма эта была такова: либо социальная справедливость ценой террора, лжи и рабства, либо невыносимая свобода, невыносимая, ибо ее требует отсутствующий Бог и невмешивающийся Христос, как в «Легенде о Великом Инквизиторе». Достоевский был убежден, что вся западная цивилизация выберет веру в человека-самоискупителя и таким образом кончит рабством. Не называл ли он Папу Римского вождем коммунизма? В то же время, однако, он наблюдал, как русская европеизированная интеллигенция отвергает христианство.

Припертый к стенке, он искал выхода из положения, которое сам оценивал как безвыходное. Он позволил своей эсхатологической страсти увлечь себя и признал русских мужиков-христиан единственной надеждой человечества. Его ересь, ересь о русском Христе, означала, что, устояв перед другими искушениями облегчить себе проблемы, он не смог устоять перед искушением мессиански-националистическим.

Х.

Мы не можем сегодня рассматривать религиозную мысль Достоевского как всего лишь достойный почтения памятник прошлого. Ее осовременивают опасные последствия антиномии между наукой и миром ценностей. Многие из того, что в его время считали объективной научной истиной, обнаружило свои скрытые метафизические посылки, и наша цивилизация, кажется, стоит перед выбором не между верой и разумом, но между двумя комплексами ценностей, вне зависимости от того, выступают они замаскированными или нет. Возможно, биологи, такие как Жак Моно, заходят слишком далеко, выражая допущение, что «анимистическая традиция» вписана в генетический код нашего вида. Но, даже если забыть о генетике, история XX века, пожалуй, подтверждает правоту уравнения, вложенного Достоевским в «Легенду о Великом Инквизиторе». Печальное уравнение сводится к следующему: люди могут прилагать невесть какие усилия, но вынуждены делать выбор — а выбора почти нет.

*

Приведенный текст очень сжат, и почти каждая его фраза, собственно, требовала бы комментария. Ограничусь несколькими замечаниями. Цитируя Жака Моно, который получил Нобелевскую премию за открытие ДНК, я не хотел бы создать впечатление, что мои познания простираются на т.н. молекулярный онтогенез и тому подобные дисциплины. Я цитирую его, ибо редко встретишь ум ученого, столь радикальный в отвержении всего, что не находит научного обоснования. Под «анимизмом» Моно понимает отражение наших человеческих потребностей гармонии и цели (результата деятельности нашей нервной системы), отбрасываемое нами на природу, где господствуют

исключительно случай и необходимость, — в силу чего мы оказываемся жертвами «антропоцентрической иллюзии». В «анимистическую традицию» он зачисляет все религии, а также системы, основанные на «провиденческой» эволюции, — такие как диалектический материализм или теория Тейяра де Шардена. Последовательный материалист, принадлежащий к той линии, с которой сражался Достоевский, Моно в последней главе выше-названной книги уходит в моралистику ученого, в высшей степени себе противореча или же просто невольно подтверждая свой тезис о том, что потребность оценки вписана в генетический код. Однако это уже не относится к моей теме.

Достоевский, принужденный выбрать между Христом и истиной? Весьма необычно, весьма ново и совсем не то, что старый, многовековой спор между верой и разумом. Те, кто наделял разума дьявольскими чертами, выбирали веру, ибо в ней покоится истина («Я есмь путь и истина и жизнь», Ин 14,6). Другие (Симона Вейль, например) — и вкладом их не следует пренебрегать — возражали против того, что якобы может возникнуть конфликт между верой в Христа и результатами исканий разума (если разум абсолютно честен, то есть любит истину). У Достоевского «истина», против которой он защищается, значит то же, что научная истина у Моно: какая бы то ни было «снисходительность» вселенной, будь то сегодня или завтра, признана иллюзией, и человек одинок, с нуждами своего сердца, кричащего «нет», брошен в равнодушную машину, подобно паровому катку проезжающую по всему, что живо. Сравнение Природы с машиной, частое у Достоевского, соответствует образу биологических организмов как живых машин у Моно. Это машины, способные реагировать благодаря записи в генах. Достоевского ужаснула картина Гольбейна, которую он видел в Базеле, ибо художник изобразил Христа в гробу как *cadaver*. Два интеллектуальных глашатая Достоевского, Ипполит в «Идиоте» и Кириллов в «Бесах», навязчиво говорят об этой победе Природы над лучшим существом, родившимся на Земле: если такой человек лишь заблуждался, обещая воскреснуть из мертвых, то мир — «дьявольский водевиль», и никаких ценностей не существует.

Я говорю о «Записках из подполья» и «Легенде о Великом Инквизиторе», ибо они — квинтэссенция мысли Достоевского и одно из величайших философских произведений всех времен.

Рассказчик «Записок из подполья» хочет швырнуть в лицо людям истину, которая характерна тем, что и математически верна (дважды два четыре), и отвратительна. Его издевательства над общественниками (над Чернышевским), убежденными, что, апеллируя к хорошо понятой выгоде людей, удастся воздвигнуть «хрустальный дворец», напоминают насмешки Моно, ста годами поздней во имя данных биологии измывающегося над якобы заведомо уготованной прекрасной судьбой рода человеческого. Ибо у Достоевского воля каждой личности (себялюбие) и самоволие — сила разрушительная, любующаяся своей жестокостью по отношению к другим. В то же время личность хочет быть, однако с момента, когда она примирится с истиной, то есть скажет, что делать нечего, трудно, дважды два четыре, — должна признать, что ее самой нет. Вот болезнь раздвоенного сознания: «Я мыслю — следовательно, я существую» превращается в «я мыслю (объективный разум мыслит?) — следовательно, я не существую», то есть я отдаю себе отчет в том, что я — статистическое, заменимое число. Потому-то рассказчик кричит «нет» миропо-порядку, но, поскольку ничего этому порядку он не может противопоставить, «Записки» целиком остаются на стороне «истины». Цензура вычеркнула главу, где Достоевский пытался создать ей «противовес». Что там было, мы не знаем, кроме того, что автор высказывался как христианин. В книжном издании он этого не восстановил, и глава затерялась.

«Записки» нагружены проблематикой, и, вводя один главный смысловой стержень, легко натолкнуться на упрек в произвольности. Однако такой подход допустим, ибо речь идет действительно о главном стержне. Подобным же образом и «Легенда о Великом Инквизиторе» может быть сведена к вопросу, кто был прав: искушаемый в пустыне Христос или искушитель? Легенда, поэма Ивана Карамазова (следует помнить об этом ее месте в структуре «Братьев Карамазовых»), отвечает на этот вопрос: прав был искушитель, Князь Мира Сего, Дух Земли. Заметим, что для Ивана Провидение и Царствование Бога Отца не существуют, раз Природа, машина, управляемая собственными принципами необходимости, нравственно неприемлема. Следовательно, изменение естественного хода вещей могло бы идти только от Христа, если Он был Сыном Божьим. Но Он не хотел превратить камни в хлеб, чем

символически отдал заботу о хлебе для голодных земным властителям. Не хотел подтвердить свой Божественный авторитет, бросившись в бездну, то есть ниспровергнув очевидность того, что, будь Он человеком, разбился бы. Наконец, Он отверг власть над земными царствами, которую, конечно, сумел бы использовать на благо людей. В поэме Ивана есть старые манихейские элементы: Бог Отец обвиняется в страданиях живой материи, и потому Его бытие или небытие становится безразличным, раз Он — нечто вроде низшего демиурга. Остается Бог Света, ходящий по земле, — однако и Он, к сожалению, отказывается взять в свои руки скипетр. Таким образом, Великий Инквизитор прав, организовав общество детей, которым надо лгать (это сон Ивана, русского интеллигента, о себе-диктаторе). У Великого Инквизитора есть своя тайна и свое скрытое страдание: вот он сознательно, из жалости к людям, выбрал сотрудничество с дьяволом, ибо «объективная» истина на стороне зла.

Почему «объективная» истина, истина науки, то есть, согласно Моно и его предшественникам, единственная, приобретает у Достоевского дьявольские черты? Человек из подполья показывает язык прекрасной очевидности ученых и, хоть знает, что дважды два четыре, говорит: а я не хочу. Ибо действительность, являющаяся человеку как жесткая необходимость, если судить ее человеческими критериями — неприемлема. Всё бунтует в нас против бренности как боли и против смерти. Представляя себя как циника и эгоиста, человек из подполья — таковой не более, чем сочувствующий детским страданиям Иван Карамазов, и его протест против «дважды два четыре» означает то же, что знаменитая фраза Ивана о том, что он «возвращает билет на вход». При этом всё равно непохоже, чтобы нашлось много решений, когда мы перестаем считать вселенную творением доброго Бога. Либо сидишь в подполье и кусаешь локти, либо решаешь хорошо организовать общество и становишься Великим Инквизитором.

Не я один считаю, что Достоевскому в «Братьях Карамазовых» не слишком удалось создать противовес рассуждениям Ивана, хоть он и старался. Такого мнения, например, Лев Шестов, выдающийся мыслитель, и в моей интерпретации я много беру у Шестова. Мне кажется, что в этом последнем большом романе, который, правда, всего лишь первый том, Достоевскому многое портит его

религиозно-политическая ересь. Как обычно у славян, всё кончается мессианизмом, то есть коллективным спасителем, словно не мессианисты послали на смерть Иисуса Христа («...лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб», Ин 11,50).

Западная религиозная мысль XVII–XVIII веков. Существенны не воззрения, а образы космоса, которые ставит перед своим взором человек, и поэтому я предпочитаю говорить о религиозном воображении. Участие науки в его формировании было огромным, участие послетридентского католицизма — небольшим, и, вероятно, я справедливо называю среди католиков математика Паскаля. В век Просвещения эта пограничная область, где мерялись силами религиозное и научное воображение, представлена различными вариантами религиозности вне исповеданий, а также «мистическими ложами», возникавшими рядом с вольтерьянскими ложами, — то есть всем тем движением, которое французский исследователь Вьят назвал *les sources occultes du romantisme*. Потому-то имена Сведенборга и Блейка тоже уместны.

Я мог бы, правда, прибавить, что человеческое естество Божества, столь важное для обоих последних, не так уж далеко отходило от традиционных понятий христианства. В Шартре, на скульптуре, изображающей сотворение Адама, у Бога — лицо Христа, и он лепит из глины лицо Адама по своему образу и подобию*.

*

Среди моих студентов не много таких, кто считает себя христианами. Большинство относится к христианству равнодушно, и, читая курс по Достоевскому, я всегда признавал парадокс: некоторые из слушателей впервые на этих лекциях сталкивались с религиозной проблематикой, зато почти все были как та русская интеллигенция, взгляды которой наполняли Достоевского

* В настоящем издании опущены следующие за эти фрагменты из «Земли Ульро», напечатанные при первой публикации и представляющие собой сжатое изложение статьи «Достоевский и Мицкевич» (см. с. 190).

ужасом. Не дело профессора формировать студентов по своему подобию, но, по крайней мере, он обязан ясно указать, в чем состоит острота противостояний и что означает выбор того или другого тезиса, то есть позволить им сделать выбор с сознанием того, что они выбирают. И только раз между ними и мной возник серьезный конфликт, когда я явно высказался за одну сторону и обнаружил перед ними свое убеждение в том, что существует добро и существует зло, — это показалось им суждением непеносимо реакционным. Для них было несомненно, что человеческое поведение зависит исключительно от социальных и психологических детерминант, то есть что все ценности в высшей степени относительны. Точно так же русская интеллигенция переносила ответственность на «среду»: измени общество, изменишь человека, — и как раз это, как раз эта снятая с личности ответственность удручала Достоевского как доказательство дехристианизации русского образованного слоя.

Я не буду заходить с этой аналогией слишком далеко, ибо развитая техника, а также подчинение знания о человеке методам науки, то есть развитие антропологии, социологии, лингвистики и т.д., вводят новые факторы. Это скорей атмосфера терпимости по отношению ко всем культам, взглядам, верованиям — при условии, что они достаточно расплывчаты и синкретичны, так что рядовой ум предается ни к чему не обязывающим мечтаниям вне сферы религиозных или философских понятий, бессознательно перенимая определенные запасы культурного наследия. Так, например, почести, слагаемые «творчеству», — это поздний вариант хвалы искусству для искусства, хотя «творчество» становится скорей выделением для выделения, деятельностью столь соблазнительной, что уже пребывает вне правды и неправды, зла и добра, прекрасного и безобразного, то есть результат творчества более или менее безразличен. Если бы можно было принудить так убегающий от себя ум хотя бы занять сознательную атеистическую позицию, уже и это было бы достижением.

Настоящий атеист, я думаю, птица редкая. Он преследует в себе пережитки давних верований и отбрасывает их один за другим. Явный пережиток — невысказанная вера в благодетельные последствия эволюции в Природе и в продолжающей эту эволюцию истории рода человеческого. Такая вера предполагает

некий договор о перемирии, который, к сожалению, требует двух контрагентов: человечества и провидящей силы. Если после миллиардов лет эволюции человек появился на Земле в силу случайных мутаций, то какое бы то ни было признание добрых намерений за Вселенной должно звучать для него как вариант религиозных представлений. Иначе говоря, между сферой человеческих ценностей и неколебимыми законами Вселенной нет ни малейшей связи, нет и оснований допустить действие тормозов, которые защищают человечество от бесповоротных катастроф и бедствий. Даже столь дорогая ученым страсть к поискам истины совершенно необъяснима и ни на чем не основывается. Подлинный, радикальный атеизм в нашем веке сильно отличается от своих предшественников, и этому в немалой степени содействовала антропология в широком смысле слова, включающая историю религии и искусства. Дело-то в том, что, когда мы достаточно внимательно рассматриваем одиночество человека во Вселенной, его принципиальную «неестественность», прогрессисты-атеисты прошлых веков начинают выглядеть как продолжатели известной религиозной триады: Рай, потерянный Рай, возвращенный Рай — они просто-напросто переносили динамику Священной Истории в историю человеческих обществ. И какое бы то ни было постулирование гармонии человеческой жизни с Природой, космосом или универсальным Разумом стоит не больше веры в русалок и леших, то есть оказывается пережитком «анимистической традиции». Человек одинок — если же на каких-то других планетах есть существа, наделенные разумом, то они появились точно так же, в силу случайности, и точно так же чужды Вселенной. И эта особая отчужденность человека как носителя разума накладывает на нас чрезвычайные обязанности.

Поразмыслим. Самые возвышенные нравственные идеалы, самые совершенные произведения поэзии, живописи, музыки, архитектуры, самые сложные мыслительные конструкции, от религии и философских систем до математических операций, реализованных в технике, — всё это идет только от человека. Так не должен ли он смиренно восторгаться этой своей гениальностью, но восторгаться также и братьями своими, и не только теми, кто в этой гениальности ведет других, но и теми, кто в ней участвует? А ведь он — противоестественное животное, внутренне раздвоенное,

ссорающееся с животным в себе, больное, и болезнь его состоит в том, что он и вправду не может жить без средств, смягчающих само существование, как бы мы эти средства ни называли. Значит, наряду с восхищением он заслуживает огромного сострадания, тем большего, что сострадать ему может только человек.

Настоящий атеист вынужден признать правоту за Достоевским, а не за прогрессивной русской интеллигенцией XIX века. Эта последняя ошибалась, считая, что с ниспровержением царского строя исчезнет гордыня, жадность, жажда власти, ложь, лакейство, жестокость по отношению к ближним или равнодушие к их судьбе. Предостережения трагедий-моралите, главные роли в которых играют добро и зло, будь то «Бесы» или «Братья Карамазовы», оказались диагнозом, который подтвержден временем. Точно так же никакие теории об относительности этических норм ничуть не смогли уменьшить силу воздействия «Дзядов», вытекающую именно из того, что зритель любит добро и ненавидит зло. Пусть добро и зло не имеют никакого метафизического обоснования — тем они дороже, ибо они свойственны исключительно человеку, ибо они — вызов, брошенный античеловеческой пустоте, и потребность их укоренена в человеке. Настоящий атеист, сознающий высоту ставки, не может считать понятия добра и зла «реакционными». Наоборот, он скажет с Гомбровичем: «Не делайте из меня дешевого демона. Я буду на стороне человеческого порядка (и даже на стороне Бога, хотя не верую) до конца моих дней и в самый момент умирания». И вместе с ним определит цель литературы: «...чтобы мог получить слово наш самый простой, самый обычный нравственный рефлекс».

Для настоящего атеиста обязательны правила самой жестокой логики, ибо его ближний не получит никакой посмертной компенсации, а во время своего короткого пребывания на Земле отдан на милость и немилость других людей. Ничто: никакие самые возвышенные лозунги, никакая истина, никакая отдаленная цель — не могут оправдать мук отдельного человека. Потому-то для настоящего атеиста русский коммунизм повинен в преступлениях воистину ужасных: как в физических пытках, которым он подверг миллионы беззащитных человеческих существ, так и в пытках духовных, в число которых входят страх и отречение, под воздействием страха, от обычных нравственных инстинктов и участия в религиозных

обрядов. Именно преследуя религию, которая для атеиста является достойным восхищения созданием человеческого воображения и действенным средством, смягчающим тяготы жизни и смерти, коммунизм проявил себя как античеловеческая система.

Однако настоящих атеистов так мало, что тому должны найтись причины. И они действительно есть. История, лишенная гарантии прогресса, Природа, не несущая в себе ничего похожего на установленную гармонию, не мать, но мачеха, противостоят нашим требованиям (генетическому коду?). Радикальное противостояние человеческого мира всему внечеловеческому постепенно превращается в другое противостояние: человек ощущает, что он окружен не естественными, но злобными силами и законами, и некая дьявольщина начинает просвечивать из-за завесы непреклонного, а в то же время слепого и бессильного порядка.

*

Огромные множества христиан, бия в бубны, вздымая хоругви, под предводительством своих богословов, переходят и будут переходить в лагерь человекобога, не зная или не помня об обратном пути, пройденном некогда Федором Достоевским. Но это еще не означает победы Ульро. Земля — не сладкое место жительства, и нейтральное — ни холодное, ни горячее — приятие сциентистских уравнений наталкивается на помехи, прежде всего из-за одного беспокойного персонажа — Бога. Может быть, теперь уже видно, какие скрытые мотивы склонили меня приготовить курс лекций о манихеизме в то самое время, когда рядом, на так называемом Богословском Холме в Беркли, где находятся богословские академии разных исповеданий, клятвенно заверяли в гениальности Тейяр де Шардена и вообще накачивались социальным энтузиазмом. Это не значит, что я хочу выступать здесь как сторонник манихейства в его формах, известных нам из истории. Я только думаю, что некоторый манихейский элемент нам нужен, да и уклониться от него трудно.

НАД ПЕРЕВОДОМ КНИГИ ИОВА

**Сокращенный текст предисловия «От переводчика»
к польскому изданию Книги Иова
(Ed. du Dialogue, Paris, 1980)**

После долгого общения с Книгой Иова мне казалось, что я сумею написать предисловие-комментарий. И вот я трудился над ним только для того, чтобы отказаться от этой работы, а вместо нее предложить то, что я сейчас пишу. И тема моя — не столько сама Книга Иова, сколько размышления над неприязнью моей к этому предисловию, где вроде бы всё было: и эрудиция, и смысл.

Несомненно, столь загадочная притча о несчастье праведника требует комментария, потому-то о ней и писали — и тростинкой на свитках папируса, и резцом на каменных плитах, и пером на бумаге, — и по сей день пишут. Однако, даже предполагая, что моя цель была прикладной, вряд ли мне удалось многое объяснить читателю. Знать и уметь передать — две разные вещи, ибо у читателя существует порог восприятия, за которым слова перестают действовать. Иными словами, я счел свое эссе умничаньем, пригодным разве что на университетском семинаре, но не там, где в игру входят простейшие вопросы человеческой жизни. А еще я подумал, что вся эта философия была моим побегом в схоластику, лишь бы уклониться от разговора о том, что во встрече с Книгой Иова для меня особенно близко и болезненно.

Итак, несколько персональных данных. Тридцать лет прожив в эмиграции, вдали от мест, где протекли мое детство и молодость, я занялся — в Америке — переводом библейских текстов с древнееврейского на польский. В этом решении многое можно угадать. Прежде всего оно означает трудность отождествления со средой, в которой я оказался, — ту же самую строптивость,

которая уже втягивала меня в разные другие приключения. В конце-то концов, я в Америке был не только профессором славянских литератур. На мои стихи, хоть и читанные в английских переводах, появлялись положительные рецензии, меня приглашали на поэтические фестивали, печатали в журналах, то есть вряд ли я соответствовал представлению об эмигранте, выбитом из колеи. Тем не менее я тратил время на занятие, в высшей степени бесполезное там, где мне выпало жить, ибо переводы из Библии замыкали меня в рамках одного языка, тогда как стихи, а тем более эссе могли бы — хорошо ли, плохо ли — быть переведенными на английский.

Тридцать лет в эмиграции. А если считать с выезда из Вильно — куда больше. Но на самом деле годы эти выглядят сжатыми, уплотненными, словно это не годы, а дни и часы, а пройденные мною зоны разных языков и цивилизаций обтекли меня почти бесследно, оставив нетронутой ту родимую речь, с которой я ходил по виленским улицам. Надо сказать, что и мне самому непонятно сосуществование во мне нескольких языков, каждого на своем уровне, с их взаимной непроницаемостью, когда каждый служит чему-то иному, нежели другие. Быть может, старопольским поэтам было ведомо такое сосуществование — с их латынью для науки и чтения и польским для поэзии.

Говоря о выборе для перевода именно библейских текстов, не могу не сказать о Вильно, и в первую очередь это относится к Книге Иова. За год до аттестата зрелости, в 1928 году, сижу я в классе Первой мужской гимназии имени короля Сигизмунда Августа на уроке Закона Божьего, и наш законоучитель, ксендз Леопольд Хомский, безуспешно пытается обуздать мое бунтарство. Он не любил меня, и теперь я признаю за ним правоту. Юношеское бунтарство принято романтически приукрашать, однако теперь я думаю, что в нем много от той нечестной игры, которую личность ведет против нравов сообщества, и игра эта не возбуждает во мне сочувствия. Впрочем, мое отношение к о. Леопольду было эмоциональным, сложным и выходит за рамки школьных воспоминаний. И что еще удивительнее: насколько я знаю, он еще жив и, несмотря на свой возраст — за девяносто, до недавнего времени был приходским священником в Белой Ваке, недалеко от Вильнюса. Мне случилось говорить с людьми, которые его там встречали. Неважно, сумели бы мы сегодня понять друг друга и если да, то

в какой степени. Наверно, я сказал бы ему, что его отрицательную оценку моего характера мне пришлось признать верной, но что поделаешь, мы осуждены употреблять на пользу наши недостатки.

Благодаря ксендзу Хомскому и конкордату Польши с Ватиканом, то есть урокам Закона Божьего в государственных школах, я приобрел богословскую закалку — впрочем, еще и благодаря моему сопротивлению, без которого я принимал бы уроки Закона Божьего пассивно и быстро забывал бы их. Самая суть моих трудностей была вовсе не шуточной, как раз наоборот. Прежде чем очертилось мое литературное призвание, я натолкнулся на свою главную — если не единственную волнующую меня — проблему: зло мира, боль, муки живых существ как аргумент против Бога. И если сегодня, когда целая жизнь осталась позади, я иначе отношусь к тайне зла, то вовсе не потому, что прочитал множество книг и толковал о людях, принимавших ее близко к сердцу, включая и средневековых манихейцев. Происшедшая во мне перемена сравнима с постепенным наполнением наброска отчетливыми формами и красками. Сначала, в ранней молодости, было только интеллектуальное уравнение; затем страдание, мое собственное или воспринимаемое как свое, настигло меня, поселилось во мне, и надо было учиться справляться с этим. В мыслях же мало что изменилось, ибо тот же вопрос: «Откуда зло?» — по-прежнему требует ответа, с той только разницей, что сегодня я его не ищу, зная, что предмет этот не поддается чисто интеллектуальным разбирательствам.

Я отбросил ученое предисловие к Книге Иова, потому что углядел в нем черты дипломатических переговоров с несчастьем. Об этом я хотел бы сказать правду, преодолевая то огромное сопротивление, которое здесь оказывает конкретность, ибо в данном случае дипломатия состоит в умолчании о наиболее чувствительных точках и в переходе на уровень абстракции, словно самое существенное откладывается «на следующий раз». И чем более личным и застарелым является страдание — тем труднее, ибо тут настороже опасение, как бы не впасть в эксгибиционизм. Так что я ограничу себя, останавливаясь на самом рубеже признаний.

Есть бремя, которое тяжело нести, — чересчур обостренное сознание. Кто воспитан на польской литературе, тот не может избавиться от образа поэта-пророка или хотя бы кудесника — я, однако,

из чувства стыда пытался от этого избавиться. Тем не менее я рано заметил, что неким образом отмечен, — если кто-нибудь на этом основании обвинит меня в мании величия, могу заверить, что в этой отмеченности нет ничего приятного и что я принимаю ее как род недуга. Я имею в виду мгновенные проблески сознания столь ясного, что оно заслуживает имени ясновидения, ощущаемого как приходящее извне, а не изнутри. Это не талант, не особая острота чувственных восприятий, не повышенная чуткость к слову, а единоборство с силой, которая нападает на нас, как приступ болезни, портит нам жизнь, отталкивает от людей. Двадцатый век довел культ искусства, ставшего для многих заменителем религии, до идолопоклонства, воздвиг вокруг поэта свои собственные мифы, явно или неявно заимствованные из доктрин эстетизма. И говорить о сознании там, где постоянно слышишь речи о подсознании и психологии бессознательного? Это неуместно, это идет наперекор модернистской эстетике и чем-то даже неприлично. По правилам хорошего тона следовало бы умолчать об этом, но тогда я не сумел бы объяснить, что я понимаю под дипломатией, или переговорами с несчастьем.

Если бы пребывание в чужих краях было только лишением, ампутацией части нашего существа, оно еще не было бы столь большим злом. Но оно и лишение, и вместе с тем что-то другое: сознание узнаёт свое бессилие и бесполезность, ибо те, к кому мы обращаемся, видят наши жесты, но не слышат голоса. Следовало бы жить только по правде, но день за днем и год за годом складываются из уступок неведенью людей, не обладающих нашим опытом или попросту не желающих и не умеющих понимать. Я не раз задумывался: что было бы, если бы я принялся рассказывать американским студентам всё, что знаю, или перестал бы сдерживаться в общении с американскими поэтами — людьми, в общем-то, милыми и мягкими? Предположим, что я не заставил бы их помирять со скуки (а это наиболее вероятно), но и тогда я только расстроил бы их и ужаснул моим — ибо так это выглядело бы — цинизмом. Даже не потому, что с 1939 года несчастье избрало Польшу своей любимой резиденцией. Скорее потому, что из собранных там поучений делаешь разнообразные выводы относительно судьбы человека в ныне творимой истории — в том числе вывод о полной зависимости людей от понятий и представлений, к которым они приучены, которые их опутали, так что они живут в своем языке, словно в коконе.

Но — слышу я голос — ты сделал выбор и пишешь по-польски, а не по-английски, значит, ты обрел полную свободу и можешь не считаться ни с кем и ни с чем. Да, так было, и я пробовал выразить столько, сколько мог. То есть немного. Как говорит герой одного из моих стихотворений, художник: «Едва человек встанет, махнет два-три раза кистью, уже и вечер». Мгновения сознания настигали меня и удручали, я же жил с ощущением, что не дорастаю до них, словно не исполнял чьих-то несформулированных, хотя постоянно присутствующих требований.

Уклоняться: опыт боли, своей и чужой, заслонять философией, эстетикой. Так легче, и в случае изуродованной судьбы, слишком личных аспектов которой я здесь не коснулся, искушение довольно понятно. Несколько иными словами: если ты носишь профессорскую шапочку и тогу, ты должен давать доказательства своей умственной ловкости — дайте только тему, и ты извергнешь гейзер блистательных рассуждений; и в то же время ты знаешь, что это лишь видимость, чисто условная роль, и что более подлинный в тебе человек — нем. Взойдя на кафедру, ты — как на сцене: когда актеру хочется только плакать, он обязан перерезать провод, ведущий к его собственному горю; и такая двойственность оставляет след, прокладывает колеи — мы обучаемся говорить как ни в чем не бывало. Тем временем о Книге Иова лучше уж молчать, ибо получается, что говорить никогда ничего не стоит.

Само же обращение к Библии имеет следующие причины. Если я никого не смогу убедить и ничего не смогу изменить, если мир поспешает своей безумной торной дорогой — как лучше всего использовать то умение, которым я обладаю, искусство ритмической речи? На каком языке я могу это сделать лучшим из возможных способов? Только по-польски. В чем польский язык больше всего нуждается? В освобождающем слове, которое самим своим существованием защищает от паутины фраз, лозунгов и двоеречия. Теперь, когда исчезла латынь, слово это оказалось под угрозой вторжения одного, уже всеобщего, журналистского стиля, вкрадывающегося даже в переводы Писания. Я уже писал однажды о других стимулах и моих постепенных приготовлениях к этому труду: перевод Книги Екклезиаста с греческого перевода Семидесяти толковников; перевод Евангелия от Марка; изучение

древнееврейского; открытие двуязычной, польско-древнееврейской Библии в переводе Цилькова, выходившей отдельными выпусками в Кракове в 1885–1905 гг.

Быть может, мой труд переводчика Библии — лишь мой ритуал очищения, более действенный, чем какие бы то ни было стихи или проза. Разумеется, корпя над Книгой Иова, я не мог не иметь перед глазами лиц людей, тщетно обращающих молитву к небу, красок земли, формы облаков, непонятной красоты природы, то есть всего того, с чем мое воображение до сих пор не умеет вступить в гармонию, так же, как не умеет вступить в гармонию с Иововой жалобой во мне самом. Но — я обещал не философствовать. Предпочитаю дать слово нескольким авторам, всегда заслуживающим чтения, и после этого вступления помещаю несколько цитат из их сочинений*. Тут же я могу с чистой совестью упомянуть о технических вопросах, то есть о мастерской переводчика**.

Принимаясь за Книгу Иова, я полагал, что если переводы разнятся между собой, то, по крайней мере, единый древнееврейский текст, относительно которого филологи согласны, должен существовать. Оказалось, такового нет: многие стихи непонятны, пока не введешь тех ли иных поправок в написание. Один еврейский специалист по Библии даже сказал, что честному переводчику Иова, вместо того чтобы передавать спорные слова и фрагменты, лучше бы оставить белые пятна примерно на половину текста. Различные толкования содержатся в пригодившихся в моей работе книгах: в труде Роберта Гордиса (*Robert Gordis. The Book of Job: Commentary, New Translation and Special Studies. New York: The Jewish Theological Seminary in America, 1978*), как и в огромном комментарии эрудита-фантаста Н.Х. Тур-Синая (Х. Торчинера), изданном в Иерусалиме в 1967 году. Каждый стих я сравнивал с переводами на несколько современных языков,

* Между своим предисловием и текстом Книги Иова Чеслав Милош приводит цитаты из текстов кардинала Шарля Журне, Григория Великого и Симоны Вейль.

** В дальнейшем тексте мы произвели незначительные сокращения, убирая лишь то, что слишком специфически связано с проблемами польского языка.

прежде всего на английский, французский и русский (очень добросовестный синодальный перевод XIX века), а также с польскими переводами. И, увы, часто я оказывался перед выбором между несколькими решениями, за каждое из которых выступало равное число переводчиков.

Углубляясь в старопольские закоулки здания родного языка, я с сожалением убедился, что мы не умеем ценить свою словесность. Один из прекраснейших памятников польского языка, «Пулавская Псалтирь», почти никому не известен. О первом полном переводе Библии Леополиты, напечатанном в 1561 году, я только слышал, и, вероятно, никто, за исключением нескольких филологов, в жизни не раскрыл эту редкость. И вот они, эти мудрецы с моноклями, вбили в нас убеждение, что Библия Леополиты пользуется архаическим языком, потому-то она и подверглась забвению и несколькими десятилетиями позже была заменена Библией Вуека. Мне случилось найти эту редкость, Библию Леополиты, лишь в одной из американских библиотек — и я перестал верить филологам. Прекрасный польский язык, даже сегодня не более старосветский, чем у Вуека, сила экспрессии — чего еще желать? На вопрос, почему Леополита оказался забыт, у меня нет ответа. Я готов подозревать какие-то маневры иезуитов, которым важно было выдвинуть члена своего ордена, поскольку перевод Вуека находился под их контролем. Так или иначе, отсутствие новых изданий Леополиты, несомненного монумента польского языка, не свидетельствует об уважении к богатому наследию.

Переводя Иова, я не мог заглядывать в Библию Леополиты, ибо свойства переплета исключали возможность микрофильмирования. Зато в моем распоряжении были микрофильмы кальвинистской Брестской Библии 1563 года, Библии Вуека, а также Гданьской Библии 1632 года. Если Книга Иова — текст не слишком ясный, то у Вуека, вынужденного придерживаться Вульгаты, текст особенно темен. С точки зрения ясности и выразительности следует предпочесть Брестскую и Гданьскую Библии. Из новейших переводов с ними может соперничать только Цильков. Как и в переводе Псалтири, я опирался прежде всего на него, ибо он всегда основателен при решении сомнительных мест.

Специалисты по Библии выдвигают гипотезы относительно даты возникновения Книги Иова, авторства и т.д. — не берусь

решить, кто из них прав. В дошедшем до нас виде Книга Иова состоит из пролога в прозе, диалога в стихах и эпилога опять-таки в прозе. Переводы XVI века применяют прозу повсеместно. Точнее, то, что тогда считалось прозой, ибо стихи означали повторение равного числа слогов. Тем не менее в польских переводах Библии ощутимо влияние ритмических каденций Вульгаты, если не прямо оригинала. Как известно, библейская строфа складывается из двух, иногда из трех, редко из четырех фраз, или, если хотите, стихов. Они своеобразно симметричны. Это так называемый параллелизм. Самый распространенный тип связи между ними — повторение во втором стихе того, что сказано в первом, но другими словами. В свою очередь каждая фраза, или стих содержит метрическую формулу: три «ударения» («акцента»), которым соответствуют три «единицы мысли». Таким образом, смысл и метрика поддерживают друг друга, поэтому переводчики, заботясь о сохранении смысла, интуитивно вводили пульсирование ритма. Способ расположения перевода на бумаге: сплошь или с разделением на нумерованные строфы — не мог не влиять на переводчика и читателя, хотя цели преследовались внеэстетические. В предисловии к Брестской Библии читаем: «Потому и для того все книги на стихи разделены / чтобы в сгущенном письме тем что читать будут зренье не слабело / в письме же просторном чтобы было оно как бы свободней / а чтобы также читатели в чем бы им была нужда тем легче себе найти могли»*.

В польской версификации в последние десятилетия произошел переворот, и теперь говорят о четвертой системе, после силлабической, силлабо-тонической и тонической. Тем самым повышается восприятие к каденциям, скрытым в так называемой прозе, — Библии XVI века могут дать для этого любопытный материал.

Сравнительно недавно появилась манера печатать библейскую поэзию «в столбик», то есть разбивая ее на стихи, помещаемые один под другим. Это выглядит логичным, но, на мой взгляд, логики здесь нет, ибо если печатанье «прозой» может привести

* Не пытаюсь передать старопольский язык средствами древнерусского, мы лишь сохраняем в этих строчках некоторую, на современное ухо, странность слога.

к стиранию ударений, то столбик, наоборот, легко ведет к забвению строфы как единицы интонации. Это легко заметить в новых польских переводах Книги Иова: Брандштеттера, Библии Тысячелетия, а также Библии Британского и Заграничного Библейского Общества. Зато Цильков использует библейскую строфу, в течение веков обладавшую правами гражданства в польской поэзии. Раздел на стихи у него не отмечен, но цезура легко ощутима, а скрепа ритма сцепляет строфу в единое целое. В Псалтири я отмечал цезуры звездочкой — здесь я оставляю их размещение голосу читающего.

Представив себя как эксцентрика, переводящего библейские тексты на польский язык в Америке, я должен заранее предостеречь от ошибочных представлений. Неизвестно, когда я воплотил бы свои замыслы и воплотил ли бы я их вообще, если бы не мой друг о. Юзеф Садзик*, директор Editions du Dialogue в Париже. Плодом его уговоров, а затем нашего сотрудничества, включая детальную проверку текста, была Псалтирь. То же относится и к Книге Иова. Так что я трудился не в одиночестве. Я обращался к конкретному человеку, для меня были важны его одобрение и контроль. Нечто большее обычных отношений между автором и издателем.

1980

* †1980.

НОБЕЛЕВСКАЯ ЛЕКЦИЯ

То, что я оказался на этой трибуне, — несомненный аргумент для всех, славящих данную нам от Бога, чудесно сложную непредсказуемость жизни. В школьные годы я читал книги из выходившей тогда в Польше серии «Библиотека нобелевских лауреатов» — помню и шрифт, и оттенок бумаги. Тогда я думал, что нобелевские лауреаты — это «писатели», то есть люди, прозой сочиняющие толстые тома. Даже узнав, что среди них есть поэты, я долго не мог избавиться от ставшего привычным представления. И, печатая в 1930 году первые стихи в нашем университетском журнале «Alma Mater Vilnensis», я отнюдь не претендовал на звание «писателя». Точно так же значительно позднее, выбирая одиночество и предаваясь такому чудному занятию, как писание польских стихов, — чудному, когда живешь во Франции или в Америке, — я поддерживал некий идеальный образ поэта: если он хочет прославиться, то лишь у себя на деревне или в своем городе.

Думаю, что один нобелевский лауреат, читанный в детстве, серьезно повлиял на мои представления о поэзии, — я рад сказать об этом здесь. Это была Сельма Лагерлеф. Ее «Чудесное путешествие», книга, которую я боготворил, наделяет героя двойственной ролью. Он — тот, кто летит над землей и охватывает ее взглядом сверху, и в то же время он видит ее во всех подробностях. Это можно счесть метафорой призвания поэта. Позднее я нашел сходную метафору в латинской оде поэта XVII века Мацея Сарбевского, известного в Европе под псевдонимом Казимир. Он преподавал поэтику в моем университете. В оде этой он описывает свое путешествие из Вильно в Брюссель, где у него были друзья-поэты, — верхом на Пегасе. Как и Нильс Хольгерссон, он

видит внизу реки, озера, леса, то есть карту, в равной степени отдаленную и полную конкретности.

Так вот они, два свойства поэзии: жадность зренья и жажда описанья. Однако всякий, кто понимает поэзию как «видеть и описывать», должен знать, что вступает в серьезный спор с современностью, зачарованной бесчисленными теориями специфического поэтического языка.

Всякий поэт зависит от поколений, писавших на его родном языке, наследует стили и формы, разработанные его предшественниками. Тем не менее он ощущает, что эти прежние способы выражения не приспособлены к его собственному опыту. Приспосабливаясь к ним, он слышит внутренний голос, остерегающий его от маскировки и переодевания. Бунтуя, он в свою очередь попадает в зависимость к своим ровесникам, ко всевозможным авангардистским течениям. Увы, достаточно ему выпустить первый сборник стихов — и он уже в ловушке. Едва просохла типографская краска, как это сочинение, казавшееся ему в высшей степени его собственным, выглядит для него увязшим в стиле, зависимым. Единственный ответ на смутные угрызения совести — новые поиски и выход новой книги, после чего всё повторяется, и погоне этой нет конца. Может и такое случиться, что, оставляя позади себя книги, словно сброшенную змеиную кожу, и убегая всё вперед и вперед от сделанного прежде, получаешь Нобелевскую премию.

Что такое этот загадочный импульс, который не позволяет уютно расположиться в совершённом и завершённом? Думаю, что это поиски действительности. Слову этому я придаю смысл наивный и достойный, ничего общего не имеющий с философскими спорами последних столетий. Это Земля, увиденная Нильсом со спины гуся и автором латинской оды со спины Пегаса. Эта Земля, несомненно, есть, и богатств ее не исчерпает никакое описание. Придерживаться такого мнения — это заведомо отбросить часто раздающийся в наше время вопрос: «Что есть действительность?», ибо он равнозначен вопросу Понтия Пилата: «Что есть истина?» Если противостояние жизни и смерти — одна из важнейших пар противоположностей, используемых нами повседневно, то не менее важно противостояние истины и лжи, действительности и иллюзии.

Симона Вейль, сочинениям которой я многим обязан, сказала: «Дистанция — душа прекрасного». Бывает, однако, что обрести дистанцию почти невозможно. Я, как указывает заглавие одного моего стихотворения, — «Дитя Европы», но звучит это горько и саркастически. Я написал также автобиографическую книгу, во французском переводе озаглавленную «Une autre Europe». Нет сомнения, что существуют две Европы и что нам, жителям той, «другой», довелось сойти в «сердце тьмы» XX века. И я не сумел бы говорить о поэзии «вообще» — я вынужден говорить о поэзии, встретившей особые обстоятельства места и времени. С те-перешней перспективы видны общие очертания событий, своим смертоносным размахом превзошедших все известные нам стихийные катастрофы, но поэзия моя и моих ровесников — авангардной ли пользуясь, традиционной ли стилистикой — не была подготовлена к восприятию этих событий. Словно слепые, мы двигались ощупью, натываясь на все искушения, которым в нашем веке подвержен ум. Нелегко отличить действительность от иллюзии, живя в эпоху великого переворота, который начался несколько сот лет тому назад на малом западном полуострове евразийского материка и за срок одной человеческой жизни охватил всю планету одним культом — культом науки и техники. А особенно трудно было противостоять разнообразным искушениям на тех пространствах Европы, где дегенеративные идеи господства над людьми или Природой привели к пароксизмам революции и войны, цена которых — несчетные миллионы человеческих существ, убитых физически или духовно. Однако, может быть, самое ценное, чего мы достигли, повстречавшись с этими идеями в их более чем осязаемом виде, — не их анализ, но благодарное уважение ко всему, что защищает людей от внутреннего распада и покорности насилию. Именно на это устремлялась ярость сил зла: на определенные обычаи, определенные институты — в первую очередь на все связи между людьми, существующие органично, как бы само собой, и поддерживаемые семьей, религией, соседством, общим наследием, — одним словом, на всё человеческое, неловкое, нелогичное, так часто выглядящее смешным в своих провинциальных привязанностях

и проявлениях верности. Во многих странах традиционные связи *civitas* подвергаются ныне постепенной эрозии, и жители их — лишены наследства, сами того не сознавая. Другое дело — там, где внезапно, в угрожаемом состоянии, обнаруживается защитная, жизнетворная ценность этих связей. Так было на землях, откуда я родом. Тут-то, полагаю, мне и следует вспомнить о дарах, полученных мною и моими друзьями в нашей части Европы, и произнести слова благословений.

Хорошо родиться в малой стране, где природа человечна, на людскую меру, где веками жили вместе разные языки и разные религии. Я говорю о Литве — земле мифов и поэзии. И пусть семья моя еще с XVI века говорила по-польски, как многие семьи в Финляндии говорят по-шведски, а в Ирландии — по-английски, в результате чего я и стал польским, а не литовским поэтом, — пейзажи, а может быть, и духи Литвы никогда меня не покидали. Хорошо с детства слышать слова латинской литургии, переводить в школе Овидия, изучать католическую догматику и апологетику. Благословенно получить от судьбы такое место школьного и университетского ученья, каким было Вильно — чудный город, где барочная и итальянская архитектура перенесена в северные леса, а история запечатлена в каждом камне, город сорока католических костелов и — многочисленных синагог; в те времена евреи называли его Иерусалимом Севера. Уже преподавая в Америке, я понял, как многим напители меня толстые стены нашего университета, забытые формулы римского права, история и литература старой Польши, поражающие молодых американцев своими исключительными чертами: снисходительной анархией, обезоруживающим в ярых спорах юмором, чувством органического сообщества, недоверием ко всякой централизованной власти.

Выросши в таком мире, поэт должен стать искателем действительности через созерцание. Ему должен быть дорог известный патриархальный порядок, колокольный звон, отгороженность от натиска и упорных требований ближних, тишина монастырской кельи, а если уж книги на столе, так те, что трактуют об этом непонятном свойстве сотворенных вещей — об их *esse*. И вдруг всё это перечеркивается демоническими поступками Истории, обладающей всеми чертами кровожадного божества. Земля, на которую поэт взирал в своем полете, вызывает криком воистину из бездны

и не позволяет созерцать себя свысока. Возникает непреодолимое противоречие, реальное, ни днем, ни ночью не дающее покоя, как его ни назови — противоречием между бытием и действием или между искусством и людской солидарностью. Действительность добивается воплощения в слове, но она невыносима, и если мы к ней притрагиваемся, если она здесь, около, то из уст поэта не извлечь даже Иовой жалобы: всякое искусство обращается в ничто по сравнению с деянием. Охватить же действительность, сохраняя всю ее извечную путаницу зла и добра, отчаяния и надежды, — можно лишь благодаря дистанции, лишь вознесясь над действительностью, но это в свою очередь выглядит моральным предательством.

Таково было противоречие, порожденное самой глубиной конфликтов XX века и открытое поэтами на земле, зачумленной геноцидом. Что думает автор некоторого количества стихов, оставшихся памятью, свидетельством того времени? Он думает, что эти стихи порождены болезненным противоречием и что было бы лучше, если бы вместо писания стихов он мог разрешить это противоречие.

3

Покровителем всех поэтов-изгнанников, навещающих родные края лишь в воспоминаниях, остается Данте — но сколько Флоренций появилось с тех пор! Изгнание поэта — нынче элементарная функция сравнительно недавнего открытия: кто держит власть — может контролировать и язык, притом не только цензурными запретами, но и меняя значение слов. Это совсем особое явление — язык несвободного общества, приобретающего определенные устойчивые навыки: целые сферы действительности перестают существовать, ибо не имеют названия. Есть, пожалуй, скрытая связь между теориями литературы как *écriture*, как речи, кормящейся самой собою, и ростом тоталитарного государства. Во всяком случае, у государства нет оснований быть нетерпимым по отношению к деятельности, которая состоит в сочинении стихов и прозы, понимаемых как автономные системы соотношений, замкнутые в своих границах. Поэт опасен лишь тогда, когда он неустанно стремится сбросить заимствованную

стилистику — в поисках действительности. В зале, где все собравшиеся дружно поддерживают заговор молчания, одно слово правды звучит пистолетным выстрелом. Да что слово — искушение высказаться, будто у человека вдруг зачесалось, становится навязчивой идеей и ни о чем другом не дает думать. Вот почему поэты выбирают изгнание. Трудно, впрочем, сказать, что тут срабатывает: одержимость происходящим или надежда избавиться от него и в других странах, на других берегах хотя бы изредка обретать свое настоящее призвание — созерцание Бытия.

Надежда эта, однако, довольно обманчива, ибо пришелец из нашей «другой Европы» повсюду, где ни окажется, замечает, что от новой среды его отделяет накопленный опыт, а это в свою очередь может стать навязчивой идеей. На год от года уменьшающейся планете, при фантастическом развитии средств информации, протекает процесс, не поддающийся определению, — его можно бы назвать отказом от памяти. Наверное, неграмотные прошлых веков — то есть большинство человечества — мало что знали об истории своих стран или своей цивилизации. Зато в умах современных безграмотных, умеющих и читать, и писать, даже обучающих молодежь в школах и университетах, история присутствует, но странно спутанной и затуманенной. Мольер становится современником Наполеона, Вольтер — Ленина. И события последних десятилетий, имеющие такое принципиальное значение, что от знания или незнания их будут зависеть судьбы рода человеческого, — отдаляются, теряют всякую плотность, будто дословно исполняется предсказание Ницше о европейском нигилизме. «Глаз нигилиста, — писал Ницше в 1887 году, — изменяет воспоминаниям: он позволяет им обнажиться, отрясти листву... А чего нигилист не умеет сделать для себя, того не сделает он и для всего прошлого семьи человеческой — и позволяет этому прошлому пропасть». Сколько набралось уже вымыслов о прошлом, противоречащих простейшему здравому разуму и элементарному чувству добра и зла. Как сообщила недавно «Лос-Анджелес таймс», в разных странах вышло около сотни книг, доказывающих, что the Holocaust'a никогда не было, что это выдумка еврейской пропаганды. Если возможно такое безумие, то вполне ли невероятна всеобщая и непрерывная потеря памяти, и не представляет ли она большей угрозы, нежели генетические манипуляции или загрязнение природной среды?

Для поэта из «другой Европы» события, охватываемые понятием the Holocaust, — действительность столь близкая во времени, что попробовать избавиться от их постоянного присутствия в воображении он может, разве что занявшись переводом Давидовых Псалмов. Но и тогда он испытывает ужас, видя, как значение этого слова постепенно меняется и начинает относиться только к истории евреев, как будто жертвой преступления не пали также миллионы поляков, русских, украинцев и узников других национальностей. Он испытывает ужас, потому что видит в этом как бы предвестие будущего — возможно, уже недалекого, — когда от истории останется лишь то, что появится на экране телевизора, а правда, за чрезмерной сложностью, будет погребена в архивах, а то и вовсе уничтожена. Да и другие факты, близкие ему, далекие людям Запада, придают в его глазах правдоподобие Уэллсовскому видению из «Машины времени»: Земля, населенная племенем детей дня, беззаботных, лишенных памяти и, значит, истории, беззащитных перед жителями подземных пещер — пожирающими людей детьми ночи.

Уносимые потоком технологического развития, мы знаем, что началось объединение нашей планеты, и международное сообщество — для нас не пустой звук. Даты создания Лиги Наций, а затем — Организации Объединенных Наций заслуживают памяти. Увы, значение их меркнет на фоне другой даты, которую следовало бы ежегодно отмечать как день траура, — но молодые поколения ничего о ней не слышат. Это день 23 августа 1939 года. Два диктатора заключили тогда договор, снабженный секретным протоколом о разделе между ними соседних стран, имевших собственные столицы, правительства и парламенты. Результат этого — не только разожженный пожар самой страшной войны. Вновь вступил в действие колониальный принцип, согласно которому народы — всего лишь скот, предмет торговли, полностью зависящий от сиюминутного владельца. Их границы, их право на самоопределение, их паспорта — перестали существовать. И можно только недоумевать, видя сегодня, как о применении этого принципа диктаторами сорок лет назад — говорят шепотом, приложив палец к губам. А ведь преступления против человеческих прав, не ставшие предметом публичного признания и осуждения, — медленный яд, сеющий ненависть между народами вместо дружбы.

В антологиях польской поэзии есть имена моих друзей: Владислава Себылы и Леха Пивовара — и дата их смерти: 1940-й. Абсурдно, что нельзя написать, как они погибли, хотя каждый в Польше знает правду: они разделили судьбу многих тысяч польских офицеров, разоруженных и интернированных тогдашним соучастником Гитлера, и похоронены в массовой могиле. И не следует ли молодым поколениям на Западе, если их вообще интересует история, знать о двухстах тысячах людей, павших в 1944 году в Варшаве, в городе, обреченном на гибель обоими соучастниками?

Двух диктаторов-палачей давно нет в живых, но кто знает — не досталась ли им победа с более стойкими последствиями, чем победы и поражения их армий? Вопреки декларациям Атлантической Хартии, принцип, по которому страны — предмет торговли, а то и ставка игроков в карты или кости, утвержден разделом Европы на две зоны. Постоянно напоминает о наследии двух диктаторов отсутствие трех балтийских государств среди членов Организации Объединенных Наций. До войны эти государства были членами Лиги Наций, но исчезли с карты Европы в результате секретного протокола к пакту 1939 года.

Да простят мне обнажение памяти как раны. Тема эта — не посторонняя в моих размышлениях о слове «действительность», не утратившем достоинства, несмотря на все злоупотребления, которым оно подверглось. Плач народов, пакты вероломнее тех, о которых мы читаем у Фукидида, форма кленового листа, рассветы и закаты над океаном — вся эта ткань причин и следствий, зови ее Природой или Историей, указывает, я убежден, на иную действительность, непроницаемую для нас, хотя нескончаемое стремление к ней — движущая сила всякой науки и искусства. Иногда мне кажется, что я разгадываю смысл несчастий, выпавших на долю народов «другой Европы», что смысл этот — в сохранении памяти, в то время как Европа без прилагательного и Америка, кажется, всё теряют и теряют ее с каждым поколением. Быть может, и вправду нет иной памяти, нежели память ран, как свидетельствует об этом Библия, летопись тяжких испытаний Израиля. Книга эта долго позволяла европейским народам сохранять чувство непрерывности — отнюдь не то же, что модный нынче термин «историзм».

В течение трех десятков лет, прожитых мною за границей, я чувствовал себя в более привилегированном положении, чем

мои западные коллеги, будь то писатели или преподаватели литературы, поскольку события, как недавние, так и многовековой давности, приобретали для меня резкие, подробные очертания. Заграничная публика, читая стихи или романы, написанные в Польше, Чехословакии, Венгрии, смотря сделанные там фильмы, вероятно, угадывает в них такую же остроту сознания в постоянной борьбе с цензурными ограничениями. Именно память является нашей — всех нас из «другой Европы» — силой, она защищает нас от той речи, что заплетается вокруг самой себя, как вьюнок, не нашедший опоры в стене или древесном стволе.

Чуть выше я сказал, что жажду избавиться от противоречия, возникающего между потребностью дистанции и чувством людской солидарности. Но если признать полет над землей, верхом на гусе или на Пегасе, метафорой призвания поэта, то легко заметить, что и в ней уже есть противоречие, ибо как же быть над и в то же время видеть землю во всех подробностях? Тем не менее при неустойчивом равновесии противоположностей можно достичь известной гармонии — благодаря дистанции, которую создает само уходящее время. «Видеть» — это не только иметь перед глазами, «видеть и описывать» — это воссоздавать в воображении. Дистанция, создаваемая тайной времени, не обязательно превращает события, пейзажи, человеческие лица в мешанину всё более блеклых теней. Наоборот, она может пролить на них ясный свет, так что каждый факт, каждая дата приобретут выразительность и сохранятся вечным напоминанием о человеческом бесславии и о человеческом величии. Те, что живы, получают мандат от тех, кто навеки умолк. Они могут исполнить свой долг, лишь стараясь точно воссоздать то, что было, вырывая прошлое из-под власти вымыслов и легенд. Так земля, видимая с высоты, и земля, живущая в обретенном времени, равно становятся материалом поэта.

4

Я не хотел бы создать ложного впечатления, что мой ум обращен к прошлому. Как все мои современники, я был склонен отчаиваться, предвидеть скорую гибель и ловил себя на том, что поддаюсь нигилистическому соблазну. Однако, если глянуть глубже,

моя поэзия, как мне кажется, оставалась здоровой и выражала жажду Царствия Правды и Справедливости. Здесь следует назвать имя человека, который научил меня не поддаваться отчаянию. Дарами нас одаряют не только родная страна, ее реки и озера, ее традиции, но и люди, особенно если повстречать сильную личность, когда мы молоды. Мне посчастливилось, что ко мне почти как к сыну относился мой родственник Оскар Милош, парижский отшельник и визионер. Как случилось, что он стал французским поэтом, — это могла бы объяснить запутанная история семьи и страны, некогда называвшейся Великим Княжеством Литовским. Недавно в парижской прессе были высказаны (неважно, из каких побуждений) сожаления о том, что высшая международная награда полувеком раньше не была присуждена поэту, носившему ту же, что я, фамилию.

Я многому от него научился. Он позволил мне глубже понять религию Ветхого и Нового Завета и навязал потребность строгой, аскетической иерархии во всех интеллектуальных сферах, в том числе во всём, что касается искусства. В искусстве он считал за величайший грех приравнивать второсортное к первоклассному. Но главное — я слушал его, как слушают пророка, который, по его собственным словам, любил людей «старой любовью, изношенной от жалости, одиночества и гнева», и потому бросал предостережение безумному, катящемуся к катастрофе миру. Я узнал от него, что катастрофа неизбежна, но узнал я и то, что предугаданный им великий пожар станет лишь частью более обширной драмы, которой суждено быть доигранной до конца.

Глубинные причины этого он усматривал в ложном направлении, избранном наукой XVIII века, что вызвало лавинообразное последствия. Подобно своему предшественнику Вильяму Блейку, он предвещал Новый Век, новый ренессанс воображения, ныне искалеченного неким типом научного знания, но — верил он — не всякое знание калечит и, вне сомнения, не то, которое откроют люди будущего. Неважно, насколько дословно принимал я его предсказания, — важна общая направленность.

Оскар Милош, как и Вильям Блейк, вдохновлялся сочинениями Эммануэля Сведенборга, того ученого, что раньше всех предвидел поражение человека, скрытое в Ньютоновой модели вселенной. Став, благодаря моему родственнику, внимательным читателем

Сведенборга, хотя и толкуя его иначе, нежели было принято в эпоху романтизма, я не мог предположить, по какому случаю состоит мое первое — нынешнее — посещение его родины.

Наш век близится к концу, и — прежде всего из благодарности за такие влияния — я не решился бы осыпать его нареканиями, ибо это был также век веры и надежды. Совершается глубокая перемена, которую мы почти не осознаём, ибо сами составляем часть ее, и время от времени она дает себя знать в явлениях, возбуждающих всеобщее недоумение. Эта перемена связана с тем, что, по выражению Оскара Милоша, представляет «глубочайшую тайну трудящихся масс, как никогда живых, восприимчивых и полных внутреннего страдания». Их тайна, невысказанная потребность подлинных ценностей, не находит языка для выражения, и повинны в этом не только средства массовой информации, но и люди творчества. И все-таки перемена продолжает совершаться, вопреки краткосрочным прогнозам, и наше время, несмотря на все ужасы и опасности, вероятно, будет названо неизбежной стадией родовых мук перед вступлением человечества на новый порог сознания. Тогда явится новая иерархия заслуг, тогда, я уверен, и Симоне Вейль, и Оскару Милошу, писателям, в школе которых я был смиренным учеником, воздастся по достоинству. Думаю, что мы должны публично заявлять о нашей привязанности к тем или иным именам, ибо этим мы строже определим свои позиции, нежели перечнем имен наших противников. Я надеюсь, что эта лекция, несмотря на зигзаги мысли — профессиональный порок поэтов, ясно обнаруживает мои «да» и «нет», во всяком случае там, где речь идет о наследовании. Ибо все мы здесь: и оратор, и слушатели — только звенья между прошлым и будущим.

НОБЕЛЕВСКАЯ РЕЧЬ

Я принимаю это высшее отличие, помня обо всех мужчинах и женщинах, для которых я не столько отдельная личность, сколько голос и некто, к ним принадлежащий. О них-то и следует здесь напомнить, и родом они не из одной только страны. В первую очередь я думаю о тех, кто хранит привязанность к польскому языку и литературе, где бы ни жил, в Польше или за границей; я думаю также о моей части Европы, о странах, расположенных между Германией и Россией, и верю в их свободное и достойное завтра; особенно же мои мысли обращаются к стране, где я родился, — к Литве. Более того, поскольку я многие годы живу в изгнании, меня по справедливости могут признать за своего все, кто был вынужден покинуть свои деревни и провинции, из-за нужды ли или из-за преследований, и приспособиться к новым обстоятельствам жизни, — на Земле нас миллионы, ибо век наш есть век изгнанничества. Не могу здесь не сказать и о стране моего нового жительства, об Америке, где я нашел не только гостеприимство и хорошо оплачиваемую работу, как многие до меня, но и дружбу американских поэтов. И хотя Калифорнийский университет в Беркли, где я двадцать лет преподаю славянские литературы, насчитывает среди своих профессоров немало лауреатов Нобелевской премии в области точных наук, сегодня он с особой радостью прибавляет к их числу своего первого нобелевского лауреата в области гуманитарной.

В самом призвании поэта заключен парадокс. Бешено индивидуалистический, преследующий цели, видимые лишь несколькими ближайшим друзьям, он привыкает к своему ярлыку трудного и малопонятного — для того чтобы в один прекрасный день открыть, что стихи его связывают людей друг с другом и что, хочет он того или не хочет, а должен принять символическую роль. Долго

живя за границей, я постепенно стал поэтом молодых поколений в Польше и думаю, что в приключившемся со мной есть некоторые универсальные знаки предвестия. Поэты и их читатели могут быть разделены пространством, но если сохраняется их духовная связь, то границы и перегородки, какова бы ни была их природа, теряют силу. Мне кажется, что нам, живущим как в Польше, так и вне Польши, удалось совершить нечто важное благодаря отказу признать разделение польской литературы на два разных организма в зависимости от того, где живет тот или иной автор. Это заслуга как тех моих коллег в Польше, которые не позволили поколебать себя абсурдными доктринами, так и молодых защитников свободного обмена мыслями, будь то путем лекций, журналов или книг. Сборники моих стихов, выпущенные их независимыми издательствами, — самое драгоценное на полках моей библиотеки. Не меньшую честь следует воздать поразительной энергии и выдержке нескольких человек, основавших за границей издательства книг и журналов попольски, такие как «Институт литераций» во Франции, действующий без перерыва с конца войны и публикующий книги как эмигрантских, так и отечественных авторов. Эти непрерывность и единство данной культуры, сохраняемые в как можно более неблагоприятных обстоятельствах, опровергают романтические настроения тоски и обреченности, которые XIX век связал с понятием изгнания.

Я — часть польской литературы, которая сравнительно мало известна в мире, ибо почти непереводаима. Сравнивая ее с другими литературами, я смог оценить ее редкостную странность. Это род тайного братства, имеющего свои обряды общения с умершими, где плач и смех, пафос и ирония сосуществуют на равных правах. Пронизанная историей, полная намеков, она и в этом веке, как прежде, сопутствовала народу в его тяжких переживаниях. Строки польских стихов кружили в подполье, сочинялись в бараках концлагерей и в солдатских палатках, в Азии, Африке и Европе. Представлять здесь такую литературу — это ощущать свое смирение перед свидетельствами любви и самоотречения, которые оставлены теми, кого уже нет в живых. Мне остается надеяться, что честь, оказанная мне Шведской Академией, косвенно награждает тех, кто водил моей рукой и чье незримое присутствие поддерживало меня в трудные минуты.

Стокгольм, 10 декабря 1980

ДОСТОЕВСКИЙ И САРТР

Вероятно, я так и не напишу книгу о Достоевском, однако ничто не мешает мне рассказать, какой она была бы. Я не стал бы соперничать со множеством фундаментальных монографий и дошных исследований отдельных произведений, а предположил бы, что читатель уже обладает определенными знаниями о Достоевском, и освещал бы его фигуру и место в литературе несколько иначе, чем принято. Быть может, именно в этом и есть причина, по которой писать о нем книгу представляется мне задачей опасной и неблагодарной.

Изучая Достоевского и читая о нем лекции американским студентам, я не мог не заметить, что писатель этот меняется в зависимости от того, кто о нем говорит. Многонациональное содружество «достоевсковедов» этого, пожалуй, не признаёт, претендуя на научный объективизм, хотя их симпатии и антипатии, безусловно, влияли на их методику и выводы. История восприятия Достоевского в течение ста лет, прошедших со дня его смерти, могла бы послужить образцом поочередно наступающих интеллектуальных мод и влияний различных философий на умы исследователей. Оставив пока в стороне русских авторов, можно дать примерный набросок нескольких фаз восприятия Достоевского на Западе, начиная с «Преступления и наказания», широко читавшегося в переводах еще в конце XIX века и высоко оцененного Ницше. Впрочем, к так называемой *âme slave*, выразителем которой считался Достоевский, обычно относились с легкой иронией, а французская критика посмеивалась над Соней Мармеладовой, святой проституткой, словно живьем вынутой из сентиментального романа.

Триумфальное шествие романа Достоевского по западным странам в первые десятилетия XX века непосредственно связано

с открытием нового измерения в человеке — подсознания — и с культом дионисийских сил, в которых объединяются Эрос и Танатос. Тем не менее сопротивление, оказанное в те годы растущему влиянию русского писателя такими писателями, как Миддлтон Мэрри или Д.Г.Лоуренс, заставляет задуматься. Д.Г.Лоуренс сказал о нем, что «поразительная проницательность смешана у него с отвратительным извращенностью. Нет ничего чистого. Его дикая любовь к Христу смешана с извращенной и отравленной ненавистью к Христу. Его нравственное отвращение к чёрту смешано с потаенным обожанием чёрта».

Эти немногие голоса вскоре уступили место всеобщему восхищению, и слава Достоевского растет параллельно славе Зигмунда Фрейда. Правда, Фрейд, по понятным причинам считавший «Братьев Карамазовых», роман об отцеубийстве, величайшим романом всех времен и народов, ошибся в своем труде об эпилепсии Достоевского, опираясь — как это доказал Джозеф Франк — на неверно изложенные детали биографии писателя. Фрейдизм в течение десятилетий оказывал сильное влияние на работы о Достоевском — в тот период восприятия его произведений, который можно назвать психологическим. Сравнительно коротким и трудно вычленимым был период, когда исследователи вводили в свой анализ экзистенциалистскую философию, после чего проследить мысли автора, высказывающегося устами своих героев, перестали и всё внимание сосредоточилось на художественном строении необычайных романов Достоевского, столь необычайных, что вопрос, не означают ли они конца романа вообще, выглядит небезосновательным.

Мои студенты проявляли много понимания, пока я занимался психологией героя или когда старался показать, сколь много в замысле автора обнаружила методика структурных исследований. Тоже довольно легко и даже, как пристало молодежи, радостно они усваивали расхождения между произведением и той не слишком ясной кухней, какую является личность гения. Хлопоты начинались на подступе к некоторым фактам. Например, им трудно было понять, почему Достоевский любил самодержавную власть, притом не только тогда, когда по возвращении из Сибири превратился из революционера в консерватора. Приговоренный к смертной казни вместе с большой (21 человек) группой своих товарищей,

поставленный под дула расстрельной команды и в последний момент помилованный (что было комедией, разыгранной по воле царя), в сибирской ссылке он пишет три оды: одну — о Крымской войне, с угрозами по адресу Англии и Франции, другую — по случаю смерти Николая I, где он приравнивает царя-жандарма к солнцу и говорит, что недостойно произнести его имя («уста́ми грешны́ми его назвать не смею»), третью — на коронацию Александра II. Стихи очень плохи, и не следует полностью исключать побочных мотивов, то есть желания улучшить свою судьбу, но они совпадают с тем, что, по другим источникам, мы знаем о взглядах их автора.

Эта биографическая деталь, как и иные того же рода, входит в зону, где пути большинства исследователей Достоевского перестают быть моими путями: наше внимание направляется на разные объекты. Для меня Достоевский интереснее всего как человек, у которого в жизни был всего один настоящий любовный роман — с Россией, — который выбрал Россию подлинной героиней своих произведений. Может показаться, что психология его героев и открытия в области строения романа делают его писателем воистину международным, национализм же его, его обожание трона и алтаря, его шовинистическая ненависть к католикам и евреям, его издевки над французами и поляками — всё это замыкает его в пределах одной страны. На мой взгляд, всё как раз наоборот: чем более Достоевский русский, чем больше — из любви к России — он подвержен фобиям и маниям, тем больше его роль свидетеля всей интеллектуальной истории последних двух столетий. Он ведь сам сказал: «Всё в будущем столетии», — а уж в пророческом даре ему не откажешь.

Одной из основ домашнего чтения в семье Достоевского была «История государства Российского» Карамзина, и будущий писатель знал ее с детства. Труд этот усматривает источник величия России в ничем не ограниченной власти монархов. Когда Достоевский находился под арестом в Петропавловской крепости, он написал показания, в которых изложил свои взгляды на монархию, звучащие столь искренне, что одно только желание спасти свою шкуру не могло бы их продиктовать. По его мнению, революция во Франции была необходимой, в России же никто здравомыслящий не возмечтает о республиканской форме правления, памятуя о бесславной, на взгляд Достоевского, истории Новгорода. Москва

попала под татарское иго в результате ослабления княжеской власти, спасена же была ее укреплением — так же, как позднее силу России дал «великий кормчий» Петр Великий.

Как мог писать такое социалист, воспитанный на Фурье?

Можно было бы свалить это на типичное для «достоевщины» раздвоение, однако мы окажемся ближе к правде, утверждая, что две эти тенденции, социалистическая и самодержавная, всегда сосуществовали у Достоевского, менялись только акценты. Николай Данилевский — петрашевец, как и Достоевский, — прошел подобную эволюцию, но, став апологетом царизма и теоретиком панславизма в своем сочинении «Россия и Европа», он не отрекся от юношеских социалистических мечтаний, а включил их в свою тоталитарную доктрину.

Достоевский мыслил как государственный муж. В разговорах, которые он вел на каторге в Омске, он считал важнейшей задачей, стоящей перед Россией, овладение Константинополем. Его зрелое творчество, начиная с его первой поездки на Запад летом 1862 года, имеет ту особенность, что перед тем он был художником, а теперь художник и государственный муж трудятся в нем рука об руку. Его книги описывают духовное состояние русской интеллигенции, становятся хроникой духовных перемен, происходящих с нею из десятилетия в десятилетие и даже из года в год. И вопрос они ставят принципиальный: что означают эти перемены для будущего России, чем угрожают ей. Не будет большим преувеличением сказать, что в них есть нечто от следствия, ведущегося необычайно умным следователем, который знает, чего искать, ибо он сам — и обвинитель, и обвиняемый.

Русская интеллигенция в романах Достоевского спорит об основных проблемах человеческого существования, отнюдь не чуждых героям западного романа, будь то в его варианте XVIII века или эпохи романтизма, например у Жорж Санд. Однако нигде больше спорщики не ставят вопросов так резко и не делают столь крайних выводов. Они драматически переживают то, что Ницше, ровесник молодого героя «Преступления и наказания», назвал «смертью Бога». При этом атеизм вовсе не был частным делом индивидуума — он как нельзя более интересовал власти, поскольку атеист, как правило, становится революционером, утверждая тем самым путь предтечи поколений русской интеллигенции Виссариона

Белинского. В «Преступлении и наказании» преступление Раскольникова как бы носит характер замены. На самом деле он мечтает о великом революционном акте, оправдание которому доставила бы история. В своих взглядах и устремлениях он совершенно одинок: с одной стороны стоят власти, представленные полицейским следователем Порфирием, с другой — русский народ. В Сибири простые мужики, товарищи Раскольникова по каторге, хотят его убить, потому что он атеист. Таким образом, уже «Преступление и наказание» содержит формулу, важную для всего зрелого творчества Достоевского. Защита и столп России — это государственная власть и искренне набожный, как верил Достоевский, русский народ, а интеллигенция — России угрожает. Чем угрожает, показал роман «Бесы». Среди поразительно проницательных диагнозов, быть может, особенно глубоко восклицание старого офицера, прислушивающегося к разговору о том, что Бога нет: «Если нет Бога, то какой же я капитан?» Этот человек уловил связь между религией и истоками власти. Не следует забывать, что русская интеллигенция вскормлена на вольтерьянстве и рассуждениях о французской революции.

А казнь Людовика XVI лишь сегодня кажется нам одним из многочисленных в истории сенсационных событий, не более и не менее важным, чем другие. По существу же это был конец порядка, основанного на убеждении, что король правит, поскольку является носителем Божьего промысла, а нижестоящие управляют в силу данных им полномочий. С тех пор следовало искать иных истоков власти — хотя бы в заговоре, руководимом одним человеком, как Петр Верховенский в «Бесах». Роман, который, по замыслу автора, должен был увенчать его творчество, «Братья Карамазовы», имеет темой бунт против отца. При этом возникает вопрос: не подрывает ли автоматически отцовского авторитета тот факт, что отец дурен и безнравственен? Иван Карамазов отвечает на это утвердительно и находит тут основу бунта как против отца, так и против Бога-Отца. «Братья Карамазовы» — это, по существу, трактат о подрыве русской интеллигенцией авторитета Бога-Отца, царя-отца и отца семьи.

Западные мыслители, которые пишут о Достоевском, всегда недоумевают, как это человек, столь глубоко вникавший в психику своих героев, мог иметь такие реакционные взгляды. Они стараются

убрать эти взгляды из поля зрения, чему помогает гипотеза о «полифонии» романов Достоевского. Однако они проходят мимо того, что различает и разделяет их и этого русского писателя. Ни один из них в своих исследованиях или романах не ставит в центр своего интереса заботы о государственных интересах. Наоборот, эмоционально они на стороне тех героев, которые хотят свергнуть существующий порядок. Для Достоевского же Россия как государство не означала лишь некой территории, заселенной русскими. От России зависело будущее мира: от того, будет ли она заражена приходящими с Запада идеями атеизма и социализма, как уже заражена ее интеллигенция, или же царизм и набожный русский народ сумеют спасти ее, призванную к спасению человечества. Алеша Карамазов в следующих томах незаконченного романа должен был представлять собой новый тип деятеля, трудящегося в гармонии с народной верой.

В своей славянофильской идеализации русского народа Достоевский ошибся. Однако он не находил никакой другой надежды, и дилемма выглядела ясно: если «святая Русь» не сумеет оказать сопротивления, интеллигенция сделает с ней то, что герои «Бесов» начали осуществлять в масштабах одного провинциального города. В длительной истории восприятия Достоевского в разных странах выше всего, с точки зрения понимания его замыслов, следует поставить группу русских философов начала XX века, в особенности их высказывания в сборниках «Вехи» (1908) и «Из глубины» (1918). Согласно их мнению, пророчества Достоевского — отрицательные — начали сбываться. Можно бы сказать, что мнение такое не удивительно, ибо они были противниками революции. Но и среди революционеров в 1905 и 1917 гг. было распространено мнение об исполнении пророчеств Достоевского. Поклонником романа «Бесы» был первый после октябрьской революции комиссар народного просвещения Луначарский.

...в Достоевском нельзя не видеть пророка русской революции, — писал Николай Бердяев в 1918 году. — Русская революция пропитана теми началами, которые прозревал Достоевский и которым дал гениально острое определение. Достоевскому дано было до глубины раскрыть диалектику русской революционной мысли и сделать из нее последние выводы. Он не остался на поверхности социально-политических идей и построений,

он проник в глубину и обнаружил, что русская революционность есть феномен метафизический и религиозный, а не политический и социальный. Так удалось ему религиозно постигнуть природу русского социализма.

Русские понимали политические заботы Достоевского, ибо, как и он, мыслили государственно, то есть придавали значение последствиям той или иной идеи для государственного бытия — будь то государство антиреволюционное или революционное. Их западных коллег интересовал индивидуум, а не Франция, Англия или Америка. Правда, в течение XX века среди них широко распространилось убеждение, что уважающий себя человек относится к существующему социальному капиталистическому порядку как к явлению временному и в душе дожидается его конца. Поразительное сходство позиций русской интеллигенции, описанных Достоевским, и позиций западных мыслителей сто лет спустя приводит к выводу, что тревога о будущем России помогла ему описать явление огромного масштаба — как в пространстве, так и во времени.

Термин «западные мыслители», несомненно, слишком общ и вызывает недоразумения. Но, выбрав фигуру, которая бы, как в линзе, собрала в себе черты, связанные с этим термином, мы окажемся на более твердой почве. Такая фигура существует — это Жан-Поль Сартр, иногда называемый «Вольтером XX века». Что в нем поражает, так это та же, что у его русских предшественников, интенсивность в споре об идеях. Европейский умственный переворот, начавшийся в XVI веке, достиг России со значительным опозданием, и образованные русские в течение нескольких десятилетий усвоили идеи, которые в Западной Европе формировались постепенно, на протяжении нескольких столетий. Видимо, отсюда исключительная сила и отравляющая сила этих идей, которые не встретились с хорошо развитым, обладающим многочисленными функциями общественным организмом. По причинам, заслуживающим отдельного анализа, в XX веке в западных странах возник специфический вакуум, в котором замкнут западный мыслитель, развивающий свои концепции за пределами какого бы то ни было контроля со стороны «серой массы». Это как у Достоевского, где Раскольников или Иван Карамазов поставлены один на один со своим ходом мыслей. И не только интенсивность сближает Жана-Поля Сартра с этими персонажами, но еще и абстрактность мышления.

Не удивительно ли, что в издавна свободомыслящей Франции, в стране, которая многое повидала и обладала навыком избавляться от принципиального спора, просто пожав плечами, «смерть Бога» внезапно становится столь же фундаментальной проблемой, какой была некогда для русских мальчиков, за водкой спорящих об основах бытия? Ибо для французского экзистенциализма, от которого — вновь аналогия — наступает переход к действию, долженствующему перестроить мир, нет сомнений в том, что человек, свергая с престола Бога, сам становится Богом и свою ответственность должен доказать делом.

Глава, озаглавленная «Сартр как герой Достоевского», наверное, открыла бы интересные перспективы. Сюда следовало бы также ввести мотов родственности между некоторыми аспектами философии Сартра и философии самого Достоевского. Я имею в виду знаменитое сартровское «ад — это другие», то есть вопрос отношений между субъектом и другими людьми, тоже субъектами: отдельный человек стремится захватить власть над другими, превратить их в объекты, а поскольку, глядя на них, он видит в их глазах то же самое желание превратить его в объект, другие становятся его адом. Это в точности проблематика гордости и унижения у Достоевского. Когда Сартр писал *«L'Être et le Néant»* (в 1943 году), он не мог знать книги Бахтина о поэтике Достоевского, где этот вопрос разобран детально. Тем не менее «экзистенциальный психоанализ» в этом произведении Сартра совпадает с выводами Бахтина, несмотря на то что сам Сартр, похоже, не сознаёт своей связи с русским романистом.

Специфические черты русской жизни XIX века могут стать пометой, когда выделяешь как продолжающие быть актуальными проблемы, мучившие тогдашнюю интеллигенцию. И однако Сартр со своими поисками свободы идет следом за героем «Записок из подполья» — персонажем, открывающим серию больших философских монологов у Достоевского. В свою очередь гегельянство, внедренное во Франции в 1930-х годах трудами Александра Кожева (Kojève), на самом деле Кожевникова, и так решающе повлиявшее на Сартра, лежит уже в основе рассуждений Раскольникова о великих людях, которым история отпускает грехи, если они служили ей. Разумеется, Раскольников, заторможенный революционер, уделяющий особое внимание в топографии Петербурга

площади, где совершился неудачный бунт декабристов, поступил бы лучше, если бы вместо бессмысленного убийства ростовщицы отдался делу революции, но в 60-е годы, когда происходит действие романа, для этого слишком рано — пришлось дожидаться 70-х годов с фигурой Нечаева, Петра Верховенского «Бесов». Зато Иван Карамазов производит полную и принципиальную расправу с безнравственностью Бога — во имя прометеевского долга человека, и это тоже стержень сартровского мышления и попыток действия.

«Что делать?» — заглавие романа Чернышевского знаменательно для русской интеллигенции XIX века и с равным успехом могло бы стать максимой для неутомимой деятельности Сартра. Он был постоянно в поисках *une cause*, которой мог бы отдать свои силы. Все эти *causes* объединяла надежда свергнуть существующий порядок и заменить его другим — хотя на предмет того, каким именно, точка зрения Сартра постоянно менялась. Нечто комически-патетическое было в том, как он находил своей надежде место во всё новых и новых странах: СССР, Югославия, Куба, Китай — и поочередно разочаровывался, придя, в конце концов, к раздаче листовок на улице вместе с молодыми леваками. В этой жажде всё новых ответов на вопрос «что делать?» Сартр отнюдь не был одинок — наоборот, он может выступать примером такого же беспокойства у тысяч интеллигентов и полуинтеллигентов.

В этой охоте на *causes*, диктуемые злободневностью, трудно не усмотреть феномена внутренней пустоты, которая должна быть заполнена чувством бескорыстного стремления к той или иной благородной цели. Так и герои Достоевского вырваны из той ткани повседневной жизни, которая обеспечивает их менее отвлеченному окружению спокойствие малых устремлений и малых достижений. Религия и календарные обряды их решительно не трогают, традиционная мораль отброшена, обогащение как цель в их глазах отвратительно и неэффективно, деньги можно добыть с помощью преступления, случайного совпадения обстоятельств, наследства, игры в рулетку, ростовщичества — ни в коем случае не трудом, Россия — та, заурядная — подчиняется известному ритму обычаев, они же заключены в замкнутый круг своего мышления и предаются фантазиям о своей исключительной роли потенциальных спасителей человечества. Они заражены

болезнью неудовлетворенности жизнью, Достоевский пробует назвать это *taedium vitae* в особенности у характеров сильных, призванных быть деятельными, но неспособных к этому из-за излишка эгоцентризма, как Свидригайлов или Ставрогин.

Вероятно, у этой болезни, принимающей в нашем веке, по мере успехов образования, массовый характер, еще нет исчерпывающе точного диагноза. Причины ее, похоже, следует искать в ослабленном восприятии бытия или же в концепции бытия как абсурда. Кошмары, посещающие Свидригайлова и Ставрогина, свелись бы к «*La Nausée*», как называется роман Сартра, предшествовавший его многочисленным революционным актам. *L'être-en-soi*, то есть весь мир, существующий вне человека, не пробуждает в Сартре ни пиетизма, ни восторга, как когда-то, к примеру, в Гёте, — наоборот, этот мир напирает на него своей бессмысленностью и вынуждает к побегу в сферу человеческих действий. Таким образом, это вопрос метафизический. Многие из сегодняшних христиан были бы удивлены, услышав, что «Вольтер XX века» был не только типичным образцом интеллигентов, враждебных религии, но и предтечей переман, происходящих внутри Церквей. Если с некоторого времени Церкви усердно ищут благородных социальных *causes*, которым могли бы послужить, происходит это, быть может, потому, что в ощущении как церковной иерархии, так и верующих метафизическая сторона христианства испаряется, оставляя за собой лишь комплекс указаний о сосуществовании людей с людьми.

У Достоевского представители интеллигенции либо живут в подполье, либо открыто противопоставляют себя обществу. Раскольников не признаёт своей виной убийство ростовщицы и ее сестры — виной он признаёт свою слабость, в результате которой он оказался побежден обществом. После первой, сентиментальной фазы своего писательства, когда его героями были «бедные люди», Достоевский вводит подразделение на сознательных и всех остальных, находящихся на нижней ступени сознания, — только первые его влекут, вплоть до, к его же собственному ужасу, почти отождествления с Иваном Карамазовым и его Легендой о Великом Инквизиторе. К сожалению, приходится отметить, что это деление на посвященных и всех остальных остается полностью существенным для современных нам наследников тогдашнего русского раздвоения. Быть может, Симона Бовуар, подруга

жизни Сартра, поступила неосторожно, назвав роман об их круге «Les Mandarins». Не будет большого преувеличения, если мы скажем, что чувство принадлежности к избранным весьма поднимает дух — к избранным, то есть к тем, кто проник в тайну исторического процесса и знает будущее. Их тогда единит уже не вера, но знание, особый *gnosis*, позволяющий выносить суждения, исходя из якобы неколебимых посылок, не заботясь о чувственной и чересчур приземленной для философа действительности.

Что означает эта удивительная мутация героев Достоевского, черты которых мы обнаруживаем в другом обществе в другую эпоху? Если русская интеллигенция стала предтечей европейской и американской интеллигенции, то на какой основе? Почему экспорт — ибо всё, чем кормилась образованная Россия, включая литературных кумиров Достоевского, экспортировалось из Германии, Франции, Англии, — почему экспорт способствовал созданию такого зеркала? Мы привыкли считать, что если общества обладают взаимно сходными формами экономики, устройства, социального расслоения, то средства их выражения в философии, литературе, искусстве тоже сходны. Это убеждение, видимо, принадлежит к той части марксистского наследия, которая стала всеобщим достоянием. В чем, однако, царская Россия, с ее разделением жителей на касты, занесенные в государственные реестры, с крайне централизованной властью, с огромной неграмотной мужицкой массой, может напоминать развитые страны Запада во второй половине XX века? Или в самом деле, как я уже говорил, до нашего времени на Западе не было аналога русской интеллигенции, то есть специфического слоя, отделенного от «серой массы», по этой причине страдающего и предназначенного себе прометеевскую роль? Или же следует попросту принять тезис о том, что идеи обладают своей автономной жизнью и что они важнее, чем экономические и политические различия? Если бы это было так, то, значит, распад метафизического фундамента как власти, так и индивидуальной этики — то, что Ницше называл «смертью Бога», — был на Западе уже давно известен, но скрыт, так как сама сложная практика экономического роста отодвигала такие проблемы в сторону. В какой-то момент они внезапно вынырнули на поверхность — это совпало с кризисом парламентаризма.

Деятельность террористических групп в 60-е — 70-е годы, таких как «The Weatherman» или «Symbionese Army» в США, «Красные бригады» в Италии и т.п., означает — как в «Бесах», — что сомнению подвергнута правомочность власти. Там, в России, группа Нечаева, процесс которого дал Достоевскому материал для романа, отвергала правомочность монаршей власти и всей системы, построенной на ее сакральности. Здесь, на Западе, пришла очередь власти, создаваемой в результате выборов. Разумеется, революционеры знают, какова «подлинная» воля народа в отличие от этой мнимой, несознательной, и действуют в интересах «подлинной».

Невероятные совпадения в мотивировках этих групп и тех, что мы находим в «Бесах», — как и значительные различия, вызванные прежде всего участием средств массовой информации, — пока, кажется, не соблазнили ни одного романиста, и это, возможно, доказывает, что роман перестал отзываться на события из области общественной жизни, погружаясь в крайнюю субъективность. Достоевский писал «Бесы» по горячим следам, когда еще шел процесс группы Нечаева. Но есть и другое объяснение этого отсутствия интереса литературы к событиям, что ни говори, значительным. Достоевский думал о будущем России и о той опасности, которая ей угрожает, он мыслил как защитник порядка — скажем, как хороший прокурор. Его роман, едва появившись, возмутил прогрессивную интеллигенцию как пасквиль на революционное движение. Симпатии просвещенного общественного мнения были обращены к молодым бунтовщикам всяческого покроя, которых осенял ореол героизма и мученичества и процессы которых превращались в процессы против существующего строя. Романист, который сегодня взял бы своей темой злорадный анализ мышления и поведения какой-нибудь террористической группы, встретился бы с упреком, что он сторонник существующего строя, а это среди людей определенного интеллектуального уровня считается смертным грехом. Не забудем, что философские сочинения Жана-Поля Сартра, Герберта Маркузе и других дали обоснования террористической деятельности — как в государственных масштабах (например геноцида, проводившегося в Камбодже воспитанниками Сорбонны), так и целой сети подпольных организаций. Если так много мыслящих людей явно

или скрыто симпатизирует террористу, трудно ожидать, чтобы они создали его образ — многосторонний, но негативный, — как это сделал Достоевский в «Бесах». Да и в свое время Достоевскому пришлось проломить каноны, обязательные для интеллигенции. Напрасно искали бы мы подобного восприятия под пером писателей типа Чернышевского. Следовательно, приходится отойти от общепринятого мнения, согласно которому гений вселился в Достоевского вопреки его реакционным взглядам. Верным оказывается скорее противоположное суждение: он был великим писателем, потому что обладал чем-то вроде ясновидения, а этим даром был обязан своей реакционности.

Цитированный мною выше Николай Бердяев отметил у Достоевского понимание процессов, затрагивающих нечто более глубокое, нежели социальные отношения и политика. «Достоевский был большой мастер в обнаружении онтологических последствий лживых идей, когда они целиком овладевают человеком, — говорит он. — Достоевский предвидел, что революция в России будет безрадостной, жуткой и мрачной, что не будет в ней возрождения народного. Он знал, что немалую роль в ней будет играть Федька-каторжник и что победит в ней шигалевщина». Ясно, что сегодня мы не можем не задаваться вопросом, нет ли в диагнозе Достоевского, поставленном в страхе за Россию, предсказаний, касающихся и Запада. Нетрудно принять посылку — к которой, кстати, склоняет эволюционная теория, преподаваемая в школах и университетах, — что существуют закономерности исторического развития и что сходство установок русской интеллигенции XX века и сегодняшней западной интеллигенции принадлежит именно к таким закономерностям, принося результаты там в виде падения царизма, здесь — приближая падение строя, основанного на свободных выборах. В высказываниях героев Достоевского не было места для демократии. Раскольников верил в диктаторское правление великих людей, теоретиком революционной группы в «Бесах» становится логичный в своей защите всеобщего рабства Шигалев, а могучий философский ум, Иван Карамазов, избирает Великого Инквизитора опекуном людей, которые не заслуживают ничего лучшего, ибо они всего лишь непослушные дети и, предоставленные себе самим, не смогли бы собой управлять. По существу, *la volonté générale* Руссо не входит в горизонты этих мечтателей.

В отвращении к демократии, отождествляемой с буржуазной заурядностью, они согласны с самим Достоевским, который ассоциирует в «Бесах» швейцарский кантон Ури с самоубийством Ставрогина, а Америку в «Преступлении и наказании» — с самоубийством Свидригайлова.

Западный XIX век живет торжеством новой идеи: народа как источника власти, раз после казни Людовика XVI нет больше другого источника — богоданности власти. Антимонархизм становится частью риторики свободы. В Соединенных Штатах Америки, которые возникли из бунта против авторитета английского короля, ровесник Достоевского Уолт Уитмен создает поэзию, какой еще не было, поэзию гражданина, равного среди равных. Удивительно, с какой скоростью всё это течение набирает силы и исчезает, уступая место в следующем столетии ядовитым издевательствам над свободными выборами и созданными на их основе законодательными палатами, а также над независимым судопроизводством. Принимая Жана-Поля Сартра за модель, мы находим в нем переход к иной риторике, к риторике Революции, которая характерна тем, что совершенно опускает вопрос об истоках знания — на практике это приводит к диктатуре немногочисленных «наделенных знанием», действующих якобы взамен народа, а отдельного человека лишает той защиты, которую давали независимые суды.

Вот так демократия оставлена самыми видными представителями интеллигенции, как царизм был некогда оставлен русской интеллигенцией. Соблазнительно сделать отсюда выводы на будущее, но при этом легко поддаться мнимой очевидности. Русская интеллигенция была изолированной среди крестьянской неграмотной массы, приводившей ее в бешенство своей инертностью. Приключение, случившееся в молодости Достоевского в кругах, где он вращался, не только анекдотично. Петрашевский, основатель кружка, за участие в котором Достоевский попал в Сибирь, основал для своих мужиков образцовый фаланстер по рецептам Фурье. Мужики сожгли здания фаланстера.

Изоляция интеллигента в XX веке носит иной характер. Журнал Сартра «*Les Temps modernes*» встречал публику, которая могла бы его читать, но не хотела, предпочитая иллюстрированные журналы, комиксы, телевидение. Всеобщее стремление к потреблению, успехи медицины, *permissive society* — всё это вводило

в расчет совершенно новые данные, создавая своего рода мягкую субстанцию, против которой и нацелены перья мыслителей и бомбы террористов. И как раз эта субстанция представляется чем-то устойчивым, чем-то необратимым.

Независимо от всех аналогий, различия между Россией Достоевского и сегодняшним Западом воистину слишком серьезны, включая историческое прошлое отдельных территорий, вечно присутствующее и действующее в настоящем. Функция писаного слова и переносимых в слове идей в России всегда была иной, чем в западных странах. Та сложность социального организма, которая — в отличие от России, где ее не было, — впитывала на Западе и перерабатывала разнообразные яды, существует по-прежнему, но в формах, пожалуй, всё менее и менее идеологических.

Факт возрождения в XX веке «проклятых вопросов», над которыми мучились герои романиста из отсталой России, глумится над всем, что мы знаем о «закономерностях истории». И, быть может, поиски знаков завтрашнего дня в столь неожиданном явлении стали бы умножением парадокса на парадокс. Тем не менее нигде нет такого описания основных конфликтов и напряжений XX века, как в Легенде о Великом Инквизиторе Достоевского. Русские поклонники писателя считали этот текст по силе равным Евангелию и Откровению св. апостола Иоанна, то есть столь глубоко доходящим до ядра человеческого состояния, что ему не суждено утратить актуальность. Однако его апокалиптические ноты могли только раздражать в том веке, когда текст был написан, в веке не апокалиптическом и, наоборот, полном веры в Прогресс. То, что первым читателям казалось лишь ужасающей и туманной фантазией, для нас приобрело отчетливость ощутимого. Великий Инквизитор в этой притче выступает как тот, кто знает, что человек не умеет быть свободным, что он чтит богов, а если их нет, то кланяется идолам и во имя идолов способен на наихудшие жестокости. Человек жаждет авторитета и боится свободного выбора. «Он слаб и подл, — говорит Инквизитор. — Что в том, что он теперь повсеместно бунтует против нашей власти и гордится, что он бунтует? Это гордость ребенка и школьника. Это маленькие дети, взбунтовавшиеся в классе и выгнавшие учителя. Но придет конец и вос торгу ребятишек, он будет дорого стоить им. Они ниспровергнут храмы и зальют кровью землю. Но догадаются наконец глупые

дети, что хоть они и бунтовщики, но бунтовщики слабосильные, собственного бунта своего не выдерживающие». В этой формулировке содержится так много, что текст становится почти не распу- тываемым: Достоевский, почитатель самодержавной власти царя и противник революционеров, незаметно переходит в Достоев- ского, заявляющего Христу претензии по поводу того, что Он не установил Царства Божьего на земле. Пожалуй, важнейший вывод Легенды — утверждение, что люди слишком жалки, чтобы могли стать выше законов природы, которая в свою очередь находится под контролем «великого духа небытия», то есть дьявола, и, сле- довательно, кто хочет править людьми, должен принять такое же решение, как Великий Инквизитор, — сотрудничать с дьяволом.

1982

ВЫВОДЫ ИЗ ОПЫТА ВЕКА, БЛИЗЯЩЕГОСЯ К КОНЦУ

Выступление на заключительном заседании коллоквиума

«Польша: август 1980 — декабрь 1982»

(Париж, 11 декабря 1982)

В высшей степени вероятно, что род человеческий вступает в эпоху, когда понятие человеческого будет равнозначно понятию смешного. Это предположение — увы, не попытка состричь; скорее, это вывод из опыта века, близящегося к концу. Оказалось, что предсказания science-fiction следовало принимать всерьез. Ее авторы предостерегали нас от опасности бунта машин, которые могут захватить власть над человеком, и ввели в общее употребление слово «робот», сочиненное чешским писателем Карелом Чапеком и происходящее от общеславянского слова «работа», родственного слову «раб». Это предсказание — как любые предсказания — исполняется несколько наоборот: против человека обращается не наивно воображенная воля машин, но социальные системы, над которыми человек утрачивает контроль, оснащенные компьютерами политической полиции, танками и вертолетами. Соппротивление, которое оказывают беззащитные люди, — смешно, ибо слабость — смешна. Мы близимся к новому — а может, очень старому — определению человека: существо, которое возмечтало, что оно выше ангелов, но, когда его бьют по лицу и, опрокинув, пинают тяжелыми сапогами, убеждается, что ничего не значит.

Возможно, за несметным множеством слов, употребляемых нашим исключительно болтливым веком, скрывается один фундаментальный вопрос: об истоках власти. Долгое время монархи предержали власть Божьей волей, и нам надо уметь вчувствоваться в ужас, охвативший многих двести лет тому назад при известии о казни

Людовика XVI. А следующее столетие жило великолепной риторикой воли народа как источника власти. Это была эпоха парламентов или стремления к парламентам там, где их не было, то есть к правлению демократически избранного большинства. Ни для кого теперь не тайна, что риторика свободных выборов повсюду утратила свою непосредственность и наивность, что она ощущается как нечто постыдное, а строй, черпающий свое обоснование в разделении властей на законодательную, исполнительную и судебную, защищается главным образом тем доводом, что он представляет собой меньшее зло, чем его соперники, не признающие этого разделения. Зато совершает триумфальное шествие идея завоевания как источника власти — хотя редко в обнаженном и, следовательно, отпугивающем виде. Наоборот, болтливость нашего века во многом и порождена желанием прикрыть эту устрашающую наготу политического факта многочисленными дымовыми завесами. Есть две основные черты, по которым можно узнать завоевание — как внешнее, так и внутреннее. Во-первых, организованное меньшинство — например, армия или партия — захватывает власть (не обязательно силой оружия, ибо в ход может пойти также коварство, шантаж и т.п.). Во-вторых, захватив власть, оно вводит такие институциональные перемены и так расширяет полицейский аппарат, что население превращается в пассивную массу и лишается всяких средств к сопротивлению, вследствие чего организованная группа укрепляется у власти. Мыслители XX века израсходовали массу энергии, теоретически обосновывая завоевания и в первую очередь выдавая харизматическую группу за выразителя «подлинной» — хотя и не осознаваемой им самим — воли народа. Риторика революции, наделенная огромной притягательной силой, имеет целью устойчиво замаскировать этот захват власти. Русская революция была внутренним завоеванием, совершённым в специфических условиях затянувшейся и грозившей поражением войны. С тех пор в России отпали какие бы то ни было условия, позволяющие отнять у партии монополию правления. Национал-социализм в Германии был другим классическим примером внутреннего завоевания, хоть и получил большинство голосов на выборах. Выборам этим, однако, предшествовали застрашивание и улещивание общественного мнения, а вскоре обнаружилась цель — тоталитарная система, рассчитанная на тысячелетия, которая, не будь войны, существовала бы и по сей день.

Скажем честно: возмущаться по поводу того, что произошло в Польше год назад, — это примерно то же, что негодовать на земное притяжение или закон энтропии. Половине Европы, в том числе Польше, был навязан новый порядок просто потому, что эти страны были заняты победоносной армией, а границы Империи — сдвинуты на запад. Догмой стало в этих странах сосредоточение всей власти в руках одной партии и недопущение к участию в управлении никаких людей или групп, не контролируемых партией. Если польский опыт — сначала периода «Солидарности», а затем военного положения — так потряс сердца и умы на Западе, то потому, вероятно, что тезис о партии как авангарде пролетариата, то есть о мистическом союзе правящих и подданных, внезапно, на примере одной страны, выявил свой чисто риторический характер. Можно было получить ответ на вопрос, что же происходит, когда подлинная воля народа — десять миллионов членов независимых профсоюзов — обращается против монополии власти и требует для себя части правомочий, положенных их господам, — части, ибо жители Польши проявили слишком много здравого смысла и самодисциплины, чтобы заподозрить их в желании избавиться от партии как гаранта принадлежности их страны к так называемому советскому блоку. Обнаженность действий военной хунты, выступающей именем партии, вводит некоторую новизну только тем, что раскрывает суть всякой системы, цель которой — власть ради власти.

В течение многих тысячелетий своей истории человек не раз оказывался во власти всемогущего государства, и оно нередко посягало на сферу его частной жизни. Однако никогда — до XX века — он не оказывался перед лицом безымянного монстра, очевидной метафорой которого являются компьютеры *science-fiction*. Кстати, можно предвидеть всё большее срастание аппарата власти с ее служебной технической аппаратурой. В Польше, в условиях хозяйственной разрухи, когда не хватает продовольствия и лекарств, полиция располагает современным электронным оборудованием — вот, между прочим, объяснение, на что идут в этой части Европы кредиты, предоставляемые западными банками. Мои слушатели, наверное, помнят с детства приключения Тантана и капитана Хаддока в «*On a marché sur la Lune*». В этой пророческой истории в картинках страна

по имени Силдавия, где мужики ходят в лаптях из лыка и ездят на телегах, запряженных волами, посылает ракету на Луну. А если подумать — возможность превращения всей нашей планеты в такую Силдавию заранее не исключишь.

Я не выступаю здесь с защитой так называемого польского дела. Моя часть Европы, неверно называемая Восточной — ибо это Центральная Европа, — составляет некоторое географическое и культурное целое, об общей истории которого свидетельствуют памятники архитектуры Средних веков, Возрождения и барокко. Судьбы одной из ее стран будут таковы, как судьбы соседних стран, и не следует замыкаться в национализме, ибо он служит только власть предержащим, по старому принципу «разделяй и властвуй». Год военного положения в Польше просто дает некоторые уроки, значение которых выходит за рамки отдельной страны так же, как это было после Пражской весны 1968 года и после восстановления там так называемого порядка посредством советских танков.

Понятие человеческого ускользает от определений, но приобретает конкретность, когда примером его служит чье-то поведение. Юноша, арестованный, поскольку у него нашли листовки с протестом против военного положения, оказывается перед выбором: либо пять лет тюрьмы, либо подпишешь заявление о лояльности и пойдешь домой. Он не подписывает. В глазах офицера политической полиции, который делает ему такое предложение, акт отказа абсурден: мир устроен так, что всё решает материальная сила, сила же эта, говорит он, на нашей стороне, мы ее представляем. В этом столкновении безличной необходимости, от имени которой выступает чиновник, со свободой одинокого заключенного содержится вся великая экзистенциальная проблематика. Акт отказа ни на чем не основан, ни из какого расчета не выводится — наоборот, всё говорит против него, кроме внутреннего голоса, не позволяющего отступить под нажимом торжествующего насилия. Мы все — наследники Библии и без труда распознаем здесь архетипическую ситуацию: Праведник, против которого обращаются силы мира сего, насмехающиеся над его верностью данному свыше приказу. Эти силы — Египет фараонов из Книги Исхода, Вавилон Навуходоносора из Книги Даниила, Римская империя из поздних книг Ветхого Завета, из Евангелий и Апокалипсиса. Библия

дает примеры чудесного триумфа праведников и унижения их преследователей. Красное море поглощает армию фараона, три отрока, брошенные в печь огненную, выходят невредимыми. Узник, Которого римские солдаты одели в терновый венец, оплевывают и издевательски называют царем, царствует и поныне, в то время как от Римской империи остались одни развалины. Но уверенность в себе тех, что служат материальной силе, всё такова же, и хохот их разносится громче, чем когда-либо. Всё такова же их похвальба, которую можно цитировать по греческой «Книге Премудрости», составленной во II или I веке до Рождества Христова. Они изъясняются так: «Сила наша да будет законом справедливости, ибо то, что слабо, оказалось бесполезно. Устроим засаду на праведника, ибо он нам в тягость, и противится делам нашим, и укоряет нас в проступках против закона, и разглашает отступления от того, чему нас учили. Поглядим, правду ли вещают его слова и что будет с его уходом с земли. Ибо, если праведник есть Сын Божий, Бог окажет ему помощь и вырвет из рук врагов. Оговором и пыткой испытаем его, дабы познать кротость его и терпение. Засудим его на позорную смерть, ибо, как он утверждает, он будет спасен».

Вся Библия — голос надежды. Железному порядку мира как необходимости она противопоставляет свободу, возможную потому, что Божье и человеческое неразделимы, а Праведник назван Сыном Бога. Страдание и смерть преследуемого не равнозначны в Библии торжеству палачей, ибо можно умереть и всё же спастись. Человек в тоталитарных режимах XX века, навязанных силой, чаще всего лишен той поддержки, которую доставляет великая библейская надежда прижизненной или посмертной награды. Конечно, можно сказать, что поддержки этой лишены неверующие, что атеистический гуманизм, исповедуя полный детерминизм, невольно готовит шествие тоталитаризма в планетарном масштабе и что, с другой стороны, есть достаточно много верующих, свободная воля которых находит оплот в их вере. Такое высказывание представляется мне сомнительным, ибо эрозия определенных понятий равно захватывает всех, Бог скрывает Свое лицо и не только атеистам ничего не говорит о наказаниях и наградах. И каголики не повторят сегодня за «Полиевктом» Корнеля: «Но в небесах венец уж уготован». Парадоксально, но возникает нового рода

человеческое сообщество в равенстве лишений и равном чувстве лишенности. С этой точки зрения, нет ничего более характерного, чем участие неверующих в массовых религиозных обрядах и паломничествах в Польше, и ошибется тот, кто усмотрит в этом чисто политические мотивы. Религия, как определил один польский публицист, «выполняет функцию единственной безотказной системы отсчета в ситуации полного и безраздельного недоверия».

«Полное и безраздельное недоверие» отдельного человека, а над ним, в высоте, государство, на замыслы и действия которого он не имеет никакого влияния и знает, что не будет иметь, — вот что определяет бытие жителей той Европы, откуда я родом. Те из нас, кто старался сказать правду о существе господствующей там системы, будь то писатели польские, венгерские или чешские, сталкивались и по-прежнему сталкиваются на Западе с недоверием, словно нарушили мощные табу прогрессивной мысли. И наверняка наше знание опасно. Ведь оно означает конец риторики, столь дорогой мыслителям XX века, и замахивается на то, что еще почти и не названо, на то, что начинает обнаруживаться как смертельная угроза самому человеческому существу. Можно рискнуть допущением, что силой приговоров умолкнувшего Бога история устремляется к повторению библейских архетипов, чтобы человек избавился от гордыни прогресса и обнаружил свою оставленность перед лицом государства, наново читая то, что сказано в Писании о Египте, Вавилоне и Риме.

Нет сомнения: то, что человек смешон и бессилён, постоянно опровергается его актами верности самому себе вопреки всему, теми актами, которые, мы это чувствуем, включаются в делание мира, хотя никто не знает, когда, через сколько времени они приносят плоды. Такие события, как венгерская революция 1956 года, как Пражская весна 1968-го, как «Солидарность» в Польше, были великими попытками высвободиться из-под власти лжи и обрести достоинство, и попытки эти были предприняты людьми, казалось бы, слишком растоптанными для того, чтобы они могли действовать. И каждое из этих поочередных движений шло глубже, всё больше охватывало рабочие массы. Так тоталитарное государство выращивает своего врага и мстителя за тех, кого оно унижает. Не следует строить иллюзий насчет возможности при этом строе неустойчивого равновесия, возникшего в монархиях Западной

и Центральной Европы и характерного для демократии, — равновесия между волей правителей и нажимом со стороны подданных. Польша последнего года показывает, каков единственный допустимый там род отношений между правящим меньшинством и всем остальным населением. От великих грез о конце отчуждения, от надежд покончить с эксплуатацией человека человеком осталось лишь одно послание и одно требование, обращенное к роду людскому: сдайся, человек.

1982

У В Ы ! — БЛАГОРОДСТВО

Текст доклада на конференции

«Современная Польша в исторической перспективе»

(Йельский университет, 23–25 мая 1984)

Сам себя спрашиваю, как в течение моей жизни литератора менялись взгляды пишущих людей на литературу. Мое поколение, вступавшее в жизнь около 1930 года, было проникнуто сознанием долга поэта перед обществом и неприязненно относилось ко всему, что можно было заподозрить в «эстетизме». Сегодня я лучше сумел бы определить этот конфликт, показав его на более широком, не только польском фоне, хотя нет сомнения, что наша тогдашняя нелюбовь, скажем, к поэзии Лесьмяна¹, больше всех связанного с общеевропейской поэтикой до Первой мировой войны, уже достаточно показывает, о чем идет речь.

В течение нескольких десятилетий, предшествовавших 1914 году, была четко прочерчена линия, отделявшая профессию — или прямо орден — художника от жизни человеческого *polis'a*. Джозеф Конрад в предисловии к «Негру из экипажа „Нарцисса“» утверждал, что художник обращается «к той части наших характеров, которая, ввиду условий существования, приближающихся к состоянию войны, по необходимости скрыта под более стойкими и твердыми чертами — словно ранимое тело под стальными доспехами», и тем самым он отличается от мыслителя, ученого, человека действия, которые прежде всего заняты этими доспехами. Герой романа Джеймса Джойса «Портрет художника в юности» Стефан Дедалус порывал с католической Ирландией, заявляя: «*Not serviam*» («Не буду служить»), — что можно было бы применить и к конрадовскому отказу служить Польше. Томас Манн во всем своем творчестве, начиная с «Будденброков» и «Тонио

Крегера», будет заниматься «бесчеловечностью» искусства и отделением художника от простых смертных.

С перспективы прошедших лет видно, что эта убежденность в особых правах профессии, свойственная эре символизма или от нее унаследованная, не только способствовала злоупотреблениям под лозунгом «святого искусства», но и обладала положительно сдерживающим влиянием, то есть защищала от искуса «принять участие» в событиях, поддавшись злободневным лозунгам. Это подтверждается примером выдающихся русских поэтов XX столетия, сложившихся в этой школе начала века: Мандельштама, Ходасевича, Пастернака, Ахматовой, Цветаевой.

Они сумели в необычайно трудных, порой отчаянных условиях сохранить достоинство своей лиры. Зато резкие атаки на гордое одиночество художника, на «башню из слоновой кости» и т.п., с какой бы стороны они ни исходили — часто от самих заинтересованных, испытывающих потребность в самосожжении, — уменьшали стойкость, словно настезь растворяя ворота во внутреннюю крепость.

В тридцатые годы, говоря очень сжато, в польских литературных кругах готовились предпосылки к позднему поступлению на службу делу — лишь бы это дело имело возвышенное название. Лесьмян в своем «Трактате о поэзии», там, где он сатирически говорит о коллективном короле крыс, в совершенстве воспроизводит восприятие ситуации глазами защитника искусства, воспитанного в эру символизма. Следует добавить, что *Zeitgeist* первой половины XX века обладал отчетливыми склонностями: неписанный закон предписывал литераторам быть на стороне республиканской Испании и избегать связи с правыми. Потому-то отступничество Галчинского, когда он начал печататься в «Просто з мосту»², было принято с ощущением некоего ужаса.

Сегодня, пожалуй, никто больше не способен воссоздать атмосферу конца 30-х годов. Уже весь период между двумя мировыми войнами выглядит необычайно кратким по сравнению с сорока годами, отделяющими нас от конца Второй мировой войны, — так что говорить об этих нескольких годах сползания к ней по наклонной плоскости? В общих чертах дело выглядело так, что национализм, который никогда не пользовался успехом у художников и мыслителей, принялся их завлекать, но, притянув к себе молодежь,

усиливал напряженность между поляками и евреями, что, в свою очередь, загораживало путь интеллектуальным амбициям таких журналов, как «Просто з мосту». Ибо — как привлечь эту мешаную польско-еврейскую среду? История близких друг к другу движений этого короткого периода, таких, как польская «Фаланга»³ или румынская «Железная гвардия», пожалуй, и до сих пор не написана — вероятно, в значительной степени, в силу злоупотребления словом «фашизм», которое в конце концов вообще перестало означать что-то конкретное. Эти движения как раз и были фашистскими, прямо ссылавшимися на Муссолини или Салазара. При этом они считали себя «восходящей волной», провозглашали, что будущее принадлежит им. *Zeitgeist*, однако, их не любил, и художественно-литературная община об этом знала. Потому-то как тогда, так и позднее, во время войны, в ней нашлось не много приверженцев этой «идейности»⁴, равнявшейся либо, как в некоторых странах Европы, коллаборантству, либо, как в Польше, болезненно нереалистическим грезам о польской империи. Зато уже около 1939 года существовала определенная основа, объясняющая позднейшую податливость на лозунги реконструкции или «социалистического строительства».

Путешествуя по Соединенным Штатам и принимая участие в различных литературных симпозиумах, я имел возможность констатировать, особенно у молодежи, одержимость темой долга поэта перед обществом. С трудом и ужасом я осознал, что прошло полвека с тех пор, когда и меня это волновало. Выступая в странной роли, принимаемый уже как американский поэт (на основе трех книг моих стихов в переводах), я обладаю иным опытом, нежели кто бы то ни было из моих здешних коллег, хотя мои американские ровесники могли бы обнаружить аналогии с Нью-Йорком 30-х годов, когда «неангажированным» (то есть не исповедующим различные версии марксизма) было трудно пробиться на страницы журналов.

Слушая эти дискуссии, я охвачен великой немощью⁵. Ни один фундаментальный вопрос за десятки лет не нашел разрешения, зато прибавилось знания о переменах тактики, хитростях, нападениях, увертках. Где-то в глубине у меня таится сомнение, может ли поэт быть доброжелателен по отношению к обществу. Жажда справедливости, добра, ненависть к угнетателям неразрывно

связаны с самим призванием поэта, но любое общество, в котором он живет, неизбежно противоречит его сердечным потребностям. Независимо от всяких политических теорий, моделей, лозунгов, оно всегда подчинено закону больших чисел — он же остается отдельным человеком и старается назвать то, что чувствует по отношению к обществу. Старается ли? Довольно редко, ибо он стыдится своих неприличных, не согласующихся с общепринятым, чувств. Они — «словно ранимое тело под стальными доспехами». Если обратиться к сравнениям из мира природы, в этих чувствах есть что-то общее с тревогой и даже страхом, которые охватывают нас, когда мы глядим на улей (особенно открытый) или на муравейник. Движение и энергия, но энергия отнюдь не добродушная, скорее враждебная, неотступная, ни перед чем не останавливающаяся в стремлении к цели. Я оставляю в стороне сельский тип цивилизации: хотя он подчинялся тем же законам, в нем это проявлялось иначе, как-то более разреженно.

Литература нового времени является как конфронтация с городом — например, русская литература в конфронтации с Петербургом (не без участия в этом описаний Мицкевича и их влияния на пушкинского «Медного всадника»). Город — это Молох, джунгли, таинственная чаща победоносных и побежденных индивидуальных предназначений. Нетрудно понять его роль в пробуждении революционной энергии, порожденной протестом против бесчеловечности. Вместо широких обобщений достаточно было бы исследовать восприятие отдельного человека, который идет по улице, к примеру, Нью-Йорка. Фоном всех его ощущений служит чувство пребывания в опасности. Магазины и фирмы загадочны: одни возникают, другие исчезают — не избавиться от мысли, что они постоянно балансируют на краю банкротства и рухнут, если чем-либо не привлекут клиентов. Соревнование рекламных плакатов, неоновых вывесок, витрин не невинно — в нем проявляется жажда крови. Оно также напоминает: чтобы идти по этой улице полноправным прохожим, надо быть в числе потенциальных покупателей — для бедняков же она есть ад. Чувство пребывания в опасности — это не обязательно страх нападения личности с ножом, нуждающейся в нескольких десятках долларов на героин. Это прежде всего сознание, что здесь, сейчас, во всем этом — я на поверхности, но могу упасть и превратиться в кого-то

неопределенного, не принадлежащего к учреждению, магазину, заводу, а это означает не только отсутствие заработка, но и отсутствие точки опоры. Впрочем, зло капитализма не раз было описано, но эти описания редко попадали в цель, ибо оно по природе своей онтологично и поэтому ускользает от анализа марксистов, для которых онтологическое измерение не существует.

Мы достаточно хорошо знаем строй, порожденный бунтом против капитализма и называемый социалистическим. В нем действительно черты этой войны человека с человеком, столь очевидные на нью-йоркской улице, значительно смягчены. Существует некая тайна, в оглашении которой никто не заинтересован: так называемый социализм освободил большое число людей от Адамова проклятья, то есть от труда в поте лица. В нем попросту действует иная шкала наказаний и наград — политическая, и для ее применения неважно, работаешь ты или делаешь вид, что работаешь, обладаешь профессиональной квалификацией или нет. Это в свою очередь приводит к массовой бедности и уменьшению экономического страха — как в силу иного принципа межчеловеческих отношений, так и потому, что почти некуда дальше скатываться. Однако безжалостная энергия, свойственная человеческому обществу, отнюдь не улетучилась. Как раз наоборот — да только она переместилась в аппарат репрессий и там своей жестокостью превзошла соответствующий аппарат в капиталистических странах, уже очеловеченных надлежащим законодательством. Неслыханный размах этого аппарата репрессий, его гигантский бюджет, поглощающий высокую долю национального дохода, самые современные технические средства, которыми он располагает, целые армии «полиции в погонах и без оных»⁶ — всё это направлено против отдельного человека, который не обладает никакими правами и живет в положении, близком к рабскому.

Польские писатели после 1945 года приспособились к этому строю, а многие из них даже пользовались его риторикой, цель которой, как известно, — скрыть действительность при помощи мнимого реализма. Это совершалось не без участия пробудившегося перед войной социального энтузиазма, но было и следствием взрыва патриотических и гуманистических эмоций во время гитлеровской оккупации. Нацизм доказал, что коллективная энергия, обращенная в одном направлении, — воистину воля к власти,

— не имеет никаких сдерживающих начал или границ в преступлении, и хотя трудно винить в этом немецкую философию, а все-таки делается не по себе, когда припомнишь, что в течение всего XIX века она была философией воли. Перед лицом того, что показала немецкая оккупация в Польше, нравственный рефлекс выходил у литераторов на передний план. Некоторые, правда, понимая, что, полностью поддавшись ему, теряешь дистанцию, без которой нет произведения искусства, пробовали продолжать свои довоенные замыслы (например, Ивашкевич). Однако для всех опыт войны был ключевым, и главным образом только ему предстояло поставлять темы, пока не вырастет новое поколение, уже не помнящее войны. Эта ангажированная литература выполняла также роль эрзаца, притом двойную. Она удовлетворяла официальные требования путем легкого ретуширования действительности (антигитлеровский дух, отождествленный с просоветским), то есть позволяла хотя бы затрагивать болезненные вопросы и запрещенные темы. Одновременно она давала алиби тем, кто хорошо знал, что наступило в результате договора Гитлера со Сталиным, заключенного в 1939 году: террор и депортации в той части страны, которую заняли Советы, — знал, но вынужден был молчать. А кроме того, такого рода сочинения составляли как бы естественный помет, ведущий к апологии реконструкции, проводимой под управлением коммунистов.

У писателя, который в этих условиях хотел бы сохранить свое возвышенное одиночество, было мало шансов. То есть теоретически, особенно после 1956 года, он мог это делать, и возникло определенное поле, на котором и произросла послевоенная польская поэзия, получившая всемирную известность. Но что это было — уход ли в себя, подобный отчуждению американского поэта, или, прямо наоборот, постоянная напряженность между защитой прав искусства и жаждой высказать замалчиваемую правду о жизни при этом строе? Если в качестве примера мы возьмем поэзию Збигнева Херберта — скорее второе. У него этот конфликт выступает ясно — более того, составляет самый стержень его творчества. Учтя, что польская публика была сверхчувствительна ко всяким политическим аллюзиям и именно их прежде всего искала в метафорах поэзии и прозы, можно только удивляться, как в столь нездоровых условиях могло возникнуть столько

художественно значительных произведений. Быть может, тут помогала некоторая неясность в оценке истинного положения вещей, поддерживаемая цензурой. И те, кто писал, и те, кто читал, пребывали в мире «понарошку» и потому не испытывали особых угрызений совести, исходя из того, что живут в сравнительно нормальной стране. Тем временем это была страна оккупированная, с пытками в тюрьмах и аппаратом репрессий, зависимым от Москвы. Ясное сознание этих фактов, должно быть, полностью парализовало бы художника. При определенном нагнетании общественного демонизма искусство способно лишь уставиться на него, словно кролик на удава, как это было во время гитлеровской оккупации.

Парадоксально, что некоторые утешительные лозунги, такие, как в первые годы Народной Польши «мягкая революция» (которая была отнюдь не мягкой), «реконструкция», позднее «стабилизация», и проводимая в духе этих лозунгов каждодневная пропаганда создавали своего рода оболочку, позволявшую возникнуть промежуточной зоне, где оставалось место для искусства. Росли поколения, жили своей частной жизнью, со своим ощущением относительной нормальности. Одновременно обнаруживалось внутреннее противоречие, свойственное искусству, освобожденному от общественных обязанностей, предающемуся авангардным экспериментам и скорее поддерживаемому властями, которые после 1956 года предпочитали, чтобы энергия разряжалась таким путем, отвлекая внимание от политики. Противоречие, ибо все равно в условиях политизации коллективного воображения «оторванным» произведениям угрожает вегетарианство, и мало того, что их можно обвинить в использовании уверток, но и сама сила их формы от этого страдает.

В этой-то перспективе, перспективе мира «понарошку», следует оценить подлинную революцию в сознании, которая совершилась в период, прямо предшествовавший созданию «Солидарности», в эпоху «Солидарности» и после объявления военного положения. Были разорваны завесы, и вся правда о существовании системы, как и об истории польско-русских отношений, оказалась всем доступна. Политизация воображения достигла такой высокой степени, что это можно сравнить лишь с периодом Второй мировой войны. И, как тогда, поэзии достается первое место повсюду,

где писаное слово выступает в защиту человека, против террора и жестокостей. Одновременно исчезло то промежуточное поле, где можно было оставаться, веря или делая вид, что веришь в устойчивую ценность искусства независимо от его прямых обязанностей. Образ художника, писателя, навязанный ему теперь обществом и им самим принятый, в высшей степени почетен для него в нравственном отношении: он дает ему место среди праведников. С его изоляцией от общества на этот раз, кажется, действительно покончено. Но такая интеграция не обходится без затрат и, можно сказать, противоречит самому принципу недоверия искусства к современному обществу.

Приходится, увы, констатировать, что литературные произведения, возникшие из чувства протеста против бесчеловечности, редко бывают долговечны. Разоблачения, то есть тот факт, что преступление впервые названо преступлением, по прошествии времени утрачивают свежесть, поскольку зло, против которого они боролись, стало общеизвестным. Так, когда уже всё известно о гитлеровском режиме, стихи, писавшиеся против него, некогда полные сильных чувств, остаются благородными документами, но страдают чрезмерной очевидностью. Что-то подобное может случиться сегодня и в польской литературе, что в совершенстве сформулировал Збигнев Херберт:

Наши тетрадки школьные с искренними терзаниями
с потёками пота крови слёз обратятся
для корректорши вечной в песенный текст без нот
благородно правильный чересчур очевидный
(«Рышарду Криницкому — письмо»)

Худшее последствие внутреннего нашествия 13 декабря 1981 года — не полицейское администрирование культурой и разгон творческих союзов, но вот именно эта одержимость пишущих нравственным долгом, если, конечно, они не пошли на коллаборацию. Если бы не произошел погром «Солидарности», политизация вскоре утратила бы свою интенсивность и возникло бы известное равновесие между обязанностями художника и гражданина. Однако еще раз *la Pologne martyre* притянула к себе всё внимание пишущих — воистину ревнивая богиня. И снова есть смысл

процитировать Херберта, который сознаёт противоречие и отчаянно пытается его преодолеть — именно потому он и создает поэзию высокого класса:

мы взяли на худые плечи общее дело
борьбу с тиранией ложью запись страданий
но противники наши — согласись — были ничтожно мелки
так стоит ли унижать святое слово
до бормотанья с трибуны до черной пены газет

(Там же)

Еще раз, как в XIX веке, польская поэзия оказалась на службе угнетенного народа. И если бы можно было поставить знак равенства между благородством чувств и искусством, между этикой человека и этикой художника, то следовало бы принять это как счастье в несчастье. Если, однако, в прошлом веке эта служба навязала польской поэзии одну-единственную тему и затормозила развитие прозы, то и сегодня существуют причины, по которым замкнуться в узкий круг значит еще больше отдалиться от восприятия явлений в более широком масштабе, без чего нет подлинно великой литературы.

Тема, конечно, коммунизм, борьба с коммунизмом... Тема в высшей степени универсальная, и уже само включение Польши в империю с планетарными амбициями, как и горькое знание, полученное при этом, создают исключительные возможности для польской литературы, позволяя ей бóльшую зрелость, чем та, что возможна в западных литературах. Но в то же время появляется серьезное препятствие в виде постоянного противопоставления Запада и Востока. Это противопоставление, вероятно, обладает какой-то политической полезностью, но для поэта оно пусто, ибо демонические силы XX века тогда заслоняются, а то, что является лишь симптомом заболевания, выдается за его причину. Кто-то, не помню уж кто, то ли Зиновьев, то ли Безансон, заметил, что коммунизм — это рак, то есть у него нет своей консистенции, независимой от организма: это те же самые клетки, ведущие себя несколько иначе, чем когда они здоровы. И рак распространяется по всей планете не всегда в формах очевидных и легко обнаруживаемых. Потому-то, увы, вся риторика свободы, обращенная против

тирании, звучит чуточку слишком приподнято, ибо нет такого противника, каким был, к примеру, царизм — есть лишь «огромная пасть небытия», как в стихотворении Херберта «Чудовище пана Когито»⁷. Это стихотворение — кстати, пример того, что какие бы то ни было обобщения относительно положения литературы следует принимать со щепоткой здорового недоверия, раз один поэт с высоким уровнем сознания сумел ускользнуть от правил, по которым его существование невозможно. «Чудовище пана Когито» — стихотворение универсальное, и, когда я читаю его американским студентам, как не раз это делал, они его прекрасно понимают.

Обостренное сознание — без него сегодня не может возникнуть искусство высокого полета. Но это предполагает дистанцию по отношению к социальным институтам и поиски глубоких корней вещей. То, что жизнь под властью коммунистов — кошмар лжи и уродства, стало слишком очевидно, и наступил конец аллюзиям, метафорам и сатире. Сомнительно, можно ли тут что-то еще прибавить и стоит ли. Но нельзя и уйти в «чистое искусство», свысока вззирающее на человеческие страдания. После долгих десятилетий всякого рода «ангажированности» круг замкнулся, и мы возвращаемся, по крайней мере в нашей части Европы, к недоверчивости начала века, обогащенные знанием ужаса, что таился под поверхностью иллюзорного покоя, прежде чем вместе с 1914 годом выйти наружу и сопутствовать нам по сей день.

1984

Примечания переводчика

- 1 Болеслав Лесьмян (1877–1937) — поэт, испытавший большое влияние русского символизма (и даже писавший стихи по-русски), широко вводивший в свою поэзию мотивы и поэтику фольклора. Сборник его стихов вышел в 60-е годы в Москве — прекрасные переводы Лесьмяна принадлежат, в частности, Марии Петровых. Описывая «младопольскую» поэзию, Милош писал в своем «Поэтическом трактате»:

А что до Лесьмяна, тот был логичен:
Уж если это сон, так сон до дна.

- 2 «Просто з мосту» («Прямо с моста») — журнал, созданный в 1935 Национал-радикальным лагерем (ОНР), крайне правой группировкой, отколовшейся от традиционной правой национал-демократии (подробности об ОНР можно найти в моих примечаниях к кн. Адама Михника «Польский диалог: Церковь — левые»). «„Просто з мосту“ было задумано как важное орудие идеологического наступления. Вначале журнал <...> старательно сохранял видимость надпартийной, свободной трибуны. Постепенно сознание читателей принялись обрабатывать всесторонне подбираемыми и упорно повторяемыми аргументами о еврейско-коммунистической опасности, о необходимости „империализма идей“ и создания национал-католической Польши, о пригодности опыта европейского фашизма. Редакция отнеслась к Галчинскому как к сильному потенциальному союзнику. <...> В результате Галчинский написал некоторое, сравнительно небольшое число произведений, в которых поэтически иллюстрировал лозунги ОНР» (Анджей Дравич. Константы Ильдефонс Галчинский. Варшава, 1972. — На польск. яз.). Дравич объясняет приход Галчинского к ОНР тем, что критика недооценивала его стихи и он искал более широких путей к читателю. Милош в «Поэтическом трактате» и «Порабощенном уме» видит более глубокую связь Галчинского с крайне националистической идеологией, чем и объясняет его легкий переход в лагерь националистически подкрашенного коммунизма (тот же путь проделали и многие лидеры ОНР).
- 3 Сам ОНР, в свою очередь, раскололся: его крайне правой группировкой, в конце концов запрещенной польскими властями, была «Фаланга» под руководством Болеслава Пясецкого, при коммунистах ставшего во главе марионеточной организации «мирян-католиков» «Пакс». Подробности — в примечаниях к кн. А. Михника.
- 4 Милош употребляет здесь специфически польское сокращение «идеоло», взятое из широко известной и «неизменно „противоречивой“» (Станислав Баранчак) поэмы Тувима «Бал в Опере» (1932), где оно появляется вначале на обрывке газеты (отсюда и оборванность слова), чтобы потом властно включиться в танцевальный ритм поэмы и пройти

как доминанта изображаемой Тувимом польской действительности того времени, к которой левонастроенный поэт, разумеется, относится издевательски.

- 5 Милош не берет слова «великая немощь» в кавычки, но каждый поляк узнаёт в них одно из ключевых выражений Витольда Гомбровича.
- 6 Цитата из знаменитого четверостишия Норвида. Привожу его в своем переводе:

Лихие генералы, отборные полки,
Двухснастная полиция в погонах и без оных—
Да на кого же это войной они пошли?
А попросту на слово — что, впрочем, и не ново.

- 7 Приведу (переведу) в качестве последнего примечания это стихотворение Херберта. Однако предварительно несколько слов о поэте. В год рождения «Народной Польши» ему было всего 20 лет, но он не стал добычей лозунгов «реконструкции» и «новой действительности», пленивших не одного писателя старшего поколения, не говоря о его ровесниках. Он начал печататься в краковском католическом еженедельнике «Тыгодник повсехный», а когда тот в 1953 был закрыт (за отказ опубликовать некролог Сталину на первой странице), зарабатывал на кусок хлеба, работая учетчиком в инвалидной артели, геодезистом и т.п. Его первая книга вышла только в 1956 году. «Пан Когито» — уже давно постоянный персонаж многих стихов Херберта. «Чудовище пана Когито» — стихотворение из последней книги поэта, «Рапорт из осажденного города» (Париж, 1983. Сокращенный вариант этой книги, «18 стихотворений», — вышел еще до издания «Культуры» в одном из подпольных издательств). После объявления военного положения Збигнев Херберт проявил ту же крайнюю бескомпромиссность, что и в сталинско-берутовские времена: он полностью отказался публиковаться в официально издающейся прессе и официальных издательствах. При его международной известности это большой удар по самолюбию властей ПНР. Нынешней весной Херберт награжден премией подпольной «Солидарности».

Чудовище пана Когито

1.

Счастливчик Святой Георгий
из рыцарского седла
он мог оценить и силу
и движенья дракона

первый принцип стратегии
точная оценка врага

Пану Когито
приходится хуже

сидит он низко
в седле долины
укрытой густым туманом

не разглядишь сквозь туман
ни пылающих взоров
ни когтящихся лап
ни пасти

сквозь туман
только и видать
мерцание небытия

чудовище пана Когито
лишено измерений
трудно его описать
терминов не найти

оно как депрессии туча
распростертая над страной

если б не душная тяжесть
не смерть что оно насылает
можно подумать

что оно привиденье
плод больной фантазии

но оно есть
есть несомненно

оно как чад наполняет
дома базары и храмы

отравляет колодцы
разрушает стройку ума
покрывает плесенью хлеб

доказательство его бытия
его жертвы

доказательство не прямое
но достаточное

2.

говорят разумные
что с чудовищем
можно сосуществовать

следует лишь отучиться
от резких движений
от резкой речи

при малейшей тревоге —
принимать форму
камня или листа

слушаться мудрой Природы
рекомендующей мимирию
дышать неглубоко
делать вид что нас нет

Но пан Когито
не любит жить понарошку

он хотел бы сразиться
с чудовищем в чистом поле

то-то он выходит на рассвете
в сонное предместье
не забыв захватить с собою
длинный острый предмет

взывает чудовище
по пустынным улицам

оскорбляет чудовище
провоцирует чудовище

как наездник перед рядами
армии которой нет

кричит —
выйди подлый трус

сквозь туман
только и видать
огромную пасть небытия

Пан Когито хочет вступить
в неравную схватку
это должно случиться
как можно скорее

прежде чем он падёт
поваленный силой бессилья
умрет заурядно без славы
бесформенностью задохнется

КОНЕЦ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА (О Юзефе Мацкевиче)

Прушинский, Ивашкевич... А теперь меня одолевает совсем не похожий на них человек и писатель — Юзеф Мацкевич. Перед войной он был сотрудником виленского «Слова», редактор которого, его брат Станислав Мацкевич, устраивал много шума, сражался статьями, политиканствовал, дуэлянтствовал (на саблях), попал за оппозиционность в лагерь в Березе-Картузской. А Юзеф сидел где-то в редакции, и это всё, что о нем было известно.

В 1938 году Юзеф Мацкевич издал «Бунт топей». Это были его репортажи с Виленщины, собранные в путешествиях автобусом и конной повозкой по дорогам Белоруссии. Когда я теперь в Калифорнии думаю об этих краях, они кажутся мне пленительными, обладающими редким богатством переплетенных национальных, вероисповедных, классовых нитей и богатейшей историей. Я тем более могу это оценить, что кое-что читал об истории колоний, например Караибских островов. Экзотика, пальмы, тропическое море — и кошмар полной исторической пустоты, алчности, эксплуатации, в лучшем случае летопись преступлений белых авантюристов и пиратов. Довоенная Виленщина, хоть и серая, между сосновым бором и топью, должна была и своим прошлым, и настоящим вдохновить многих писателей. Что ж поделать, если их не было. Наверно, они появились бы: двадцатилетие — слишком краткий период. Кроме того, существовали препятствия. Пишущие по-польски росли в традициях шляхетского поместья, и, чтобы увидеть более широкую действительность, им пришлось бы вырваться из этого заколдованного круга. Белорусы, окостеневшие в своем национальном сопротивлении, еще не находили сил ни на что, кроме поэзии (Максим Танк); виленская группа, писавшая

на идиш, «Юнге Вильно», того же поколения и склонностей, что «Жагары»¹, была поэтической. Вильно породило выдающегося прозаика — Хаима Граде, летописца еврейских местечек в Литве и Белоруссии, но развернулся он после войны в Америке, так же как Исаак Башевис Зингер.

Юзеф Мацкевич в «Бунте топей» составлял свои репортажи с независимостью и чувством противоречия, которые позднее принесли ему всяческие несчастья. Он вышел за рамки обычной польской орбиты и вместо поместья занялся провинцией «тутэйших», независимо от того, говорили они дома по-польски или по-белорусски, особенно явлением распространенных в этой провинции религиозных сект, равно враждебных как католицизму, так и православию. В книгу широко вошла и повседневная жизнь этих краев. Схожая Виленщина показана в романе Флориана Чарнышевича «Ребята из Новошишек», написанном в Аргентине. Его главная тема — столкновения между католиками и православными в пределах одной деревни, что означало выбор не столько национальный — быть поляками или белорусами, сколько государственный — за Польшу или за Советы. Как в конечном счете включалась бы в эту неразбериху сектантская Виленщина, мы никогда не узнаем.

Юзефа Мацкевича во времена своей виленской молодости я почти не знал. Ворчливый, из тех, чей кривоватый нос будто в рюмку заглядывает, в фуражке с околышем, часто в домотканой одежде и сапогах, он мог бы сойти за серенького мелкого шляхтича прямо из деревни. Он любил по ночам выпивать в виленских ресторанах, как и другой сотрудник «Слова», Ежи Вышомирский, но, в отличие от него, литературой не интересовался. А уж о поэзии с ним наверняка не удалось бы поболтать. Хотя, кажется, он обладал начитанностью нередкого тогда у нас рода — в русской литературе XIX века. Я не сумел бы вообразить его варшавским или краковским литератором. Он жил в городе, который оставался для него столицей Великого Княжества Литовского, и был патриотом этой земли. Думаю, что уже сегодня более молодым поколениям трудно себе представить, о каком переплетении лояльности тут шла речь и почему такие, как он, с одинаковой неприязнью относились как к польским патриотам, так и к патриотам литовским или белорусским. Недавно я перечитывал статьи и эссе Мацкевича,

изданные в Лондоне, где он говорит о «внутреннем разделе» Великого Княжества, произведенном поляками, литовцами и белорусами. «Наследник целого не объявился. Попросту не было такого. Каждый хотел только урвать себе кусок». Я считаю его в высшей степени правдивым писателем и думаю, что он отнюдь не преувеличивает, когда пишет: «Отсюда произошел спор, перерастающий в открытую борьбу за языки, за культуру, за традиции, за истолкование истории, за религию. Бои велись и кулаками, дубинками по святым церквям и костелам, ножами, оглоблями, пистолетами и, наконец, во время последней войны — доносами в гестапо или НКВД. Ненависть, по всем законам природы, порождает ненависть».

По мнению Мацкевича, польская сторона несет, возможно, наибольшую ответственность, ибо «преемники наследия всех земель Великого Княжества» были полонизированы и культурно, и политически, так что нарождающимся национализмам умели противопоставить только польский национализм. «В результате они оказались в своей стране в невыносимом положении глашатаев чужого государства, а от этого до отношения к ним подавляющего большинства населения как к иностранным агентам оставался только один шаг».

Пример моей семьи? Мой родственник Оскар Милош был первым представителем независимой Литвы в Париже, что для поляков равнялось измене. Родители моей матери, Кунаты, были лояльными гражданами Литвы польской национальности, по-литовски не говорили. У моей матери было двойное гражданство — литовское и польское, по национальности она всегда считала себя полькой, литовский язык знала слабо. Зато ее сестра говорила по-литовски свободно. Мой отец в Литве был объявлен изменником за свою принадлежность к ПОВ². Его внесли в черный список, и въезд в страну, где он родился, был ему закрыт. Тем не менее 17 сентября 1939 года, когда ему удалось добраться до литовской границы из местечка Глембоке, где он работал уездным инженером, литовцы оказались великодушны, как тогда по отношению к множеству беженцев из Польши, и, хотя знали, кто он, в Литву впустили. Там он не подвергся преследованиям за давние грехи.

Мацкевич считает единственным сознательным патриотом Великого Княжества Литовского Людвика Абрамовича, редактора-

издателя «Пшеглёнда виленского». Абрамович претендовал на целостное наследие, при полном предоставлении равных прав народам, населяющим эти земли. Его программа отличалась от всех федеративных помыслов, в том числе и от федерализма Пилсудского, ибо все они руководствовались прежде всего польскими национальными и государственными интересами. В этой перспективе нарушение поляками Сувалкийского договора и захват Вильно, как и фиктивность «Центральной Литвы», отягощали счет сторонников «ягеллонской идеи». Не знаю, как относился Мацкевич к свящ. Валериану Мейштовичу, который считал Литву созданием своих предков, чуть ли не собственностью родового дворянства, и прославлял патриархальные отношения между помещьем и мужиком. Вероятно, он включал его в число тех, польский дух которых, «сам собою разумеющийся», нес ответственность за недовереие литовцев и белорусов к идее Унии, так что они предпочитали лучше иметь дело с откровенными националистами.

* * *

Довоенное Вильно вернулось ко мне, когда я сейчас читал (в корректуре) записки Люси С. Давидович (Lucy S. Davidovich. From the place and time). Выросшая в Нью-Йорке, она провела в Вильно 1938/1939 год, занимаясь исследовательской работой в тамошнем Еврейском научном институте. Это очень полезное чтение: оно напоминает о другом важном Вильно, еврейские традиции которого принесли ему имя «Северного Иерусалима». Примерно треть населения города мало что общего имела с государством, в котором оказалась; она говорила на идише и частично, в своих верхних слоях, по-русски. Записки Давидович, не знающей польского языка, касаются прежде всего разделения на «мы» и «вы», а также преследований. Один из ее виленских друзей, журналист, лишился глаза во время студенческих антисемитских волнений 1931 года (эти волнения я помню). Последний год перед войной принес полную победу эндецкой³ программы, проводимой в жизнь ОЗОНОм: пикетирование еврейских лавок, проекты закона, запрещающего ритуальный убой скота, множество мер по принудительной полонизации, главное же — антисемитская пропаганда, в которой соревновались правительственная печать и пресса

позднейшего святого о. Максимилиана Кольбе. Вильно, по свидетельству Давидович, было опасным городом: повторялись нападения хулиганов, вооруженных тростями, так что каждая встреча с молодыми поляками грозила избиением. Давидович признаёт, что женщин и детей не били, что, однако, не уменьшало зловещего урожая таких событий.

Это Вильно, пожалуй, стоит припомнить, когда идет разговор об окончательной гибели Великого Княжества. Задиристая польская молодежь, избивающая палками своих коллег в университете и устраивающая охоту на прохожих, вскоре смогла увидеть советские танки, окруженные восторженной толпой еврейской молодежи, хотя сомнительно, связались ли у поляков в головах причина со следствием. Сцены этой радостной встречи на улицах Вильно описывает в своей автобиографической книге Хаим Граде («My Mother's sabbat days», перевод с идиш), а поскольку он был честным писателем и заботился об объективизме, он рассказывает также, как зашел в тот день в Кафедральный собор и как жаль ему было собравшейся там, смертельно печальной толпы верующих.

Ближе я познакомился с Мацкевичем в 1940 году, когда Юозас Келюотис, редактор «Науойи Ромува», помог мне попасть в ставший литовским Вильнюс, что я, кстати, рассматривал как временный этап. Мацкевич редактировал одну из двух выходивших тогда в городе польских газет — «Газету цодзенную». Заместителем редактора был мой коллега по «Жагарам» Теодор Буйницкий. Я стал сотрудником газеты, как и многие литераторы — местные и беженцы, — в том числе Святопелк Карпинский и Януш Минкевич. Много лет спустя полемизируя с моим эссе о Буйницком, Мацкевич («Об одной последней попытке и застреленном Буйницком») не соглашается с моим определением его программы как защиты «польского кантона» в пределах Литвы. И верно: никакой «польский кантон», ни Польша и ни Литва не могли удовлетворить этого наследника Великого Княжества, раз уж он хотел идти по пути Людвика Абрамовича. Однако на практике программа «Газеты цодзенной» сводилась к этому, что отличало ее от «Курьера виленского», который стал голосом польской ортодоксальности, исповедуемой большинством польского Вильно: для них принадлежность Вильно к Литве была попросту литовской оккупацией.

С Мацкевичем я ближе не сошелся: иное поколение, иной склад ума. Я уважал его как писателя и как человека доброй воли, который делает всё, что может, и от этого уважения никогда не отказывался. Что не мешало мне размышлять над его запутанной судьбой. Среди шляхты Великого Княжества было немало ярких авантюристов, к которым я причислил бы его брата Станислава, но известен был и тип авантюриста тихого и ярого, такого, который ни перед чем не отступит. Именно таким я представляю себе Юзефа. Возникает вопрос, в какой степени самовольная и никого не признающая личность, убежденная, что правота на ее стороне, имеет право или обязанность выступать против общественного мнения. Чтобы забыть, что представляет собой это общественное мнение, забыть о нашей к нему симпатии или антипатии, требуется немалое усилие, но только тогда вопрос о социальной роли конформизма приобретает смысл. Мацкевич жил в своей виленской шляхетской среде бывших кавалеристов — как и он, участников войны 1920 года, теперь обычно чиновников, но также дуэлянтов и охотников, как, к примеру, его друг Михал Павликовский с Минщины, который редактировал охотничье приложение к «Слову» под заглавием «Где же, где трубят охотничьи рога...» (так, с многоточием!). Но Мацкевич проламывал рамки и этого круга. Получив неизгладимый отпечаток русской гимназии и своего, школьных лет, фантастического интереса к книгам по зоологии и орнитологии (в чем мы были схожи), он по образованию и по навыкам наблюдения был естествоиспытателем. Может быть, эта как бы позитивистская закваска выработала в нем скептицизм в отношении к «польскому Вильно». Он вызвал возмущение этого Вильно с первых номеров «Газеты цодзенной», печатая статьи, в которых отчаяние и гнев по поводу сентябрьского поражения разряжались в бешеных нападках на всю довоенную Польшу, от которой не оставалось камня на камне. Он не любил ни Пилсудского, ни санацию (хоть и работал в санационном «Слове»), но чтобы найти теперь себе сотрудника в лице Петра Ковнацкого, «народовца»⁴, и вместе с ним издеваться над правлением «полковников», хотя прежде ничто его с Ковнацким не соединяло, — это было уже слишком. Это выглядело измышительством над потерпевшей поражение Польшей ради того, чтобы понравиться литовским хозяевам. Без устали кромсаемая цензурой и обвиняемая

литовцами в подрывных тенденциях (ибо что это за коварные разговоры о Великом Княжестве?), «Газета цодзенна» положила начало гибельным сварам, в которых скрытым аргументом против нее было «сотрудничество с оккупантом». Иначе говоря, Мацкевич проявил талант выбирать такую позицию, чтобы быть битым с обеих сторон. Нет сомнения, что чувства гнева и горечи после поражения были широко распространены и что он выражал их из действительной озабоченности, а не затем, чтобы кому-то понравиться. Но большинство, испытывая те же чувства, сдерживалось, ибо как-то нехорошо стирать грязное белье в такой печальный момент.

Вильнюс этого короткого периода, то есть включенный в независимую Литву, перегруженный беженцами, подвергнутый ускоренной литуанизации законодательно, а если надо, то и дубинкой (тех, кто недавно бил евреев, хотя не их одних, теперь били за пение в костёле по-польски), истекал млеком и медом, как это умеют устроить хозяйственные литовцы, обладал замечательными ресторанами и кафе, где торговали валютой, покупали паспорта и визы, планировали поездки на Запад, прежде же всего был городом разнообразнейших сплетен и всегда зловещих слухов. Литва, окруженная враждебными державами, словно остров спасения, притягивала несчастных, готовых рисковать своей шкурой в путешествии через зеленую границу, но, оказавшись у цели своих мечтаний, они обнаруживали, что попали в ловушку. Самолеты из Каунаса на Запад, через нейтральную Швецию, некоторое время курсировали. Я и сам обратился в неофициальное польское представительство в Каунасе, был записан, уже получил место, когда выездам положили конец. Не думаю, что напряженные польско-литовские отношения меня волновали. Хотя дружба с Келюотисом, который устраивал польско-литовские встречи, то есть встречи польских и литовских репрезентативных фигур, должна была меня увлечь в этом направлении. Замечу, что Келюотис, родом из Каунаса, польского языка не знал и как во время моего визита в Каунас в 1938 году, так и теперь мы разговаривали по-французски. (Его парижское образование оказалось плохой подготовкой для будущего многолетнего узника ГУЛАГа.) Размах и ужас событий отнимал значимость у польско-литовских стычек, и я, пожалуй, просто пожимал плечами. Мацкевич в вышеупомянутом эссе обвиняет меня в искажении истины, когда я говорю,

что «во многом ненависть между поляками и литовцами была предана забвению». Как он замечает, в Вильнюсе, вследствие националистической и неумной политики литовских властей, враждебность говорившего по-польски населения росла. Локально это верно. Однако независимо от обустороннего ожесточения существовал основной факт — факт человеческого поведения Литвы в дни сентябрьского поражения, а также, как я сказал, неуместность, даже смехотворность национальных споров.

Не сумею восстановить своих тогдашних мыслей. Это одна из моих фаз огромной, почти психопатической боли, внешне выражавшейся в службе одной навязчивой идее. Я не мог писать стихи, что, если говорить обо мне, достаточный симптом заболевания, зато всю энергию расходовал на усилия вытащить Янку из Варшавы и забрать ее на Запад, но границы одна за другой оказывались слишком опасными или непреодолимыми. Хватало забот, чтобы избегать ясного осознания обстановки. Впрочем, кто в ней тогда ясно разбирался? Шок сентября 1939 года был так велик, что это переживание требовало времени, чтобы отстояться.

* * *

Итак, Вильнюс неясный. Всё же не настолько, чтобы я утратил свои политические склонности. Мое сотрудничество с «Газетой цозенной» в значительной степени объясняется фигурой Буйницкого, так как главным образом он занимался в редакции литературой. Кроме того мне действительно ближе были «местные», чем правомерно патриотические поляки, а как родственник Оскара Милоша, который хотел Вильнюса для Литвы, я не мог лелеять в себе враждебность к «литовской оккупации».

Правительство литовского государства ничего, нам, однако, не облегчало, а наоборот — проводило в Вильнюсе неразумную политику, действуя вопреки своим же интересам. Разделение жителей на разнообразные категории ставило на большинство из них клеймо «пришлых» или «беженцев», и в этих группах оказались даже виленчане с несколькими поколениями виленских предков. Право на литовское удостоверение личности было дано только поселившимся здесь в определенный период, кажется начиная с 1920 года, но графа «национальность» в тех же удостоверениях

имела целью ограничить число полноправных граждан. Я предпочитал удостоверение личности, а не беженские документы, но какую же национальность я мог указать, как не поляк? Впрочем, это удостоверение мне вскоре пришлось уничтожить при переправе с Зофьей Рогович на территорию «Генеральной губернии»⁵, ибо оно противоречило поддельному пропуску для жителя Сувалок.

С теми давними жагаристами, которые ушли в коммунизм, контактов я не искал. Пакт Молотова—Риббентропа их полностью погубил. Одно из моих последних связанных с ними выступлений на страницах «Попросту» было одобрением Народного фронта в 1936 году, но довольно кислым, и я много дал бы за то, чтоб сегодня его перечитать. Правда, я был приглашен на собрание, когда обсуждали заглавие новой газеты после того, как цензура убила «Попросту». Это заглавие, «Карта», — мой вклад; как и «Жагары», он происходил из моего скромного запаса литовских слов. Karta значит поколение, *viena karta* — раз, по-польски значение другое, так что возникает желательная многозначность. После нескольких номеров журнал исчез, тоже запрещенный.

Политически мне теперь в Вильнюсе были ближе всего социалисты. Это была группа, создавшая собственную организацию «Вольность», в которую входили беженцы и местные. Из новоприбывших Владислав Малиновский и его жена Галина, Стефан Сальман (известный позднее как Стефан Арский) с женой Магдой Герц, Збигнев Мицнер, Зофья Рогович, Вацлав Загурский, из местных Рената Майенова, Владислав Рынца. Я держался с ними. У этой группы был могучий опекун за границей — Оскар Ланге, тогда профессор экономики в Чикагском университете. Благодаря ему Малиновские и Сальманы добрались до Америки через пространства России и Японии, кажется со шведскими паспортами. Мицнер, Загурский, Зофья Рогович и я выбрались через зеленую границу в Варшаву — я с Зофьей, которая уже пару раз совершала маршрут Сувалщина — Восточная Пруссия — Рейх — Генеральная губерния как курьер. Она была женой литератора Вацлава Роговича, ей уже было лет пятьдесят. Я вспоминаю ее как хорошего товарища.

В кафе Рудницкого напротив Кафедрального собора — и вдруг страшный грохот железа, въезд советских танков. До сих пор это для меня остается одним из самых печальных событий моей жизни, ибо я испытывал ясное сознание необратимости

и отвратительное чувство, что я свидетель того, как топчут беззащитных, без оглядки на какие бы то ни было права наций. Именно так выглядит познание несчастья. Как раз тогда пала Франция. Два чудовища делили добычу, начиная тысячелетнее, как им казалось, господство над Европой.

Что бы стало, если б я не бежал? В «Виленскую правду», как Буйницкий, или к белым медведям. Хотя Януш Минкевич и другие спаслись, заведя литературное кабаре. Впрочем, каково было содержание их текстов, я не знаю. То, что тогда наступило, верно описано в романе Мацкевича «Дорога никуда».

С Мацкевичем я не виделся с лета 1940 до лета 1944 года, когда он добрался в Варшаву. Таким образом, я не был свидетелем его деятельности в оккупированном немцами Вильнюсе. Обвинения в коллаборантстве исходили из тех же кругов, для которых он был мишенью еще в 1939–1940 гг., так что дорожка была проторена. Когда над одним из крупнейших польских писателей устраивают тайное судилище без права на защиту, стоит, пожалуй, задуматься: какие взгляды провозглашал он в своих сочинениях, и кем были его обвинители? Мацкевич в том, что он пишет, никогда не прибегает к уловкам. Ему можно верить, когда он разъясняет недоразумение вокруг фамилии — в статье «„Редактор“ Богдан Мацкевич». Можно ему верить и тогда, когда в своих романах и послевоенных эссе он неприкрыто выражает свои позиции. И его позиции, думаю, были столь абсолютно не-польские, то есть противоположные всему, что считалось очевидным в умах огромного большинства поляков, что, если б он даже был безупречен, ему полагалось бы прицепить вину. Ортодоксальный польский взгляд на идущую войну предполагал верность западных союзников и восстановление польского государства в границах 1939 года. Так верило «польское Вильно» и его армия — АК. Для Мацкевича это были грезы одного национального меньшинства, которому хотелось мимолетное состояние 20 довоенных лет признать постоянным. В этой части Европы победа могла принадлежать или Германии, или России, и как литовцы, так и белорусы и украинцы знали, что не могут делать ставку на Запад. Население земель бывшего Великого Княжества (за исключением поляков и евреев) приветствовало немцев восторженно, и, как известно, только непонятное немецкое безумие привело к перемене настроений.

Оставался коммунизм, который Мацкевич считал за большее зло. Борьбу с ним он ставил на первое место, поверх национальных интересов, и обвинял АК в том, что, действуя вроде бы в пользу союзников, она по существу помогает победе их союзника, то есть Москвы. По истечении нескольких десятилетий пора признать, что эта оценка хорошо резюмировала судьбу Польши, которая, сопротивляясь тем и другим, возлагала надежды на далеких и равнодушных третьих. К сожалению, эта реалистическая оценка хорошо служила только Мацкевичу-романисту, позволяя безжалостно показать тупики истории. Как политическая программа она ничего не стоила. Никто, даже сам Мацкевич, не поддержал бы участия в немецком крестовом походе, донельзя скомпрометированном самими немцами.

Из его сочинений следует, что если бы он мог воскресить царскую Россию, то воскресил бы, ибо считал ее государством, уважающим закон и терпимым, особенно в сравнении с тем, что наступило везде в результате Первой мировой войны. Здесь он тоже шел совершенно против польского мнения, которое охотно ставит знак равенства между Россией и коммунизмом, чему, впрочем, трудно удивляться, если, например, политика массового вывоза поляков с украинских и белорусских земель, начатая сразу после революции, была продолжением царской политики XIX века, только средства стали применяться более жестокие. Мацкевич категорически выступал против признания коммунизма специфически русским творением и не испытывал никакой вражды к русским, на которых попросту пало бедствие коммунистической власти.

Что он советовал бы в Вильно под немецкой оккупацией, трудно сказать. Если бы речь шла о войне между Россией и Германией, он заведомо, не колебавшись, встал бы на сторону России, но поскольку шла большая игра за освобождение народов от коммунизма, то теоретически он, казалось, был сторонником какого-то выжидания или договора с Германией, что, честно говоря, не отличается от коллаборантства. Это можно вывести из его послевоенных сочинений, потому что тогда в Вильно активным коллаборантом он не был.

Один из главных аргументов, используемых теми, кто безоговорочно осуждает Мацкевича, — статья Павла Ясеницы «Моральный

труп окраинного шляхтича», написанная человеком, который тогда был в Вильно и — как сам говорит: «Я служил в Армии Крайовой, был назначен заниматься пропагандой, и внимательное чтение продажной прессы входило в мои обязанности». Я задал себе труд и разыскал книгу Ясеницы «Следы стычек», в которой фигурирует этот текст. Ясеница — это, как известно, псевдоним. Под ним писал мой коллега по Студенческому клубу бродяг в Вильно, в те времена студент-историк, Лех Бейнар, которого мы звали Бахусом. Фамилия отнюдь не еврейская, как на это намекали⁶, а татарская. Бейнар происходил из татарской шляхты, хотя, насколько знаю, уже не был магометанином. И имя Лех, и позднее взятая фамилия Ясеница свидетельствуют о католическо-пястовских⁷ склонностях и его, и семьи.

Если серьезный историк и очевидец событий пишет нечто, столь преступно легкомысленное, то что же говорить о других. Бейнар был человеком чистым и неустрашимым — не желая смириться с тем, что было ясно для Мацкевича, он до конца сражался в отряде Лупашко⁸ и после войны был приговорен к смертной казни. Спас его, кажется, Болеслав Пясецкий, глава «Пакса»⁹. Не помню, чтобы в нашем Клубе бродяг Бейнар декларировал свою политическую принадлежность. Ярый эндек у нас был один — Казимеж Халабурда; его отправили в советские лагеря, где он умер от дизентерии. Из других членов клуба: наш старейшина Гасюлис был расстрелян советскими властями за то, что срывал плакаты; Буйницкий — застрелен за сотрудничество с этими же властями; Ендрыховский был «избран» в Сейм Литвы и голосовал за присоединение Литвы к Союзу.

Моральное возмущение Бейнара искренно, и, повторяя за «Сердцем тьмы» Конрада «позор! позор!», он, наверно, выражает чувства многих своих ровесников. Однако, читая его статью внимательней, в ней мало что обнаружишь, кроме эмоций.

Первый упрек относится к характеру Мацкевича, которого Бейнар обвиняет в трусости, ибо если он советовал сопротивляться коммунизму пусть даже ценой уничтожения всей польской нации, то почему не ушел в партизаны (как он сам, Бейнар)? Для тех, кто знал Мацкевича, это всего лишь демагогический прием. Второй упрек относится к роману «Дорога никуда», который Бейнар называет подлым. Почему? Потому что другие национальности в нем

показаны доброжелательно, а поляки очернены и потому что в ней нет упоминания о ЗВЗ¹⁰, из которого позднее родилась АК. А также потому, что в этой книге нет любви к родной земле, как в «Пане Тадеуше» (?). Но «Дорога никуда» существует и сама защитится. Нападки на нее, быть может, позволяют понять причины, по которым трудно быть польским прозаиком. Если бы в прошлом веке кто-нибудь изобразил Польшу так, как Гоголь в «Мертвых душах» Россию, то, несомненно, заслужил бы звание подлеца. Наконец, третий упрек: что Мацкевич печатался в газете, выходившей при немцах. Наверно, ему не следовало бы это делать. Но что он печатал? Как раз несколько глав «Дороги никуда», которую Бейнар счел пасквилем.

В травле Мацкевича приняла участие странная компания: и патриоты, и скрытые агенты тех, кто устроил катынское убийство. В высшей степени в интересах этих последних было объявить свидетеля фашистом и коллаборантом. Как раз теперь я заглянул в папку с письмами Мацкевича ко мне 1969–1970 годов. Они касаются моих стараний рекомендовать его книги американским и немецким издателям, малоуспешных, потому что каждый раз подворачивался какой-нибудь поляк, заботящийся о том, чтобы в корне задуть намерение издания книги. Мацкевич и его жена, Барбара Топорская, тоже замечательная писательница, жили в крайней нищете. Я должен согласиться с тем, что писал Мацкевич в одном из писем: в сравнении с ними Гомбрович жил отлично. Мацкевич расплачивался за свою поездку в Катынь в 1943 году по приглашению немецких властей. Из польских писателей туда ездил также Фердинанд Гётель. В Варшаве помнили его довоенную открытую апологию фашизма, а в 1940 году он проявил робкую склонность к коллаборантству: зарегистрировался как лицо свободной профессии, литератор, и коллег уговаривал сделать то же самое. Многие зарегистрировались: якобы так было безопасней. Однако Гётель обладал развитым ощущением общественного давления и заповедей патриотического кодекса, поэтому дальше в сотрудничестве с немцами не пошел. И, хотя он поехал в Катынь, никто его потом в эмиграции не клеймил как коллаборанта. Мацкевич же, который со всеми был на ножах, не считался с общественным мнением и по темпераменту был склочник, поехав в Катынь, укрепил враждебные ему настроения — никого не интересовало, что он поехал с согласия польских подпольных властей.

Должны ли были поляки, во имя высших дипломатических интересов, делать вид, что решительно ни в чем немцам не верят, и прибавить катынские могилы к числу других гитлеровских преступлений? Для этого требовалось бы подавить в себе моральный протест, требовалась бы почти сверхчеловеческая дисциплина. Советское государство прилагало огромные старания, чтобы убедить весь мир в своей невинности, и его союзники принимали это за чистую монету либо делали вид, что принимают, то есть поляки оставались одни — с правдой, которую гласили их враги. И кто же им поверил бы, коли они были известны своими антисоветскими «травмами»? Парадоксальное уравнение, достойное философского анализа.

Недавно, в гостях у знакомых, я взял случайно с полки толстую книгу американского корреспондента в Москве Гаррисона Солсбери «Journey for our times. A Memoir» (1983) и наткнулся на фрагмент, где рассказывается о поездке западных дипломатов и журналистов в Катынь. Я читал, и меня чуть не тошнило.

Кати Гарриман была в Москве со своим отцом, тогда послом в Москве. Она занимала должность в Office of War Information и выполняла роль хозяйки дома, внося жизнь и веселье в банальную обстановку. Бальный зал посольства она превратила в корт для игры в бадминтон и нашла на чердаке запас старых голливудских фильмов. Они были такие хрупкие, что все время рвались при показе, но мы их всё равно крутили.

Кати присутствовала, когда объявили новость о Катыни, и сказала, что хочет поехать. Русские немедленно пригласили ее и Джона Мелби, молодого атташе посольства. Они приготовили специальный поезд: международные спальные вагоны, вагон-ресторан, обитый красным деревом, множество икры, шампанского, масла, белого хлеба, копченого лосося, пирожных, беф-строганова, киевских котлет, — и мы тронулись, чтобы посмотреть на одну из великих трагедий войны.

Русские отбили Смоленск в сентябре 1943 года и теперь готовились к запуску своей пропагандистской бомбы. Западные корреспонденты были приглашены как часть декорации. Я не думаю, что участие Кати Гарриман и Джона Мелби было частью расчетов политики США. Думаю, что это произошло в результате продиктованного минутным настроением рефлекса, хотя Авереллу Гарриману действительно надоели «лондонские» поляки и, вернувшись из Катыни, он сказал мне, что давно был убежден

в том, что поляки попались на удочку немецкой версии преступления, и увиденное им укрепило его в этом убеждении.

Я глубоко благодарен советскому отделу печати за устройство этой поездки. Она была (и остается) хорошим уроком советских методов. Неуместной была роскошь этого поезда, снабженного белоснежным постельным бельем, перинами, душистым мылом, одетыми в белое официантами, роскошь, словно для царя.

Впрочем, это мог быть один из царских поездов. Сидеть в вагоне-ресторане за столом, полным бутылок, хрусталя и серебра, тарелок, на которых громоздились закуски, и из-за кружевных занавесок видеть рядом, на соседних путях, деревянные теплушки, откуда раненые красноармейцы, с головами в кровавых бинтах, руками в гипсе, ампутированными ногами, смотрели на нас, трясаясь возле своих печурок, было почти невыносимо.

Автор этого свидетельства, как и другие журналисты, не был убежден мнимыми доказательствами, которые им представили. Поэтому он воздержался и не высказал мнения, чьих рук дело Катынь. Но американский посол в Москве Аверелл Гарриман дал себя убедить. А иметь своим врагом американского посла — это, конечно, усугубляло катастрофическое положение польского правительства в Лондоне.

Юзеф Мацкевич видел катынские могилы и написал то, что увидел. Случайно он оказался также свидетелем того, как немцы уничтожали евреев в Понарах, и об этом тоже оставил содержательный отчет. И пока будет существовать польская словесность, два эти описания ужаса XX века должны постоянно оставаться в памяти, чтобы давать критерии тогда, когда литература слишком отдаляется от действительности.

Мацкевич был писателем-реалистом, и в сравнении с его страстным воспроизведением «как это было на самом деле» другие виды реализма обнаруживают свою бледность или фальшь. Ему была чужда вся высокая софистика литературных дискуссий, и он не размышлял над непреодолимой дистанцией между действительностью и словами. Ни над повсеместно объявленным концом романа. Старосветский из упрямства, он пользовался языком как инструментом, не позволяя стилю захватить самостоятельность и одержать верх над пишущей рукой. Роман по-прежнему был для него «зеркалом на большой дороге», и он заботился об абсолютной верности деталей.

«Дорога никуда» вместе с «Не говорите об этом вслух» составляет эпос конца. Это конец Великого Княжества Литовского или же его остатков, какими они сохранились к 1939 году, конец и Вильно как города с польским и еврейским населением. Другой летописи, кроме этого романа, нет. Это картина жизни при советской власти с июня 1940 по июнь 1941 года, то есть до нападения Германии на своего вчерашнего союзника, а затем при немецкой оккупации. Последние главы второго романа дают картину Варшавы 1944 года, где тогда оказался Мацкевич, беженец из Вильнюса.

Произведения Мацкевича о войне совершенно исключительны в обширной польской литературе на эту тему. В ней обязывает патриотический стандарт, борьба поляков с немцами. Мацкевич к этому стандарту остался более или менее равнодушен, в чем можно усматривать его собственную неприязнь к расхожим понятиям и влияние международного Вильно. Две фундаментальные польские позиции сталкивались друг с другом в этом веке: независимость Польши как цель всех боев и трудов и жертвование этой независимостью во имя коммунистического интернационализма. Ни одна из них не находит у Мацкевича одобрения — более того, он относится к ним враждебно. Те, кто отверг независимость во имя коммунизма, как в Вильнюсе Дембинский или Ендрыховский, для него являются не столько изменниками Польше, сколько агентами государства, несущего бедствие людям разных народов. А борцы за независимость — и отсюда его негативная оценка АК — ослеплены своей сосредоточенностью на борьбе с немецким оккупантом и не отдают себе отчета, что, рассчитывая на победу западных союзников, они готовят победу союзника этих союзников, то есть России. Мацкевич в своих романах и публицистике выступает как сторонник антисоветского интернационализма, или антикоммунистического интернационализма. Из этого вытекают серьезные последствия, в том числе и художественные, ибо его персонажи делятся не по национальным критериям. Среди тех, к кому он относится с сочувствием, есть поляки, литовцы, белорусы, русские эмигранты, вpletенные в разные подпольные движения, потенциальные участники коллективного, международного сопротивления системе.

Трудно трактовать всерьез всё, что писал Мацкевич-антикоммунист. Некоторые его статьи своей одержимостью почти граничат с паранойей, согласно известному образцу выискивания агентуры

повсюду, даже в Ватикане. Так что, составляя сборник его публицистики, следовало бы помнить, что он платил фантазиями или даже безумием за постоянство своих взглядов. Отсев очевидных ошибок — посмертный удел, пожалуй, всех пишущих, и мысль об этом должна предостеречь нас от выступлений в тоге суровых судий.

* * *

Два полученные вчера письма стали для меня переживанием: одно от Я., другое от М. Эти мои ровесницы и соученицы по юридическому факультету виленского Университета им. Стефана Батория не только ведут меня ниточкой чувств в прошлое, но существуют как личности столь ценные, что я считаю себя счастливым, имея возможность думать о них. Ибо в этом нашем городе были необыкновенные девушки, и сколь же нищи все те, чья память не может обратиться к таким высоким человеческим образцам. И я это говорю сейчас, когда они поседели и растят внуков, а я более или менее знаю их жизнь, полную ошибок и трагедий.

С М. мы никогда не были близкими друзьями, но я обращал на нее внимание. Записываю себе в плюс, что выпуклые стекла близорукой девушки не помешали мне оценить ее очарование. Она была прелестна, хорошо сложена, но, конечно, ей было не до финтифлюшек, поскольку она упрямо преследовала великие цели. Она и ее сестра принадлежали к узкому кругу вокруг Ендрыховского и Дембинского, а позднее, в послевоенной Польше, к известным фигурам «виленской группы»¹¹. Они выросли в глубоко католической семье и в коммунизме обрели новую религию, так же, как Зося Вестфалевич, жена Дембинского, сестра которой была монахиней.

Письмо М., написанное ее смелым, решительным почерком, комментирует, между прочим, мое стихотворение о нарушении табу бросанием камня в змею, которое она нашла в изданном в Польше «Свидетельстве поэзии», и прибавляет: «Но раз уж мы говорим о змее, напишу тебе о рыбах. В детстве я вошла в кухню, где прыгали живые, очищенные прислужгой рыбы. Я всегда чувствовала близость к животным. И я принялась убивать их (из жалости), разбивая им голову об стену. Я вся была в их крови. Это была ситуация, из которой не было хорошего выхода. Но я задумываюсь, не была ли я потом, уже взрослой, как те воспитанники Сорбонны».

В нескольких фразах М. (наш юридический факультет растил людей выдающегося ума) дает историю свою и своей группы. Жалость к людям вела к ангажированности, которая не была хорошим выходом. А воспитанники Сорбонны, выросшие на философии Сартра, практиковали террор и геноцид в Камбодже.

Далее М. пишет:

Чтобы было веселей, напишу, как я тебя помню. Спуск из зала Снядецких, ты летишь во главе группы рабочих и студентов, прогоняя эндецких штурмовиков, которые хотели разогнать вечер поэзии разных народов. У тебя такая мина вурдалака, которую ты умел строить, зубы оскалены, глаза вытаращены, в руке обломки стула. И вопишь диким голосом.

Другая картинка: мы стоим у стола в Круге правоведов и о чем-то спорим, не помню о чем — пожалуй, о политике, потому что ты говоришь мне со злостью: «Ты всегда была и останешься фанатичкой». Видно, попал в точку, если я это помню. Я пережила два фанатизма, на третий меня не станет. Это результат не только старости, но еще и литературы, которая сопутствует мне с детства.

В другой части письма М. говорит о речи Бродского в Стокгольме в честь литературы:

Иосиф Бродский в своей Нобелевской сказал то, что я хотела тебе написать, только куда лучше.

То, что я думаю о них, этих девушках из Вильно, а ныне старых женщинах, собственно не поддается пересказу прозой, ибо так нагружено эллипсами и так многослойно, что потребовало бы какого-то особого рода любовной поэзии. Время в ней, наверно, отодвинулось бы в те годы, когда мы были в младших классах гимназии, когда М. убивала рыб в кухне, а Я. носила матросский воротничок формы школы сестер-назаретянок. Вероятно, в этих упорно возвращающихся образах общности через детство выражается моя тоска по возврату, по *apokastasis*, то есть начинанию заново, а значит, по моменту, когда еще ничто не должно было быть так, как стало позднее, когда мы еще (воображая себе какую-то совершенно иную эпоху, иные обычаи и т.д.) не должны были быть разделены. А кто знает, не рождается ли такая любовная

поэзия из грез об «ангельском поле» Сведенборга, из желания полного отождествления, почти превращения в другого, не беспокоило, а с проникновением также в его иной пол.

О письме Я., беспокоящейся о моем здоровье, лучше не писать. А то пришлось бы вытянуть сразу много нитей. Озадачивает меня ее постоянная минорная склонность к преуменьшению себя, вплоть до того, что, если ей верить, неправда то, что она обладает выдающимся умом и характером. А о себе, о своей болезни, о вероятности скорой смерти — всегда небрежно, как бы пожимая плечами.

Вечер поэзии разных народов, о котором вспомнила М. Противясь «национальному» Вильно, мы заводили разные контакты, и думаю, что некоторые следы их вспоминаются, например в 1972 году в поезде Роттердам — Париж, когда, возвращаясь с фестиваля поэзии, мы распили четвертинку с Абрамом Стуцкевером, который пережил виленское гетто и стал автором самой главной книги о немецких преступлениях в Вильно. Думаю также, что эти контакты объясняли, хотя бы частично, секрет Владислава Рынцы. Ибо как стать миллионером во время войны, основав транспортную фирму? Рынца (в просторечье «Рука») был родом из Силезии. В Вильно он оказался как студент — еще один мой коллега по юридическому факультету. Политически он был родом из «Стрельца» — как другие (Ендрыховский) из «Легиона млодых», а это был период «полевения» этих организаций санации. В университете он стал одним из главных активистов нашего антиэндецкого блока на выборах в «Братскую помощь»¹², отличился также как замечательный оратор. Что он делал в 1934–1939 годах, не могу сказать (адвокатура?) и, наверно, уже не сумею разузнать, как из бедного шахтерского сына он превратился в финансового магната, оперируя с 1941 года — где? — на линии Вильно — Минск — Варшава, то есть на национально смешанных территориях, как раз на тех, которые описал Юзеф Мацкевич в романе «Не говорите об этом вслух». Мне кажется, что одним из заслуживающих внимания факторов было огромное количество наличных в Вильно — в золоте и долларах, — которые ни во что не окупалось вкладывать. Компаньон Рынцы Кривицкий был рижский еврей и, возможно, мобилизовал эти капиталы. Кривицкий работал в бюро фирмы в Вильно и Минске, которые были

ликвидированы по мере приближения фронта, и в 1944-м явился в Варшаву, где я с ним познакомился. Его спасали отличные «арийские» бумаги, в Вильно вообще была одна из самых артистических мастерских поддельных документов. Из Варшавы, не дожидаясь, пока придут русские, он выехал в Прагу и там погиб при неизвестных мне обстоятельствах. Другим фактором успеха Рынцы был, наверно, его дипломатический талант и отсутствие национальных предрассудков. Фирма имела прикрытие как занимающаяся поставками для армии и держала на жалованье высокопоставленных немцев. На самом деле она проводила крупные валютные операции на черном рынке. А грузовики шли нагруженные чем угодно, только не поставками для армии, и оружием, конечно, но не предназначенным для немцев. Рынца был членом нашей социалистической «Вольности» (и связным между Бундом в виленском гетто и Бундом в варшавском гетто), а следовательно, принадлежал к «лондонскому» подполью, для которого важна была возможность пользоваться такой транспортной сетью. Он возил деньги и оружие для отрядов АК, но полагаю, что дорогу на Минск, шедшую через леса под контролем советских партизан, он сумел обезопасить благодаря соответствующим отношениям и оказываемым услугам. Его грузовики перевозили также спасенных из виленского гетто евреев — не за деньги, если судить по истории Северина Тросса. Тросс печатался перед войной в журнале «Орка на ужоже», как и мой брат Анджей, и в Вильнюс прибыл беженцем из Варшавы. Мой брат скрывал этого своего коллегу в виленской квартире наших родителей на Заречье, на Поповской улице. Затем Тросса и его жену посадили на грузовик Рынцы и довезли до Варшавы, где я нашел для него хорошую хату. К сожалению, они погибли во время варшавского восстания — не как евреи, а просто в числе гражданского населения. Вся деятельность фирмы была, с немецкой точки зрения, преступной, и трудно себе представить, что не было ни одного провала. Талант Рынцы и тут показал себя, ибо он создал коллектив (помню его шоферов), на который мог полностью полагаться, скрепленный более здоровыми принципами, чем отношения начальника с подчиненными. Семейственность этой группы «своих парней» из Вильно исключала донос, самую частую причину катастрофы.

Я писал о Владеке Рынце в «Родимой Европе», называя его буквой В., но снова к нему возвращаюсь, ибо он мне действительно импонировал и я до сих пор стараюсь понять, как он это всё делал. После войны он основал, как и планировал, издательскую фирму и наверно стал бы магнатом издательского рынка, однако предприятие тут же прикончили в рамках борьбы с частной инициативой. Тогда он стал адвокатом и специализировался по делам о наследствах, в частности американских, пользуясь тем, что в результате связей с «виленской группой» получал паспорта на заграничные поездки.

* * *

Судить Мацкевича по политическим критериям близоруко. Допустим, он был маньяком, Дон Кихотом, утопистом, тем не менее его политическая страсть питала его писательство, которое было строго реалистическим, но одновременно хотело служить, то есть проводить определенную тенденцию. А тенденции вытекали из его честности и морального возмущения. Он постоянно спрашивал: «Как это возможно?» — и хотел быть гласом вопиющего в пустыне, когда все остальные молчали. К счастью, он не был политиком.

Последние главы романа «Не говорите об этом вслух» позволяют понять меру различия между Вильнюсом и Варшавой, как ее чувствовал прибывший из Вильнюса летом 1944 года Мацкевич. И нарисованная им картина Варшавы, свихнувшейся, легкомысленной, равнодушной к раздающимся то там, то здесь выстрелам, гордой своим героизмом, веселой, ибо победа близка, — эта картина верна. Для Мацкевича это была беззаботность детей, которые не желают знать, что вот-вот — и от их игрушек ничего не останется, как не осталось в Вильнюсе.

Приехав в Варшаву, Мацкевич выразил желание встретиться со мной и Янушем Минкевичем. У нас был долгий разговор. С его стороны это был повторяемый на все лады вопрос: «Как это возможно?» Теперь, когда всем ясно, что союзники далеко, — и ничего? Никакой попытки договориться, хотя бы в последний момент, с терпящими поражение немцами, уже склонными к уступкам? Теперь же можно было бы издавать журнал или газету, чтобы вслух

говорить правду о советской оккупации, подавляемую польским подпольем на службе Лондона, а косвенно — Москвы. Мы слушали недоверчиво, как слушают полоумного. И высмеяли его. Мы сказали ему, что он совершенно не знает здешних настроений, что никто бы с таким изданием не стал сотрудничать, что коллаборантам Эмилю Скивскому и Феликсу Рыбицкому никто руки не подает, а он, начини издавать такой журнал, будет заклеен как предатель. Мацкевич ничего не сказал нам о газетке «Аларм», три номера которой они, кажется, выпустили весной 1944 года вдвоем с женой.

Рассказывая это, я не считаю, что даю обвинительный материал на Мацкевича, который в этом случае выступал за коллаборантство, из чего можно было бы сделать вывод, что он занимался этим и раньше. Вывод такой неверен. Тогда это был человек в отчаянии, быть может, в большем отчаянии, чем я и Минкевич, так как мы сохраняли какую-то надежду.

* * *

Хорошо, что я вспомнил о Владиславе Рынце и его деятельности в треугольнике Вильно — Минск — Варшава, ибо это дает некоторое представление о невероятной густоте и путанице тамошних человеческих судеб во время немецкой оккупации. Их картина может противоречить польским представлениям, сильно искаженным патриотическими условностями. Действительность военных лет на этих территориях к тому же полностью скрыта и переработана официальными историками. Фактом было то, что немцев там встречали как освободителей, и если бы не их безумие, то народы полностью стали бы на их сторону. А в сравнении с тем, как всё сложилось, схема борцов и коллаборантов включает едва малую частицу правды. Это была трехсторонняя игра, причем огромное большинство населения лавировало, ища гарантий у тех и других, а кроме того существовали независимые анклавов, словно бы отдельные крошечные государства, основываемые вооруженными вожаками. Знание всего этого изменяло угол зрения Мацкевича, хорошо служа его объективизму.

Романы Мацкевича склоняют к скептицизму в отношении литературы, неустанно приготавливаемой поочередно под разными соусами, под соусами принятой в данный момент моды, идеологии,

политики и т.д. В его романах живое повествование, они захватывают так, что «нельзя оторваться», то есть исполняют все условия, необходимые в те времена, когда роман занимал место, занятое позднее кино и телевидением. Пожалуй, всегда существовали литературы профессиональная и непрофессиональная. Мацкевича никто не хотел признавать своим: и потому что он такой литературно отсталый, и потому что жуткий реакционер, — но читали взахлеб. И, по-моему, он побил своих соперников, пишущих более изысканной прозой. Побил художественно. К ним можно отнести высказывание советского солдата: «Французы в шелках, а войну проиграли». Его проза — плотная, экономная, функциональная; то, что он описывает, видишь, а уж особенно пейзаж его родных мест. Из известных мне польских писателей никто так не писал. Но и Прус, и Жеромский были в сравнении с ним профессиональными писателями. Серенький шляхтич, как я его назвал, один из тех упрямых, презрительных, яростных молчунов, писал мало. Назло всему свету, который черное называет белым, и нет никого, кто наложил бы вето. Именно в этой страсти секрет его стиля.

Примечания переводчика*

- 1 «Жагары» — группа молодых виленских поэтов, к которой принадлежал Чеслав Милош.
- 2 ПОВ (Польска организация войскова) — подпольно формировавшиеся военные соединения, созданные в 1914 в Варшаве по инициативе Ю. Пилсудского.
- 3 В октябре 1920 части польской армии, в нарушение заключенного в Сувалках договора между Польшей и Литвой, отвоевали Виленщину и создали там отдельное государственное образование — Центральную Литву, в 1922 включенную в состав Польши.
- 4 Эндеки — национал-демократы, партия, существовавшая с конца XIX века под несколькими меняющимися названиями. ОЗОН — правительственный Лагерь национального объединения, проводивший политику санации (оздоровления), в которой нашли отражение многие эндецкие идеи, хотя сами национал-демократы находились в оппозиции к правительству.
- 5 Западная часть Польши была прямо включена в земли Третьего Рейха, центральная и восточная получила название Генерал-губернаторства.
- 6 Имеется в виду травля Павла Ясеницы коммунистической пропагандой в 1968 в рамках кампании, имевшей выраженную антисемитскую окраску. Тогда-то Гомулка, а за ним и другие усиленно подчеркивали настоящую фамилию Ясеницы.
- 7 Пястовские идеи, в отличие от ягеллонских, федеративных, — идеи национально однородного польского государства. Можно заметить, что Гитлер, уничтожив евреев, и Сталин, сдвинув границы Польши на запад, сформировали в Польше коммунистическое государство «пястовского» типа.

* В примечаниях не даны пояснения к понятиям и особенно к именам, для понимания смысла которых в контексте данной статьи достаточно того немногого, что сказано о них в самом тексте.

- 8 Майор Лупашко (наст. фамилия Шендзележ), командир 5-й виленской бригады АК, участвовавшей в освобождении Вильнюса, но не явившейся на место сбора — встречи с Красной армией, где другие виленские части АК были разоружены, а отошедшей к западу и после окончания войны частично оставшейся в лесах. В 1946 большинство ее бойцов, как те, что вышли из лесу по объявленной амнистии, так и те, что оставались в партизанах, были расстреляны без суда в Гданьской тюрьме. Лупашко был схвачен в 1947 и повешен.
- 9 «Пакс» («Рах») — прорежимная католическая организация. Ее вождь Болеслав Пясецкий до войны возглавлял праворадикальную организацию фашистского толка «ОНР-Фалангу».
- 10 ЗВЗ (Звёнзек вальки збройной), Союз вооруженной борьбы — создан осенью 1939. В 1942 преобразован в АК (Армия Крайова).
- 11 «Виленская группа» — по нынешней терминологии, неформальная, но влиятельная группа довоенной виленской коммунистической и прокоммунистической интеллигенции, стоявшая в ПНР близко к партийному руководству, главным образом благодаря видной роли в нем Стефана Ендрыховского. Упомянутый в тексте Генрик Дембинский в 1941 расстрелян гитлеровцами.
- 12 «Братская помощь» — организация студенческой взаимопомощи.

О ПОЛЬСКО-ЛИТОВСКОМ КОНФЛИКТЕ

Вильнюс сегодня — город, где происходят события огромного значения, притом из самых радостных в нашем веке, обычно склоняющем к пессимизму. Вопреки ожиданиям, наступило резкое пробуждение общественного мнения, возрождение человеческого достоинства и духа правды. Еще в 1980 году, когда я в своей стокгольмской речи упоминал о тайных протоколах к пакту Молотова—Риббентропа и судьбе прибалтийских государств, казалось, что, руководствуясь одним нравственным долгом, я всего лишь вношу бессильный протест против раздела Европы, но что история навсегда останется фальсифицированной. Сегодня об этих событиях в Вильнюсе пишут открыто. Независимо от того, сколько свободы для республики сумеют завоевать литовцы, важнее всего обретенная свобода самоорганизации снизу, которую стремилась уничтожить вся система полицейского воспитания. Как оказывается, безуспешно.

Однако из Вильнюса приходят и тревожные известия — о возрождении польско-литовского конфликта. Похоже, что польское национальное меньшинство поглядывает на происходящее исподлобья, словно не чувствует себя ответственным за судьбу своей страны. Несомненно, здесь действуют застарелые обиды и недобрые чувства, как известно, с трудом поддающиеся рациональному объяснению. Правда, пытаясь представить себе жителей Вильнюса с родным польским языком, особенно молодежь, должен признаться, что положение их нелегкое, именно по причине всего того, что идет от прошлого и заставляет их почти автоматически становиться на позиции, недружелюбные по отношению к дорогим для литовцев символам, например трехцветному литовскому флагу на Замковой башне.

Принадлежать к меньшинству в городе, где все перед войной говорили по-польски (не считая большой доли говорящих на идише), более того, принадлежать к меньшинству, к которому относятся с пренебрежением — ибо интеллигенция после 45-го года эмигрировала, а остались самые бедные и малограмотные, — вот каков поворот исторического предназначения. Интересно, какой совет мог бы я дать молодому человеку из Вильнюса, который говорит и пишет по-польски (и даже пишет стихи — есть и такие), если бы он обратился ко мне с вопросом, что делать. Мне пришлось бы признать, что своей принадлежностью к меньшинству он обречен на защитные рефлексy и определенный провинциализм, поскольку, обращая взоры к Польше, он там локализует свой культурный центр, а здесь лишь стремится сохранить язык. Иными словами, он находится в диаспоре, что всегда неуютно и неплодотворно, а более активную личность может подтолкнуть к выбору в пользу литовского или русского языка.

На мой взгляд, существует все-таки другой выход, который состоит в освобождении от ряда бессознательно принимаемых стереотипов. Это требует немалого труда, который, верю, раньше или позже будет предпринят с прочными успешными результатами для польско-литовских отношений. И, пожалуй, именно в Вильнюсе его можно было бы начать.

Дадим волю фантазии и вообразим себе несколько вариантов истории Литвы, весьма отличных от того, какой ей достался в действительности. В течение нескольких веков польский язык в Литве был тем же, что английский в Ирландии, а шведский в Финляндии. Три эти страны были очень разные, а схожи только в одном — в политической зависимости Ирландии от английской короны, Финляндии — от шведской, Литвы — от польской. Схожим было и внедрение чужого языка сверху: он был принят землевладельцами и распространился среди образованного слоя, в то время как деревня сохранила родной язык. Этот язык не везде вернул себе утраченные территории: хотя ирландский язык существует, языком независимой Ирландии стал английский. Ирландия дала английской литературе замечательных поэтов, которые обычно не подчеркивали своего ирландского происхождения, но пришел момент, когда они стали глашатаями ирландского патриотизма, хотя писали по-английски. Уильям Батлер Йейтс

принадлежит Ирландии, а не Англии, Джеймс Джойс, хоть и бунтовал против понятия национального служения, остается писателем Дублина, Сэмюэл Беккет, пишущий по-английски и по-французски, остается ирландцем. Никто не назовет англичанином и выдающегося современного поэта Шеймуса Хини. Отступление ирландского языка означало, что английский приняло население городов, городков и большинства сельских местностей, так что лишь самые отдаленные уголки продолжали держаться языка предков. Английский язык занял свое место в школах, церковных проповедях, книгах и газетах, но пользование им не означало для ирландских патриотов выбора в пользу Англии.

Шведский язык в Финляндии, как и английский в Ирландии, был языком литературы, и тамошние поэты барокко попросту считались шведскими поэтами. Однако это переменялось в XIX веке. Большое значение имел тот факт, что финский национальный гимн (1848) был написан шведскоязычным поэтом Иоганном Людвигом Рунебергом. В противоположность ирландскому языку, финский сохранился неплохо и примерно тогда же начал соперничать со шведским, входя в литературу; тем не менее появилась и очень жизнеспособная шведско-финская поэзия и проза, в высшей степени сознававшая свою принадлежность к стране и развивавшаяся своеобразно. Она получила в международных энциклопедиях особую рубрику как литература Finland-Swedish. Из этих энциклопедий можно узнать, что в первые десятилетия нашего века самые смелые новаторы шведского языка не были шведами. То, что в Финляндии могли появиться Эдит Сёдерган (1892–1923), Раббе Энкель (1903–1974), Гуннар Бьёрлинг (1887–1960), свидетельствует о наличии в Финляндии кругов, которые давали и стимул, и читателей, финская интеллигенция говорила преимущественно по-шведски. Создатель независимой Финляндии генерал Маннергейм финским языком не владел. В независимом государстве два языка были признаны равноправными, ими пользовались в печати и на радио. В последние десятилетия финский приобретает всё больший перевес, хотя по-шведски по-прежнему выходят журналы и пишут выдающиеся поэты, продолжающие традиции литературы Finland-Swedish, как, например, Бо Карпелан (1926 г.р.).

Когда Литва в результате разделов Польши досталась России, она была сильно полонизирована. По-польски говорили

в помещичьих усадьбах и среди мелкопоместной шляхты, а также рабочие и ремесленники в городах, если их языком не был идиш. Сознание особого характера Литвы, сохраняемое как наследие Великого Княжества Литовского, возрождается в эпоху романтизма, но оно отнюдь не равнозначно возврату к литовскому языку, ибо те, кто выражал это сознание, говорили и писали по-польски. Огромную роль в начале XIX века играл в этом Виленский университет.

Это был польский университет — и по языку преподавания, и в силу места, занимаемого его профессорами в польской культуре, гордостью которой по сей день остаются Петр Скарга и Мацей Сарбевский (со времен, когда университет еще был иезуитской академией), а затем Ян и Енджей Снядецкие, Мартин Почобут, Станислав Юндзилл. Именно там, среди студенческой молодежи, и родился польский романтизм, не без германских влияний (в частности Гердера), которые способствовали увлечению фольклором, рассуждениям о «народной душе» и формированию свойственного новому времени понятия нации. Произведения Мицкевича и Словацкого вскормили польский патриотизм. Но не будет преувеличением сказать, что само имя Литвы было призвано к жизни польским романтизмом. Правда, еще в 1806 году Ксаверий Богуш, родом из Жмуди, читал в Варшаве научную работу «О началах литовского народа и языка». Рано написал и Феликс Бернатович (Гейштовт?) свой роман «Поята, дочь Лиздейки, или Литовцы в XIV веке», изданный в 1826 году. Другие даты выхода трудов о Литве убедительно показывают их генеалогию, связанную с романтизмом. Теодор Нарбутт в 1820 году выпускает «Краткий очерк истоков литовского народа, из разных старинных авторов собранный». В 1835–1841 годах в Вильне выходит его двухтомная «Древняя история литовского народа», затем в 1846-м — «Памятники литовской истории», наконец, в 1856 году — «Мелкие исторические сочинения, особенно к истории Литвы относящиеся». Юзеф Игнаций Крашевский посвящает Литве и Жмуди свои «*Anafielas. Песни из преданий Литвы*», выходившие в Вильне в 1840, 1843, 1845 гг., после чего в своем виленском журнале «Атенеум» публикует в 1844 году «*Dainos*» и, наконец, издает в Варшаве двухтомный труд «Древняя Литва. История, законы, язык, вера, обычаи, песни, пословицы, предания и т.д.». Ксендз

Людвик Адам Юцевич, родившийся в 1810 году, учился в Виленской духовной семинарии в период величайшего влияния польской романтической поэзии, поэтому понятен его интерес к фольклору. Он знал литовский язык и собрал «Пословицы литовского народа» (1840). Он чувствовал себя литовцем и горевал, что «вайдалоты наши» (Мицкевич) говорят на чужом языке, однако сам писал и издавал свои труды по-польски: «Литовская история для детей» (1840), «Очерки Жмуди» (1840), «Воспоминания о Жмуди» — посвященные Ю.И. Крашевскому, наконец, «Литва с точки зрения древних памятников, нравов и обычаев» (1846).

Думаю, что литовцы позднее принесли себе много вреда, отмежевываясь от многоязычного прошлого Великого Княжества Литовского и стараясь изгладить из памяти польский характер Виленского университета. Их толкал на это страх перед последствиями Люблинской унии, иначе говоря, перед полонизацией, то есть психология осажденной крепости. Тем самым, однако, теряли основу ссылки на Мицкевича, ибо трудно вычеркнуть его филوماتскую молодость и сделать из него литовца в современном понимании, какого при его жизни не существовало. Нет сомнения, что он обращался к «Литовской летописи» Стрыйковского, писал «Живилю», «Гражину», «Конрада Валленрода» — всюду Литва, — но фольклор в его произведениях родом из его родных мест, то есть белорусский, родной язык — польский, а «Литва, отчизна моя» — обращение к Литве не в национальном значении, а как к обширному пространству между Балтийским морем и Припятью.

Я говорил о «что бы было, если бы». Отпустив узду фантазии, можно себе представить, например, возникновение современной Литвы на ирландский манер, то есть при сравнительно слабом участии в этом родного языка. По существу, только энергия малого числа людей, особенно Винцаса Кудирки, восстанавливает в конце XIX века значение литовского языка как инструмента устной и письменной речи, тем самым защитив его от замыкания в пределах деревенской околицы, как замкнулся ирландский, которым сегодня в Ирландии повседневно пользуется лишь ничтожное меньшинство. Зато достаточно почитать сочинения, которые я назвал, а также множество литературных и мемуарных произведений времен романтизма, чтобы убедиться, что сознание принадлежности к Литве у людей родом оттуда было совершенно

живым. Конечно, это соответствовало определению *gente Lithuanus, natione Polonus*, однако уже появлялись знаки, показывающие, что начинается эволюция к литовскому характеру не только *gente*, но и *natione*. Пример — хотя бы пишущий по-польски ксендз Юцевич. Конечно, власть царской России и сопротивление ей шляхты и интеллигенции шляхетского происхождения отняли у этого «если бы» всякую вероятность, так как способствовали формированию польского национализма.

Несколько более вероятно другое «если бы» — двуязычность на манер Финляндии. Если бы Вильнюс в межвоенные годы был столицей Литвы, вряд ли его литуанизацию проводили бы путем изгнания населения: тогда такие методы не применялись. Как известно, существуют две дефиниции народа. Одна, идущая от Гердера, говорит об общности крови и языка. Другая, от французской революции, основана на желании данной общности жить вместе. Эльзасцы, говорящие по-немецки, принадлежали к французскому народу, так как они этого хотели. Наличие в рамках литовского государства крупного анклава, говорящего по-польски, могло бы склонить к выбору этой второй дефиниции и к языковой терпимости. Могли бы возникнуть «литво-польские» школы, журналы, литературные направления — тогда и я был бы литовским поэтом, пишущим по-польски.

Нереалистично. Наверное, нереалистично, раз уж наступило разделение в зависимости от того, кто на каком языке говорит. Литовцы, панически боявшиеся полонизации, воздвигали вокруг себя крепостную стену, но такую же стену воздвигали поляки, убежденные, что представляют «польский дух», наиболее полно воплощенный в Варшаве и Кракове, и что «извечно польское Вильно» — не для литовцев. Серьезным препятствием для взаимопонимания был характер польской культуры, передаваемый в языке. Это была культура в основе шляхетская, отличающаяся только ей свойственной иерархией ценностей, и довольно парадоксально, что «Пан Тадеуш», написанный «литвином», поставлял ей образцы поведения, укрепленные затем «Трилогией» Сенкевича. Некоторые считают, что иной культуры, нежели шляхетская, в Польше нет и никогда не было и что она отнюдь не исчезла с исчезновением шляхты. Как бы то ни было, эта шляхетская культура не характеризовала в Литве один-единственный класс — наоборот, она

формировала психологию всех говорящих по-польски. Поскольку опорой Литвы была ее собственная старинная крестьянская культура, неизбежно происходили постоянные столкновения, в которых польская сторона выступала с типично шляхетским чванством и презрением к «простакам». Конфликт между «панами» и «хлопами» становился одновременно национальным конфликтом, причем «панами», по их собственному убеждению, были также убогие и неграмотные — только потому, что они говорили по-польски. И если в XIX веке у многих «литвинов» можно наблюдать укрепление их связей с родиной как географическим понятием, то происходит и обратный процесс: шляхту Польши и Литвы объединяет общая героическая борьба с царизмом, и территориальные формы лояльности заменяются лояльностью по отношению к одной, польской нации, независимо от того, где живут ее члены. И, несомненно, так понимаемая лояльность характеризовала большинство виленчан как в межвоенный период, так и после 1939 года.

Я говорю обо всем этом с практической целью. Только ясное осознание прошлого может привести к пересмотру тех форм мышления, что принимаются бездумно, в силу привычки и остаются бесплодными. Вильнюс — столица Литвы и таковою останется. И в городе, и в окрестностях живет значительный процент населения, принадлежащего польской культуре, однако это, за редкими исключениями, не пришлое население, не кусок, отрезанный от общего организма, дом которого лежит в долине Вислы. Ближе к правде мнение литовцев о том, что это полонизированные литовцы, хотя здесь следует сделать фундаментальную поправку. Если они полонизировались, то не нажили себе этим горба, от которого им следует избавиться, скорее как раз наоборот. Добавим кстати, что рубрика «национальность», введенная в документах некоторых стран, в том числе Литвы после 1918 года, поставила вверх ногами понятие *nationalité*, *nationality*, которое в западных странах означает только гражданство, а не принадлежность к этнической группе. Таким образом, само законодательство способствовало зачислению людей в ту или иную группу и несет частичную ответственность за горестное зрелище т.н. меньшинств, считаемых другим государством за «своих» — до войны Литва финансировала литовцев в Польше, а Польша — поляков в Литве.

Безусловно, нелегко исправить то, что накоплено десятилетиями шовинизма, и преодолеть застарелые навыки. Возможно, это уже слишком поздно. Как справедливо где-то написано, не нашлось преемника, готового принять наследие Великого Княжества Литовского, так как ни литовцы, ни поляки, ни белорусы не хотели этого. А ведь прививка польского языка на иной этнической почве, особенно характерная для столицы Великого Княжества, оказалась необычайно плодотворной, так что и по сей день польская культура живет под знаком «литвинов». Почему говорящие по-польски жители Литвы должны отречься от этого богатства, трудно понять. Вероятно, потому, что их лишили наследства и прилагают все усилия к тому, чтобы они забыли о том, что является их достоянием. Но их достояние — прошлое Вильнюса, их достояние — его архитектура, их достояние — и прошлое Виленского университета, ибо каждый разумный человек согласится, что его литуанизация задним числом принадлежит к приемам несерьезным, не соответствующим исторической истине. Вместо того чтобы смотреть на себя как на бедных родственников, разлученных с польским народом и пытающихся выжить в неприязненной среде, они имеют право обрести гордость хозяев на своей земле и даже относиться к тамошним с берегов Вислы с некоторым чувством превосходства. Однако при условии, что перестанут быть группой консервативной и почти не творческой, что выдвинут людей, осознавших свое наследие — наследие не Польши, но исторической Литвы.

То, что я говорю, противоречит отчетливо выступающей сегодня тенденции национальных групп к обособлению и защите своего «имущества». Литва, однако, — такой особый случай, что можно надеяться на другие решения. Парадокс состоит в том, что польская культура как культура шляхетская несла в себе много комплексов, которые сейчас затрудняют самоотождествление ее наследников с Литвой и от которых поэтому надо избавиться. В конце концов, огромное обновление нескольких последних лет — дело рук литовцев, они составляют наиболее динамический элемент, и только тесное сотрудничество с ними других языковых групп может обеспечить всем гражданам Литвы демократические реформы и жизнь в согласии с правдой.

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, ЧТО ОСТАЕТСЯ

«Campo di Fiori» 50 лет спустя

Неопубликованная беседа Яна Блонского,

Чеслава Милоша, Ежи Туровича и Марека Эдельмана

в связи с 50-й годовщиной восстания в варшавском гетто

Публикуемая беседа была записана на магнитофон, по всей видимости, в 1993 году в библиотеке издательства «Знак». Запись делалась с мыслью использовать ее в документальном фильме о возвращении Чеслава Милоша на родину, который готовило Катовицкое телевидение. Она не была включена в фильм по техническим причинам, а кассета с записью «утонула» в домашнем архиве.

Я нашла ее случайно два года назад [в 2003 году], еще при жизни Чеслава Милоша, списала текст и дала ему на авторизацию. По этому случаю мы с ним говорили о разных вариантах стихотворения «Campo di Fiori». Тема восприятия этого стихотворения волновала его не меньше, чем за десять лет до этого.

В начале разговора Чеслав Милош, Ян Блонский и Ежи Турович обсуждают разные варианты «Campo di Fiori». Автор склонен считать, что на читателя сильнее воздействует первый вариант, напечатанный в подпольном сборнике «Из бездны. Стихотворения» (ред. Е. Вайделота [Т. Сарнецкий], Варшава, ЕНК [Еврейский национальный комитет], 1944). В сборнике «Спасение» (1945) поэт поместил «модифицированный» вариант текста, который, вопреки мнениям, высказанным в ходе данной беседы, признал окончательным и обязательным, включив его в первый том «Стихотворений», критического издания, подготовленного издательством «Знак». Как говорится в редакторском примечании, текст стихотворения особо обсуждался с автором. Для постороннего читателя различия двух вариантов не так уж сильны; автор придавал им такое большое значение, думаю, не по формальным или художественным причинам. Тема восстания в гетто оставалась для него чрезвычайно важной и болезненной до конца жизни.

Иоанна Громек-Ильг

Ян Блонский: Среди стихотворений Чеслава Милоша есть одно, занимающее особое место в творчестве поэта, — «Campo di Fiori». Особое, потому что это первый отклик польской литературы на Катастрофу и на восстание в варшавском гетто. Восстание заставило людей осознать, что цель немцев — тотальное истребление евреев. Еще и тем необыкновенно это стихотворение, что это вообще один из немногих откликов польской литературы на эти страшные события. Оно основано на контрасте между каруселью, на которой люди веселились у стены гетто, и немецкой осадой повстанцев, боями, идущими за стеной. Построенное на этом контрасте стихотворение говорит также об одиночестве всех погибающих, оно возвращается к Джордано Бруно, сожженному на костре. Могли бы мы узнать, какое конкретно событие побудило поэта написать «Campo di Fiori»?

Чеслав Милош: Это стихотворение, как и некоторые другие, порожденные нравственным возмущением, гневом, было исторгнуто из меня ходом обстоятельств. Я ехал к Ежи Анджеевскому, который жил на Белянах. Трамвайная линия проходила как раз там, где стояла карусель и где были слышны выстрелы обороняющихся повстанцев. Был трамвайный затор, и я долго смотрел на то, что там делалось. Под натиском эмоций я сразу написал эти стихи. Анджеевский написал рассказ «Страстная суббота». В доме Анджеевского находились евреи, которые переживали, что они не в гетто. Анджеевский показал эту ситуацию в своем рассказе. Мои стихи были напечатаны в маленькой антологии «Из бездны»*, которая вышла через год после восстания в гетто, в апреле 1944 года, и потом сразу были перепечатаны в Нью-Йорке.

У стихотворения были разные варианты, так как я потерял контроль над переписывавшимися и расходившимися копиями. Есть такая книга Натана Гросса «Поэты и Шоах. Образ уничтожения евреев в польской литературе» — там, в главе «История

* «Из бездны воззвал я к Тебе» — так в польском переводе начинается псалом, который в русском переводе начинается словами «Из глубины...». Мы предпочли сохранить польский вариант, более сильный, особенно в применении к обстоятельствам войны и геноцида. — *Здесь и далее (а также в тексте в квадратных скобках) примеч. переводчика.*

одного стихотворения», показано, как расходились различные варианты. Я переписывался с автором, слегка защищая другие варианты. Но наконец, когда Гросс был этим летом в Кракове, я после разговора с ним согласился, что первый вариант был правильнее, а моя позднейшая поправка — ненужной. Я это признал.

Какой вариант был первоначальным? Тот, что напечатан в сборнике «Из бездны» еще во время войны; следующий вариант появился в антологии «Песнь уйдет спасенной», составленной Михалом Борвичем сразу после войны. После разговора с Натаном Гроссом я в позднейших изданиях восстановил первоначальный текст. В чем состояла разница? За несущественными мелочами, довольно существенное изменение касалось строк о Джордано Бруно*:

Я, однако, тогда думал
об одиночестве погибающих,
о том, что когда Джордано Бруно
восходил на леса [то есть на эшафот костра],
не было в человеческом языке
ни одного выражения [= слова],
чтобы он что-то сумел сказать
человечеству, которое остается.

В первоначальном же варианте было:

...не нашел ни на одном языке
ни одного выражения,
чтобы им попрощаться с человечеством,
с тем человечеством, что остается.

Этот первый вариант сильнее, правда?

Ян Блонский: Куда сильнее, естественно.

Чеслав Милош: И я это восстановил. Кроме того в самом конце Гросс усомнился в варианте:

* Для того, чтобы читателю было ясно все обсуждаемое, отрывки из «Campo di Fiori» в тексте беседы приводим в дословном переводе.

И эти, погибающие, одинокие,
уже забыты миром.
Язык наш стал им чужим [= чуждым, но также иностранным],
как язык давней планеты.

В некоторых вариантах: «язык их стал нам чужим».

Пока всё не станет легендой,
и тогда, через много лет,
на новом Кампо ди Фьори
бунт разожжет слово поэта.

Он напомнил, что в первоначальном варианте было:

на великом [= большом] Кампо ди Фьори
бунт разожжет слово поэта.

Это лучше, правда?

Ежи Турович: Разумеется.

Ян Блонский: Это значит, что весь мир — Кампо ди Фьори и поэт разожжет бунт во всем мире. Однако содержание этого стихотворения подвергалось сомнениям — например, некоторые утверждали, что этих каруселей не было. Я, хоть и был маленьким мальчиком, видел эти карусели, когда ходил пешком из Старого Города на Жолибож. Отлично помню карусель, стоявшую у стены гетто: возле нее играла шарманка, а из-за стены были слышны выстрелы.

Чеслав Милош: Очень странное чувство — быть поэтом, который написал такое стихотворение, как бы исторгнутое из него, как бы наперекор его прежнему творчеству. Я не хочу изображать из себя моралиста, человека, который судит других. Разумеется, я ощущаю себя написавшим эти стихи. Но они были исторгнуты из моей судьбы, правда?

Ян Блонский: В этом стихотворении ты говорил об одиночестве погибающих. Это сразу ставит некоторую проблему: обращено ли это стихотворение в каком-то смысле против польского общества с обвинением в равнодушии? Евреи здесь покинуты, оставлены в одиночестве. Любопытно, как ты, Чеслав, это видишь и как вы (Мареку Эдельману) это видите?

Чеслав Милош: Для меня одиночество было тут важнейшим элементом. Одиночество погибающих. Отсюда, кстати, и взялся этот образ Джордано Бруно. Я не знаю, откуда он пришел — тут не было ничего философского, не то чтобы Джордано Бруно был для меня героем борьбы за свободу мысли. Я помню Кампо ди Фьори, то место, где Джордано Бруно сожгли, и то неустанное движение торгующей человеческой массы, веселящейся рядом.

Ян Блонский: Меня интересует, дошло ли это стихотворение до евреев и когда?

Марек Эдельман: Это не так просто. Дошло, но не сразу. Однако вернемся еще к карусели — это с самого начала безумно важный вопрос. Потому что это было так: надо отдать себе отчет в том, что, например, власти польского подпольного государства, подчинявшиеся Лондону, и даже коммунистические — не хотели восстания в гетто. Они боялись, что это восстание перекинется на всю Варшаву. И генерал Грот* не стесняясь сказал: «Господа, этого восстания не будет, так как мы вам не поможем, мы боимся. Слишком рано». У нас с ним никогда не было прямого контакта. Были два посредника: начальник еврейского сектора АК Генрик Волинский и Александр Каминский**, автор «Камней на редут»; они были нашими доверенными лицами. В этом трагическом разговоре между АК и Еврейской боевой организацией, который шел через посредников, было сказано: «Вы не можете это сделать». А во-вторых: «У нас к вам нет доверия, оружия у нас мало и вам не дадим». Вот это было одно одиночество. Не буду рассказывать предысторию, когда различные группировки, ППС [Польская социалистическая партия] и другие, хотели поднять восстание, но

* Генерал Стефан Ровецкий («Грот») — командующий Армией Крайовой. Арестован и расстрелян в 1943.

** Александр Каминский (1903-1978) — многолетний деятель харцерского (скаутского) движения, где он, в частности, до войны возглавлял сектор дружин национальных меньшинств и ЦК Союза еврейских харцерских дружин. В АК был редактором ее главного печатного органа — «Информационного бюллетеня», начальником организации малого саботажа. Книга «Камни на редут» издана подпольно в 1943 под псевдонимом. В 1947–1956 подвергался политическим гонениям.

все они были подвязаны под лондонскую философию: не начинать слишком рано. Не могу рассказать все эти ужасы: например, единственный револьвер, который был в гетто до начала восстания, был получен от коммунистов. Такой мерзкий коммунист Витольд Юзвяк* принес в гетто свой револьвер. И первый выстрел был сделан из этого револьвера. Мы сами покупали оружие у немцев на Керцеляке и Праге за большие деньги. Это тоже было одиночество — никто нам не помог.

Одиночество началось намного раньше. 18 января раздались первые выстрелы в гетто и погибли два-три немца — это стало мотором операции у Арсенала**. Если б не то, что первый немец пал в открытом бою, этой операции никогда не было бы. Это говорят все — Каминский, Орша, — что ореол немецкой каски был уничтожен. Во время самого восстания АК нам уже помогала, давала оружие и т.п. Но поймите, АК мобилизовала три батальона напротив гетто, и на протяжении трех недель никто нам об этом не сказал. Они никогда не хотели держать с нами связь. В первый день восстания в гетто эта карусель была, но не крутилась. Начала крутиться только на второй день, и в этом было нечто трагическое. В окна было видно, как она крутится, шарманка играет, юбки у девушек, красные и голубые в горошек, развеваются на ветру. Это мы видели из окон, и это было нашим проклятьем. Тут горит, тут убивают, а там все смеются и веселятся.

Ян Блонский: Это ужасающая картина. Здесь возникает проблема одиночества, проблема какого-то исторического отстояния,

* Францишек Юзвяк («Витольд») (1895–1966), коммунист, в 1939–1942 в СССР, в 1942–1944 начальник штаба коммунистической Гвардии Людовой, ставшей затем Армией Людовой (но оставшейся в сравнении с АК весьма малочисленной), член секретариата ЦК ППР (Польской рабочей партии); в 1948–1956 член политбюро ЦК ПОРП, в 1944–1949 главный комендант гражданской милиции и с 1945-го — замминистра госбезопасности; до 1956 занимал другие крупные партийные и государственные посты.

** 18–21 января немцы начали проводить второй этап депортации населения варшавского гетто и, впервые натолкнувшись на вооруженное сопротивление, прервали его, не доведя до конца.

проблема непонимания, расхождения польского и еврейского общества...

Марек Эдельман: Это не проблема расхождения. Надо бы посмотреть на это совершенно иначе. Во время оккупации люди, закрытые в гетто, были людьми второго сорта. Не только для немцев, а для всех. Если четыреста тысяч людей можно закрыть, если их могут есть вши, если они могут умирать с голоду и ничего не могут поделывать, то это недочеловеки. Кстати, Рузвельт так прямо и сказал делегации, которая пришла к нему: да, это правда, что их уничтожают, но не пишите, что убили сто тысяч — эта цифра никого не трогает. Напишите, что маленькую Машу, длиннокосую и большеглазую, убили два немца. Это подействует на умы. Но когда погибают тысячи, тысячи каждый день, на глазах у людей, — это становится банальностью.

Чеслав Милош: Немцы хотели, чтобы жертвы не считались людьми. Помню, когда в Варшаве закрывали гетто, то на стенах были надписи: «Евреи, вши, сыпной тиф», — эти слова соединились подряд.

Ян Блонский: Стихотворение «Campo di Fiori» был не только принесением почестей или выражением ужаса — оно ставило также вопрос об отношениях между польским и еврейским обществом.

Марек Эдельман: Эти стихи были таким же знаменем, каким была «Воздушная тревога» Антония Слонимского в 1939 году. Я получил стихотворение Милоша случайно от Мицнера, который занимался вопросами перепечатки. Несмотря на большие трудности мы послали копию стихов в лес [еврейским партизанам]. И что же эти парни, которые погибали от рук тех или иных, не будем говорить об этом в подробностях, — сказали? «Наконец кто-то нас заметил». Это было самое главное. Гайцы не написал бы такого стихотворения, понимаете? Он был хороший поэт, но никогда таких стихов не написал бы, потому что он презирал этих людей. Вы понимаете, о чем я говорю? Мы искали людей, которые нас не презирают. Мы были грязные, вшивые, и всё-таки каждый говорил и думал как человек.

Чеслав Милош: Я сказал, что эти стихи были из меня исторгнуты, но, разумеется, моя довоенная политическая позиция существенно влияла на то, что я писал во время оккупации. Когда

идеализируют довоенную Польшу, то забывают, например, о деятельности желтой прессы, об антисемитских движениях, о журнале «Просто з мосту»...

Марек Эдельман: О великих поэтах...

Ян Блонский: Это все знают. Но глобально надо сказать, что если бы все поляки так относились к евреям, как поэты, то все было бы не так плохо. В этой профессии было сравнительно мало антисемитов.

Марек Эдельман: Не хотел бы я быть солдатом у Гайцы...

Ян Блонский: Ну да, Гайцы был связан с ОНР-Фалангой.

Чеслав Милош: Я, конечно, знал этих юношей, знал Гайцы и считал, что их идеи были совершенно безумными. Но всегда предполагаешь, что они были очень молоды и если бы выжили, то переменили бы взгляды.

Ежи Турович: Я считаю, что независимо от своей художественной ценности это стихотворение Чеслава Милоша имело огромное значение, потому что впервые затронуло самую суть вопроса об отношении польского общества к массовому уничтожению евреев.

Марек Эдельман: А не самую суть вопроса о жизни?

Ежи Турович: И это тоже. Но я говорю о другом — о том, что и по сей день остается злободневным и поднимается в дискуссиях и полемике. Мы знаем, что даже сегодня поляков, польское общество обвиняют в доле ответственности за массовое уничтожение евреев. Говорят, что лагеря массового уничтожения возникли в Польше, потому что поляки были антисемитами. Мы знаем, что это обвинение несправедливо. Лагеря уничтожения были устроены в Польше, потому что здесь было крупнейшее в Европе сосредоточение евреев и раз их предназначили на уничтожение, то перевозить их куда-то не имело смысла. Во-вторых, немцы хотели все-таки по мере возможности сохранить это в тайне от западного мира, а Польша была отделена от Запада Третьим Рейхом.

Зато, разумеется, если бы мы захотели сказать, что на поляках не лежит доля ответственности, то вопрос не так прост. Знаменитая статья Яна Блонского «Бедные поляки смотрят на гетто», опубликованная в «Тыгоднике повшехном» и тоже обращающаяся к стихотворению Милоша, указывает вину значительной части польского общества, состоящую в равнодушии. Мы знаем, что

люди, восприимчивые к чужому несчастью, люди, которые пробовали что-то делать, спасать евреев, были в меньшинстве. Зато немалая масса общества хранила равнодушие, мотивируя это либо: «Это нас не касается», — либо: «Немцы истребляют евреев, но нас тоже истребляют». Они проводили это сравнение, но сравнивали совершенно несравнимые ситуации — несмотря на все жертвы, понесенные польским народом. Или даже так: «Теперь истребляют евреев, а потом истребят нас». Тому, что это суждение верно, тоже нет доказательств. Карусель у стены гетто была крайне красноречивым образом этого равнодушия. Но если бы ее и не было, это вовсе не означает, что удалось бы спасти больше евреев. Может быть, и больше, хотя все равно немногих. Потому что какие же были возможности спасти евреев, скажем, в восточной Польше, в маленьком штетле, где было 80% евреев, хасидов, часто не говоривших по-польски? Там возможности спасения были близки к нулю. Огромное большинство общества было действительно бессильно и беспомощно. Но равнодушие — не говоря уже о крайних случаях, надеюсь, все-таки немногочисленных, о людях, которые были довольны, что руками Гитлера еврейский вопрос в Польше будет решен, — это равнодушие остается какой-то виной. И думаю, что стихотворение «Campo di Fiori» показало, какого рода вызов массовое уничтожение евреев бросает совести — и христианской, и человеческой совести как таковой.

Ян Блонский: Я думаю, что это еще сильнее видно в другом стихотворении Чеслава Милоша того же периода и тоже посвященного евреям — «Бедный христианин смотрит на гетто». Эти стихи в первый момент выглядят весьма загадочными, потому что представляют картину руин, в которых лежат убитые — среди развалин, среди остатков своего жилья. В этом странном подземелье, в этом Аиде появляется сторож-крот с маленьким фонариком на лбу. Поэт сравнивает этого крота с патриархом, то есть это как будто кто-то, явившийся с того света, — может, пророк, может, еврейский пророк. И теперь он считает, считает, смотрит, он всё знает и смотрит, лежат ли там только обрезанные или вместе с ними и необрезанные. А необрезанные — это немцы. Тот, кто всё это говорит, герой стихотворения, страшно боится, что он тоже мог бы там лежать и тогда патриарх счел бы его тоже за немца, за палача, за убийцу...

Чеслав Милош: Деление на христиан и евреев...

Ян Блонский: Он опасается, что его как христианина могли бы зачислить в помощники смерти.

Чеслав Милош: Вполне.

Ян Блонский: Для меня это стихотворение было, пожалуй, еще более поразительным, чем «Campo di Fiori». В «Campo di Fiori» есть свой блеск, это «итальянские» стихи, а «Бедный христианин» затрагивает сильнее.

Чеслав Милош: Должен сказать, что у меня есть некоторые трудности нравственного порядка. Я гляжу на этот вопрос с другой точки зрения, потому что живу постоянно не в Польше, а в Америке. Во всяком случае до недавних пор жил. На авторских вечерах в Америке я не читаю эти стихотворения из-за общераспространенного там мнения, что поляки — антисемиты. Читать эти стихи — это в некотором роде подыгрывать американцам. Эти мои чувства можно считать угрызениями совести либо нравственного, либо эстетического порядка. И, глядя с американской точки зрения, я пытаюсь понять, что думают о тех временах люди в Польше. Я не могу понять феномен антисемитизма без евреев, не могу этого в Польше понять.

1993 (?)

ПРЕПОДАВАЯ ДОСТОЕВСКОГО*

Не нравилось мне, когда на Западе Достоевского повсеместно готовили под фрейдистским соусом, то есть рассматривали исключительно как гения психологической интуиции. Вынужденный выбирать, я предпочитал его метафизику, или, как считает Бердяев, его пневматологию. Существовало столько зон, которые приходилось замалчивать попросту ввиду географического и исторического невежества слушателей, то есть их следовало бы вводить в курс дела от самых начал. Например имение Достоевских близ Пинска. Нет полной уверенности, что боярин родом из татар, который в XVI веке получил это поместье в Великом Княжестве, был предком Федора Михайловича. Но сам он в это верил, и его отвращение к католицизму находит объяснение в истории шляхты Великого Княжества, в том числе и рода Достоевских, который, кстати, часто упоминается в уголовных хрониках XVII века. Они перешли в католицизм, предали православие, ополячились. Дед писателя был священником, но не православным, а греко-католическим. Загадочный Свидригайлов в «Преступлении и наказании» — кто знает, не главный ли герой романа, зловещая тень Раскольникова, а может, и самого автора, — носит фамилию, идущую от литовского князя Свидригайло, который правил восточной частью родины Достоевского.

То есть всегда встает вопрос: что включить, а что исключить. Попросту материал слишком велик на один курс, наследие огромно,

* Текст был опубликован в «Тыгоднике повсехном» под нейтральным названием «Достоевский». Я позволила себе переозаглавить его в соответствии с содержанием. — НГ

так что одного из главных романов собственно хватило бы, а тут надо преподавать всё. Правда, несколько раз мне удалось посвятить весь курс одной книге — «Братьям Карамазовым». Кроме того, если борение Достоевского с собственным неверием волновало меня больше всего, это не значит, что я мог обойти стороной необычайное построение его рассказов и романов, замечательный анализ которого мы находим у Бахтина. Введенное им понятие «полифонического романа» нельзя отделить от вопросов о том или ином смысле данных страниц текста. Если, например, признать «Братьев Карамазовых» полностью полифоническим романом, то его героев и их философию пришлось бы счесть совершенно самостоятельными, оставив автору место в сторонке как воздерживающемуся от собственного мнения. Однако в диалектике святости и зла (старец Зосима и Алеша Карамазов с одной стороны, атеист Иван Карамазов — с другой) Достоевский не вполне беспристрастен, хотя некоторые русские критики (Шестов!) считали, что степень его самоотождествления с Иваном заходит очень далеко.

Одной только хроникерской точности произведений Достоевского хватило бы на отдельный курс. Так, внимательный читатель, например, «Бесов» найдет там обзор всех поочередных фаз, через которые проходила русская интеллигенция от 1840-х до 1870-х, и событий, которые ее волновали. Всё это творчество оказывает сознательным закреплением и комментированием перемен русской мысли. Пойти за этой ниткой означало бы превратить лекции о писателе в лекции о России XIX века.

Достоевский в отношении к Западу

Или Достоевский и Запад. Его первое путешествие за границу, во Францию и Англию в 1862 году, стало решающим в его устойчивом отвращении к цивилизации денег. Европа — это были «священные камни», но в то же время бесчеловечность эксплуатации и нищеты, фабрики, где работали дети, улицы Лондона, полные оборванцев, орды малолетних проституток. Таким образом, нравственное возмущение поддерживало тезис о деградации Запада. Здесь писатель еще ярче гиперболизировал позицию славянофилов и мог бы быть помещен в компанию Константина

Леонтьева, который дал западным парламентам презрительное прозвище «*говорильни*» [здесь и далее курсивом — по-русски в тексте]. Спор с Западом (то есть с западным капитализмом) составляет самую суть мессианских галлюцинаций Достоевского, однако, чтобы осветить их, следовало бы рекомендовать студентам прочесть свидетельства иностранцев о России (я пробовал). Прежде всего маркиза Астольфа де Кюстина, который ненавидел республиканские идеи и поехал в 1839 году в государство Николая I, чтобы ознакомиться со здоровым самодержавием, а вернулся в ужасе от того, что увидел. Существует такое знание русских о России, на которое, по их мнению, лишь они, и никто другой, имеют право. Живой ум маркиза проник в их печальные тайны, и его «Письма из России» вызвали такое возмущение, что царские дипломатические и полицейские службы долго старались устроить, чтобы ему ответил какой-нибудь француз с громким именем. Выбор пал на Бальзака, так как можно было оказывать давление на госпожу Ганскую, но ничего не вышло. Кюстин счел чертами русской цивилизации малое сходство действительности с фасадом, стирание границ между правдой и ложью, равнодушие к тому, что в других странах называют честью и честным словом, а также безграничные имперские мечты, которым служат армия и веками натренированная дипломатия. «Русские призваны к серьезным делам». Это, однако, ничего хорошего не сулит Европе, и Кюстин желал предостеречь.

Можно усомниться, читал ли Орвелл Кюстина, но его «1984», в значительной степени описание сталинского режима, — такая же экспедиция в демоническое измерение истории. Это измерение — не для американцев, ибо всё, что носит след дьявольского копыта, вводит в смущение их умы, сформированные идеями о врожденной доброте человека. Поэтому мне приходилось умерять себя — не мог же я деморализовать вьюношей.

Карикатурные поляки

Не мог я слишком долго останавливаться и на антипольских убеждениях Достоевского, хоть они и занимают немалое место, если в «Братьях Карамазовых», почти шедевре, глава о карика-

турных поляках, художественно недопустимая у всякого уважающего себя писателя, явно свидетельствует о навязчивой идее.

Знакомство с поляками датировалось у него пребыванием на каторге в Омске. Там отсиживали свои срока участники заговора ксендза Сцегенного 1846 года. Единственные образованные люди в остроге, с ними он мог разговаривать по-французски. В «Записках из Мертвого дома» он говорит о них в целом доброжелательно. Зато они оставили не слишком приятные свидетельства о нем. Их удивляли в осужденном революционере взгляды, ничего общего не имеющие с демократией, поклонение самодержавию и апология российской территориальной экспансии. Такой его портрет заставляет предположить, что три оды, славящие царя, которые он написал в остроге, были продиктованы не только желанием спасти свою шкуру.

Ледницкий довольно подробно занимался польскими союзниками Достоевского, но другой позднейший исследователь, Джозеф Франк, автор самой полной, трехтомной монографии о писателе, приписывает встрече с поляками ключевое значение, так как тогда, одновременно с возвращением к религии, наступило обращение Достоевского в русский национализм. Гордость поляков, их непризнание закона чуждой власти, их уверенность в своей невиновности, их отталкивание от союзников, неграмотных преступников, — всё это контрастировало со смирением русских, убежденных, что наказание им положено, ибо они согрешили. Русский мужик трогал чувства Достоевского с детства, был для него синонимом физической силы, ни с чем не считающейся отваги, в том числе и в преступлении, характеризовался смирением и терпением, а при этом обладал отцовско-опекунскими чертами. Поэтому к насильникам и убийцам, своим союзникам, Достоевский относился не так уж просто. Кем бы они ни были — не чужим их судить. Чтение Евангелия и погружение в стихию России шли у него параллельно, здесь лежат истоки его войны с отравленной Западом интеллигенцией во имя православного народа. Поляки в остроге послужили катализатором внутренней перемены. В них воплотилось то, что чуждо.

Быть может, Впрочем, только 1863 год превратил неприязнь во враждебность. Начало восстания принесло в России прочные результаты: пало влияние Герцена и его журнала «Колокол»,

возмущение польским бунтом выстроило всех по команде «Равняйся!». Не обошлось и без личных потерь Достоевского: власти, ошибочно истолковав одну из статей, посвященных полякам, закрыли журнал «Время», который он издавал вместе с братом.

Диагноз болезни века

Теперь я раскрою истинную причину моего согласия преподавать Достоевского. Европа XIX века была местом глубокого умственного преобразования в результате успехов науки. Всё больше сторонников находило так называемое научное мировоззрение, сначала только внутри «касты сведущих», но постепенно достигая даже полуграмотных. Основанное на теории всеобщей эволюции, материалистическое и атеистическое, оно вступало в конфликт со всей традицией, которую веками формировала религия. Столкновение двух подходов проявлялось в политике, философии, литературе. И хотя западные поэты и прозаики уделяли ему внимание (например, мировоззренческие дискуссии в романах Жорж Санд), но нигде этот конфликт не проявился с такой силой, как в России.

По особым историческим причинам русская интеллигенция открыла западную мысль Нового времени внезапно, и то, что на Западе продолжалось несколько веков, от картезианского рационализма через философию Просвещения и вплоть до гипотез биологии, там усваивалось за несколько десятилетий. Можно сказать, что относительная медленность в усвоении научного мировоззрения создала иммунитет на заключенные в нем яды, поэтому Западная Европа не извлекала из него радикальных выводов — пока не явился Фридрих Ницше. В России же произошло нечто, что можно сравнить с реакцией плохо защищенного организма на неизвестные ему бактерии. Так, по рассказам, некоторые гуцульские деревни освоили сифилис, и хоть все им были больны, но им он совершенно не вредил, зато оказывался убийственным, если заражался пришлый.

Достоевский был наблюдателем и хроникером русской интеллигенции. Проницательным и умученным, ибо сначала он сам всё, что его герои чувствуют и мыслят, пережил и вышел на бой в защиту христианства и своей веры в Христа, и воистину никто в мире

не отважился, как он, использовать роман как инструмент великого богословского и философского диспута. Он был уверен, что трудится при конце времен, что еще вот-вот, и исполнится Апокалипсис, что его долг кричать и предостерегать Россию, прежде чем интеллигенция погрузит ее в кровавый хаос революции. Его герои, такие как Раскольников, Ставрогин, младший Верховенский, Иван Карамазов, несут клеймо бесовства и одержимости и харизму прирожденных вождей.

Достоевский, таким образом, ставил диагноз страстный, ибо продиктованный любовью к России, но важный и для всего человечества в эру научного перелома. Наверное надо было быть русским, чтобы додумать до конца результаты свержения духовной иерархии и спрашивать: «Если Бога нет, то какой же я капитан?» Тем не менее и нерусские читатели могли найти у этих резонеров свою умственную тревогу, всего лишь поразительно преувеличенную.

Преподавать Достоевского, когда то, что он предсказал, сбылось на Соловках, Воркуте и Колыме, в Освенциме и Трешлинке. Может, мои слушатели не улавливали связи между идеями и их последствиями на практике, но я хорошо знал, что она существует.

Дает ли ключ к позднейшим событиям гипотеза Достоевского, и если дает, то насколько, — это отдельный вопрос. «Бесы» как исследование одержимости России сбылись и в части заключенного там предсказания о временах, когда вместо Богочеловека предметом поклонения станет человекобог, иначе говоря профессиональный революционер, как у Чернышевского, учителя Ленина. Так же как еще один великий диагност, Ницше, Достоевский тяжело расплачивался за остроту зрения. Рассуждения его интеллигентских умников искажает, как заметил Николай Бердяев *ложная чувствительность* (чем особенно отличается Иван Карамазов). Вообще способность лгать, в первую очередь самому себе, — это как будто одна из характерных черт ума писателя и в особенности проявляется тогда, когда он хочет верить. Поэтому его образ Христа, как и верной Христу консервативной России, возбуждает некоторые сомнения относительно его религии. Быть может, видя, что интеллигенции ведет Россию на гибель, он не мог иначе и вынужден был таким образом одушевлять себя верой в крестьянские массы, которые ее спасут. Они, однако, как и предсказывали его противники, оказались «стихийно атеистическими».

Слабая сторона славян состоит в том, что они смешивают религию и историю, и эта смесь приносит плоды в виде преудивительных теорий о роли массы как Мессии. Погружаясь в Достоевского, я мог только утешаться, что не одни поляки поддавались коллективному самовнушению.

Успех и меланхолия

Студенты высоко оценивали мои лекции — быть может, потому что чувствовался тот излишек знаний, о котором я упомянул и о котором предпочитал умалчивать. Самые умные среди слушателей, в том числе несколько молодых профессоров, обнаруживали у меня редкую в Америке терпкость — хотя бы потому, что я не боялся высказывать реакционные суждения, например что существует добро и зло.

При всём при этом мой успех окрашивала меланхолия. Чтобы блеснуть на горизонте и чтобы рассматривать со студентами религиозные вопросы, я должен был преподавать русскую, а не польскую литературу. Правда, мои хлопоты вокруг польской литературы склонили нескольких студентов оставить русистику в пользу полонистики, хотя и с трудностями: случалось, что мои коллеги, русские профессора, из самых лучших побуждений отговаривали такого «новообращенного» менять специализацию, потому что это легкомыслие, тупик («где он найдет работу?»). Оказалось, что всё вовсе не так плохо, они находили работу и прославились переводами с польского. Я горжусь этой группой ревностных и талантливых переводчиков, достижения которых заслуживают отдельного разговора. Назову их: Богдана Карпентер, Луис Ирибарне, Кэтрин Лич, Ричард Лурье, Лилиан Валли.

«Russia, Poland and the West» — в такое заглавие вместил свои заботы Вацлав Ледницкий. Дело, к сожалению, в том, что даже эти три слова недостаточны, чтобы вместить сложную историческую и географическую истину, ибо есть еще Украина, Белоруссия и прибалтийские страны. Воспитанники кафедр, называемых кафедрами славянских языков и литератур (а один из них как раз сейчас делает внешнюю политику США), будем откровенны, не подготовлены к мышлению о пространстве, история которого

в лучшем случае представляется им хаотической. Они пишут свои диссертации о Тютчеве или Гончарове, и присутствие уловимого текста утверждает их в уверенности, что реальна только Россия.

Те из нас в университетах, кто отдавал себе отчет в возможности ошибок, вытекающих из такой точки зрения, присматривались к изменениям в программах, вводившихся за счет «малых литератур», понимая, что ничего с этим не могут поделать. Эти изменения, вопреки провозглашаемому на кампусах лозунгу равенства культур, способствовали интересам всех, кто вложил свое время и энергию в изучение русистики. Они взаимно друг друга поддерживали и проталкивали назначение своих на кафедры и в научно-исследовательские институты. Что, впрочем, обратной связью отлично соединялось с картиной двух держав, наделенных планетарным призванием, — Америки и России, — картиной, датирующейся началом XIX века.

*

Спутник, запущенный из отсталой Силдавии, имел целью упрочить фасад могучей державы, так же как потемкинские деревни должны были утверждать фасад благополучия. Тем не менее он выполнил свою задачу, раз на нескольких континентах разбросал произведения русских писателей и призвал к жизни академическое сообщество, занятое распространением их славы.

НЕСКОЛЬКО РУССКИХ СТРАНИЦ ИЗ «АЗБУКИ МИЛОША»

ВААЛ. Летом 1862 года Достоевский совершил поездку во Францию и Англию, которая стала содержанием его очерка «Зимние заметки о летних впечатлениях». Пятая глава, о Лондоне, называется «Ваал». Ваалу, божеству Сирии и Ханаана, имя которого значит попросту «Господь», по преданию, приносили человеческие жертвы. Никто, даже Диккенс на своих самых черных страницах, не сказал таких страшных вещей о тогдашней столице капитализма, как Достоевский. Наверное, будучи русским, он имел основания не любить Запад, но его нравственное возмущение так сильно, а описания так реалистичны, что трудно ему не верить. Нищета, отупение от тяжелого труда, пьянство, орды проституток, многие из которых малолетние, — все это доказывало, что высшие классы Англии действительно приносили жертвы золотому тельцу. Трудно удивляться, что зачатое в том же Лондоне пророчество Карла Маркса обладало такой мстительной силой. Ибо всё-таки, пожалуй, ниже достоинства человека соглашаться на подчинение закону природы, который требует или есть, или быть съеденным. Мои сильные социалистические рефлексyы вытекали из мысли о миллионах человеческих существований, втоптаных в грязь. Правда, можно усомниться в том, что для этих втоптаных было бы утешением знать о других миллионах, погибших в лагерях.

Другой русский, Максим Горький, посетил Нью-Йорк в самом начале XX века и написал репортаж под заглавием «Город желтого дьявола» (то есть доллара). Читая это, я думал, что он преувеличил, но не слишком, потому что таким и был тогда этот город для тех, кто находился внизу. А позже Горький поехал на Соловки и послушно притворился, будто не видит, что такое пыточный лагерь.

ДОСТОЕВСКИЙ, Федор. Я преподавал Достоевского, и меня спрашивали, почему бы мне не написать о нем книгу. Я отвечал, что о нем написаны целые библиотеки на разных языках и что я не литературовед, в лучшем случае притворяюсь литературоведом. Однако на самом деле была и другая причина.

Это была бы книга недоверия, а без этого лучше обойтись. Великий писатель имел такое влияние на состояние умов в Европе и Америке, как никто из его современников, за исключением Ницше. Не Бальзак, не Диккенс, не Флобер и не Стендаль — общеизвестные имена теперь, в конце нашего века. Он использовал форму романа так, как до него (и после него) не удалось никому, хотя то же пробовала Жорж Санд: для того чтобы поставить диагноз гигантскому явлению, которое он сам пережил изнутри и которое охватывал, — эрозии религиозной веры. Его диагноз оказался верным. Он предвидел результаты этой эрозии в умах российской интеллигенции. Русская революция нашла свой ключ в «Бесах» (как открыто признал Луначарский) и в «Легенде о Великом Инквизиторе».

Несомненно, пророк. Но и опасный учитель. Бахтин своей книгой о поэтике Достоевского навязал гипотезу полифонического романа как изобретения этого русского писателя. Полифония создает крайнюю современность Достоевского: мы слышим голоса, множество голосов в воздухе, сталкивающихся, высказывающих противоположные мысли, — разве все мы в нынешней стадии цивилизации не вынуждены слушать этот гам?

Однако его полифония имеет пределы. За ней скрывается ярый исповедник, русский хилиаст и мессианист. Трудно представить себе нечто более одноголосное, чем сцена с поляками в «Братьях Карамазовых». А трактовка образа Ивана Карамазова доказывает наличие куда более мощного эмоционального заряда, чем то позволяет полифония.

Достоевского-идеолога отделяли от Достоевского-художника, чтобы спасти его величие, искаженное неприятными высказываниями, и гипотеза Бахтина служила в этом серьезной подмогой. По существу же можно сказать, что, не будь русского мессианиста и его страстной заботы о России, не было бы и всемирно прославленного писателя. И не только забота о России наделяла его силой — страх за ее будущее принуждал его писать: чтобы предостерегать.

Был ли он христианином? В этом нет полной уверенности. Может быть, он решил быть таковым, поскольку вне христианства не видел для России спасения? Но конец «Братьев Карамазовых» позволяет нам усомниться, находил ли он в своих мыслях успешный противовес процессам разложения, которые наблюдал. Чистый юноша Алеша во главе своих двенадцати учеников, словно отряда скаутов, — и это предлагается христианской России, чтобы спасти ее от революции? Чутьочку сладостно и лубочно.

Он бежал от лубка, искал приправ поострее. Грешники, бунтовщики, извращенцы, безумцы всемирной литературы с самого начала населили его романы. Схождение на дно греха и позора у него как будто составляет условие спасения, но творит и осужденных на вечные муки, таких как Свидригайлов и Ставрогин. Хотя он сам — все его герои, но один получил от него в высшей степени его собственный ход мыслей, и это Иван Карамазов. Поэтому Лев Шестов подозревает, и, вероятно, правильно, что Иван выражает окончательную невозможность веры Достоевского — вопреки положительным героям, старцу Зосиме и Алеше. Но что же провозглашает Иван? Он возвращает «билет» Творцу из-за одной слезинки ребенка, затем рассказывает сочиненную им самим «Легенду о Великом Инквизиторе», смысл которой сводится к тому, что, когда не удастся осчастливить людей под знаменем Христа, надо постараться осчастливить их под знаменем дьявола. Бердяев написал, что Ивану присуща «ложная чувствительность» и что, наверное, то же самое можно приложить к Достоевскому.

В письме к Фонвизинной Достоевский сказал, что, если бы ему повелели выбирать между истиной и Христом, он выбрал бы Христа. Более честны, вероятно, те, кто выбирает истину, даже если на вид она противоречит Христу (так утверждала Симона Вейль). По крайней мере они не полагаются на свое воображение и не воздвигают идола по своему подобию.

Есть одна вещь, которая склоняет меня значительно смягчить свое суждение: тот факт, что Лев Шестов прежде всего у Достоевского нашел стимул к своей трагической философии. Шестов для меня очень важен. Именно благодаря чтению его мы с Иосифом Бродским могли хорошо понимать друг друга.

ДУХОБОРЫ, или духоборцы. Эта секта, гласящая возврат к раннехристианским общинам, действовала в южной России. Незадолго до Первой мировой войны ее приверженцам удалось эмигрировать в Канаду в надежде, что там они будут свободны от государства: власть государства была для них властью Антихриста. Их отношения с окружающими в новой стране складывались не слишком гармонично. Они хотели, чтобы их оставили в покое, что, может, и удалось бы провести, но не там, где в расчет входило однородное воспитание для всех, то есть обязательное школьное обучение. Духоборцы учили своих детей сами и на своем, русском языке. По их мнению, послать детей в канадскую школу значило подвергнуть их влиянию испорченной и дьявольской цивилизации. Их способы сопротивления приобрели известность, об этом писали в прессе, иллюстрируя фотографиями. В доказательство того, что их не заботят земные блага, духоборцы поджигали свои дома, после чего навстречу вооруженным полицейским устремлялась сбитая толпа баб и мужиков, внезапно раздевавшихся догола, что как тактика, позволяющая взять врасплох и смутить, кажется, оказывалось успешным.

Духоборцы интересовали меня, но я не знал, где их искать. Говорили, что они сидят в лесах на юге канадского штата Британская Колумбия. Во время одной из наших с Янкой автомобильных экспедиций я заупрямился и выбрал маршрут через эти края, хотя вероятность встретить их там была невелика. Пригодилось мое знание русского: в придорожной закусочной человек с явно славянским лицом, когда я обратился к нему по-русски, дал мне все нужные указания. Оказалось, что за 10–15 миль находится главная деревня духоборов и как раз у них великий праздник. Деревню, зажиточную, с большими деревянными домами, мы застали почти опустевшей: все ушли на праздник, отмечаемый выше, в горах. Нам показали, как туда добраться. Деревянные ворота, а внутри три больших, продолговатой формы, надгробных камня — как я узнал, это было священное кладбище их мучеников. Я узнал, что английские поселенцы духоборов ненавидели и поначалу убивали. С кладбища на горе я восхищался прекрасным видом на всю долину. «Когда мы пришли сюда, — говорил мне один старик, — всюду рос лес, такой густой, как мои пальцы». Они выкорчевали лес, начали возделывать землю, и тогда канадское правительство отобрало у них множество земли под дороги и аэродром.

То, что происходило на кладбище, сразу перенесло меня на восток Европы. Они сидели за столами, застеленными белой скатертью, на столах — фрукты и жбаны кваса, у женщин платки на головах. Пели. Говорили по-русски, но с примесью украинизмов. Я узнал, что они не принадлежат к самой радикальной группе и детей в государственные школы посылают. Казалось, мужчины, тихие, мягкие, некурящие и непьющие, подчинялись власти женщин, то есть было похоже на своего рода матриархат.

Словно в подтверждение этого, явилась Маркова. Ну и баба-яга, скрюченная, опирающаяся на палку, в платке. Она произносила речь, из которой вовсе не следовало, что она обычная *бабушка*. Звучал советский газетный жаргон о так называемой борьбе за мир. Она приехала из Советского Союза, от тамошних духовоборов, а это значило, что соответствующий отдел КГБ, контролирующий вероисповедания, признал нужным простереть духовную опеку над сектой, гуляющей себе за границей на опасной свободе, и выслал своего сотрудника.

Я вмиг сориентировался, но и Маркова тоже: ее «антенны» сразу ее предостерегли, что тут есть кто-то, кто мыслит иначе, чем послушное стадо. Советский человек не допускает возможности, что что-то может произойти случайно, что чистая случайность завела меня сюда. По ее мине и по нескольким словам, которыми я с нею обменялся, я понял, что она считает меня таким же, как она, тайным агентом, только канадской полиции.

Мы сидели за этими белыми скатертями и пили квас. Вдруг — замешательство у ворот и крики. Что происходит? Оказывается, что, как это обычно у сектантов, нет внутреннего согласия и что другой раскол духовоборов, придерживающийся совершенно других взглядов, требует доступа на кладбище. Наступили долгие переговоры, наконец Маркова на определенных условиях согласилась впустить их делегатов.

Не думал я, что когда-нибудь мне доведется быть свидетелем публичного богословского диспута, такого, как в XVI или XVII веке. Тот, кто обвинял моих духовоборов в самой ужасной ереси, читал с длинного свитка свой трактат по-русски стихами. Он перечислял по очереди все отступничества, то есть поэма могла бы дать представление об истории духовоборов, если бы не рассказывала о событиях, которые мне, человеку извне, оставались

невразумительными. Но что стихами, хоть и корявыми, и вкус XVII века, может быть, даже аввакумовских староверов, — это я чувствовал вполне ясно!

Когда в один из своих приездов в Мезон-Лаффит я рассказал за столом мое приключение с духоворами Зыгмунту Герцу, он пришел в восторг и всё приставал ко мне, чтобы я это когда-нибудь описал.

НАДЯ, Ходасевич-Грабовская. Когда в 1934 году я поселился в пансионате госпожи Вальморен на рю Валетт около Пантеона, то застал там Надю Ходасевич, после кратковременного брака с польским художником Грабовским носившей и вторую фамилию. Надя, голубоглазая, скуластая, была родом из семьи русских эмигрантов, после революции поселившихся в Польше. Училась она в варшавской Академии художеств.

Парижский пансионат так часто встречается во французской литературе, что о нем стоит сказать несколько слов. Предназначенный для людей с малыми доходами, студентов и мелких чиновников, он источал ауру бедности и скопидомства. Жильцы получали комнату и ужин, за который садились в столовой все вместе, чтобы медленно двигаться, проходя через три ритуальных блюда, старательно, однако, отмеренных миниатюрными порциями. Часто мы ели *soupe de lentilles*, то есть чечевичный суп. Хозяйка, мадам Вальморен, была мулаткой с Мартиники. Моими соседями были несколько студентов, несколько почтовых чиновников, Надя и пан Антоний Потоцкий.

Потоцкий — не из той аристократической семьи, — когда-то известный критик, написал в свое время историю литературы «Молодой Польши», книжку довольно странную и уже между войнами забытую. Он застрял в Париже как журналист, состарился здесь, был одинок и зарабатывал какими-то временными заказами от польского посольства. Нелюдимый, с пышными седыми усами, он был предметом опеки Нади, которая совершенно бескорыстно проявляла доброту к старому холостяку. Хотя очень хорошо говоря по-польски, она после развода с Грабовским уже ничего общего с Польшей не имела, зато часто говорила о своих братьях, оставшихся в России, показывая их письма и выражая свой энтузиазм по отношению к государству социализма.

Как художница она ориентировалась на великий и великолепный для нее образец современности — не на Пикассо или Брака, а на Фернана Леже, на картинах которого трубы, котлы и механизированные пролетарские фигуры, видимо, отвечали ее представлению о коммунизме. Ее друг, молодой французский художник, с которым они часто вместе работали и который иногда оставался на ужин, был под полным ее влиянием и писал картины так же.

Я думал о Наде как о сильной личности, но не ожидал продолжения ее биографии. Она познакомилась со своим кумиром, Фернаном Леже, завоевала его, вышла за него замуж и стала хранительницей его музея в Провансе и наследницей его фортуны.

РУССКИЙ, язык. Я родился в Российской империи, то есть там, где детям в школе запрещали говорить на другом языке, кроме русского. Даже уроки римско-католического Закона Божия в гимназии должны были вестись по-русски, хотя, как рассказывал мой отец, в Вильне законоучитель обходил запрет и велел им выучить по-русски какую-нибудь библейскую историю на случай инспекции. Тогда вызванный ученик вставал и читал наизусть всегда одно и то же: *«Авраам сидел в своей палатке»*.

От принадлежности к России нелегко отделаться. Законодательство Советского Союза считало своими гражданами всех, родившихся в границах царской России. Возможно, в этой формальной основе не было нужды, раз те, что прибыли с Красной армией в 1944 году, чтобы править, и так были советскими гражданами.

Русский язык в детстве проникал в меня путем осмоса, во время странствий моего отца по России в первую войну, а затем в Вильне, где к нашей детской компании во дворе дома №5 по Подгурной принадлежали Яшка и Сонька, говорившие по-русски. Думаю, что русификация в Вильне и окрестностях достигла, особенно после 1863 года, больших успехов.

Формально я никогда не учил этого языка, но он сидел во мне довольно глубоко. Рискнул бы сказать, что у людей, происходивших, например, из Галиции, ухо было устроено чуточку по-другому, то есть они чуточку иначе слышали свой польский, что могло проявляться и в поэзии. У Лесьмяна, родившегося в Варшаве и учившегося в Киеве, я угадываю как бы эхо русских ямбов — кстати, он и начинал со стихов по-русски. Сам я испытывал очень сильное

влечение к русской напевности в стихах. Пушкин, например, так навязывает силу и плотность своих строк, что они остаются в памяти как бы отчеканенными навсегда. Однако я довольно рано осознал, что это другой регистр, нежели регистр польской поэзии, и что подражать русским поэтам было бы опасно. Фактом остается, что я ничего не переводил с русского. Даже дружба с Иосифом Бродским, который перевел некоторое число моих стихов, не могла этого изменить. Существует лишь одно его стихотворение в моем переводе, зато я много писал о его поэзии и по-польски, и по-английски. Дискуссия о различных законах двух языков велась между двумя войнами по случаю тувимовского перевода «Евгения Онегина». На опыт Юлиана Тувима напал Адам Важик, автор конкурирующего перевода. Как известно, польский — язык со слабым постоянным ударением на предпоследнем слоге, в русском же ударение подвижное, с предпочтением к ямбическим стопам. Чтобы передать пушкинские ямбы, следует по-польски рифмовать односложные слова, с чем Тувим справился, но результат был несколько монотонным. Важик в значительной мере отказался от передачи мужских рифм, и его перевод легче дышит, он больше согласуется с духом польского языка. Несходство обоих языков заметно, например, в суждениях русских о польской поэзии. Чаще всего им нравится то, что сильно модулировано ритмом и рифмой, то есть то, что напоминает им их собственную поэзию. Польский язык избавляется от корсета метрического стиха и рифм без большого ущерба. Как будет с этим в русском языке, неизвестно. Иосиф Бродский так и оставался метрическим поэтом.

О ЮЗЕФЕ ЧЕХОВИЧЕ

Юзеф Чехович (1903–1939)

(из книги: Чеслав Милош. История польской литературы до 1939 года. Краков: Знак, 1999)

Юзеф Чехович родился в Люблине в бедной семье. В учительской семинарии он изучал педагогику, а затем работал учителем в малых городах и в деревне. Широкое знание литературы он приобрел самообразованием. Дебютировал сборником стихотворений «Камень» (1927), уже свободным от влияний «Скамандра». Хотя Чехович, если говорить о метре и ритме, был неортодоксален, вся его поэзия фактически обращалась к традициям «мещанского лиризма» XVII века и народных песен. Те черты, которыми характеризуются обе эти традиции в поэзии: как бы детскую нежность, приглушенную мелодию, нежелание употреблять какое бы то ни было ритмическое стаккато (чуждое самой природе польского языка), — Чехович воскресил в своей поэзии с большим успехом и подобно Титу Чижевскому доказал, что фольклор может оказывать на поэтов-авангардистов животворное влияние. Первым переводя некоторых тогда малоизвестных иностранных поэтов-авангардистов (Мандельштама, Джойса, Т.С. Элиота), он знал, как черпать из старых мадригалов и народных песен их эмоциональный тон, не подражая ни их рифмам, которые он употреблял изредка, ни их делению на строфы. В его стихах присутствует идиллическая Польша, милая, деревенская, даже если их действие происходит в декорациях города. Голос самого поэта, шепчущий, едва слышный, не похож ни на что из того, что можно услышать в западной поэзии, а поскольку он использовал скрытые созвучия, присущие одному только этому языку, то Чехович непереволим. Его стихи можно сравнить

с камерной музыкой, которую делает волнующей контрапункт мрачных философских и метафизических проблем. Его сборники поэзии, в которых чувственные грёзы и поэтические мифы выражают его тревоги: «день как каждый день» (1930), «баллада с той стороны» (1932), «в молнии» (1934), «ничего больше» (1936), «человеческая нота» (1939; Чехович не использовал ни заглавных букв, ни знаков препинания), — можно включить в «катастрофическое» течение. Предчувствие всеобщей гибели и нависшей над ним собственной смерти отбрасывает на его идиллические пейзажи особый свет. Он был убит бомбой в своем родном Люблине в возрасте едва лишь 36 лет.

Предисловие

(к книге: Юзеф Чехович. Стихотворения.

[Варшава]: ПИВ, 1997)

Я был свидетелем начала славы Юзефа Чеховича, длительного ее отлива после войны и возвращения поэта на принадлежащее ему место в каноне польской литературы. Для меня он до сих пор существует как человек, с которым мы были связаны дружбой и некоторое время вместе работали и сидели в одной и той же комнате отдела планирования программ Польского радио на площади Домбровского в Варшаве.

Когда говорят о межвоенной поэзии, ее принято делить на скамандритов и авангардистов, что несколько вводит в заблуждение. Ни в одну из этих групп (даже если применить довольно сомнительное понятие «второго авангарда») не уместятся такие замечательные поэты, как Адам Важик, Владислав Себыла, Анна Свирщинская и Константы Ильдефонс Галчинский. Их породила та польская магма, в которой постоянно что-то пускало ростки и главной чертой которой была нищета. Точно так же вне классификаций остается и Юзеф Чехович.

Сегодня трудно осознать, каким великим переворотом было появление в 1918 году новых поэтов, названных вскоре — от названия журнала «Скамандр» — скамандритами, и как сильно на них нападали за стихи, которые сегодня кажутся нам старосветскими. Они возмущали профессоров и литературных критиков, привыкших

к поэтике «Молодой Польши» и единственным «бардом» считавших Яна Каспровича. Тем более должна удивлять неприязнь «Скамандра» и союзных ему «Вядомостей литерацких» к младшему поколению, которое они обвиняли в том, что нехватку таланта оно восполняет так называемой современностью. Эта борьба поколений началась вместе с появлением дебютантов в конце 1920-х. Дата публикации первого сборника стихов Чеховича «Камень» (1927) здесь знаменательна. Знал ли Чехович, что так же назывался первый сборник стихов Осипа Мандельштама? Мог и не знать, хотя влияние русской поэзии на его ранние стихи весьма ощутимо. Есенин и Маяковский — а не Мандельштам — считались тогда первыми поэтами. Отметим ради анекдота, что главным гонителем Чеховича в «Вядомостях литерацких» был ротмистр Кароль А. Завадзинский, сторонник метрической и рифмованной русской поэзии и ее «напевности». Другой поэтики он не признавал, а Чехович оскорблял его вкус своим разрывом с регулярным метром и (о, ужас!) тем, что начинал свои стихи с малой буквы.

Чеховича породила провинция и чисто польская бедность. К счастью, в родном Люблине он нашел друзей и даже начинал в коллективе, в группе, издававшей журнал «Рефлектор». Вообще дружба и опека людей, как-то уже устроенных, играла большую роль в его биографии. У него не было денег продолжать образование после учительской семинарии, и ему рано пришлось начать работать учителем, сначала в белорусской деревне Слободка, потом на Волыни и в Люблине, но его стихи заметили и ему помогли перебраться в Варшаву и поступить в Институт специальной педагогики.

Больше всего помогал ему известный в истории театра режиссер Вильям Хожица. Должен напомнить, что политическое деление в Польше на пилсудчиков и «национальных» правых было крайне резким. Известно, что легионы Пилсудского были созданы вопреки мнению большинства и затем это большинство впало в гнев, когда друг Пилсудского Габриэль Нарutowич был избран президентом Речи Посполитой голосами социалистов и иноверцев. Этот гнев довел до убийства президента в 1922 году. Чехович сам был пилсудчиком, и к лагерю «санации» — а дело было как раз после [произведенного Пилсудским] майского переворота 1926 года — принадлежали его покровители. Юлиуш Каден-Бандровский, хроникер

легионов, печатал Чеховича в своем «Глосе правды литератцком». Вильям Хожица свел его с «Дрогой», редактором которой был теоретик «легионерского лагеря» Адам Скварчинский. При этом журнале было выпущено несколько сборников стихов поэта (тогда это было не так-то легко). Хожица раздобыл и какие-то деньги на поездку Чеховича во Францию, а затем поручил ему редактировать «Пьон», в общем поддерживавший «санацию».

Об этих политических связях Чеховича в ПНР не писали по понятным причинам. Признаюсь, впрочем, что и я, когда писал о Чеховиче, обошел стороной эти дружеские связи, ибо «санация» проиграла, поддавшись после смерти Пилсудского как раз тому массовому нажиму, от какого отреклась некогда легионерская песня («Не хотим уж от вас признанья...»). Вдобавок поражение государства в 1939 году бросало тень на всё так называемое «правление полковников». Эта негативная оценка, на мой взгляд, преувеличена, и добросовестность заставляет напомнить, на чьей стороне был Чехович. В конце концов, «легионерский лагерь» представлял добрую волю интеллигенции, стремившейся к независимости до 1914 года, той интеллигенции, против которой стояла сила национальной инерции.

Мою дружбу с Чеховичем характеризовали восхищение и уважение к старшему поэту, который в нашей юмористической ложе дал себе титул Императора Энциклопедии, меня назначив Страшным Братом, то есть надзирателем, видимо по причине моего упрямства. Ни в его счастливый период на Повислье, когда его квартира в Доме польского учительства притягивала к себе поэтов из знаменитой общей комнаты на Доброй, ни позднее, когда он жил на ул. Нарбутта, я не расспрашивал его о слишком личных делах, оставляя ему инициативу признаний. Его гомосексуализм в кругу друзей не подлежал обсуждению — попросту принимали, что он живет со Стефанеком. Правда, в те времена такие сексуальные пристрастия нередко вызывали враждебность общественного мнения, и момент осознания своей инаковости, должно быть, был у него нелегким, но мы об этом никогда не говорили. Он не принадлежал к несносному роду «геев», которые без устали гонятся за новыми приключениями, и его моногамная связь никому не вредила. Не говорили мы с ним и о его любовных стихах, в которых фигурировали женщины. Зато он часто возвращался к своему

клейму, наследственному заболеванию. Как я тогда понимал, это были последствия сифилиса у его предков, вроде бы угроза слепоты, но теперь я думаю, что больше всего он боялся сумасшествия. Чту, пожалуй, важно, так это то, что в его поэзии есть не только интенсивное предчувствие катастрофы, войны и собственной смерти, ибо одновременно он сражался со своей судьбой изо дня в день, считая себя человеком заклеянным, постоянно на краю бездны. В соединении с его мягкостью и добродушным юмором это создавало особый ореол — как бы смирения и ласковой меланхолии. Тем не менее мы неплохо веселились в нашем кабинете на радио, где разгоняли скуку, сочиняя смешные стишки или выскакивая заложить за воротник в «Деликатесы» на Маршалковской (пожалуй, первое такое соединение гастронома и бара в Варшаве). Чехович, правда, был малопьющий, не могу себе его вообразить и с сигаретой — всегда вижу его с толстой искривленной трубкой.

Из польской провинциальной бедности он выбрался благодаря самообразованию и безудержному чтению. Его любознательность открывала всё новые явления и новых авторов. Он знал русский и украинский, позже особенно интересовался французской поэзией, хотя с французским языком был не в ладах. Он начал изучать английский и был, пожалуй, единственным литератором в Варшаве, который где-то достал «Критерион», элитарный журнал, издававшийся в Лондоне Т.С.Элиотом. Этого поэта он вдобавок переводил первым в Польше (если не считать профессора Вацлава Борового).

Я ценил его поэзию, потому что ее красота появлялась как-то вопреки логике и, сказал бы я, вопреки логике его развития как поэта. Я не очень-то понимаю, как могли родиться некоторые его стихотворения, те, которые можно назвать шедеврами. Хорошее мастерство обычно обеспечивает так называемый хороший уровень, но тут речь шла о чем-то большем, о дарах свыше, как будто для того, чтобы подтвердить тезис Томаса Манна о связи искусства с болезнью. Вероятно, поэтому вокруг Чеховича нарастала легенда, он становился, как говорят сегодня, культовым поэтом, которому подражало множество молодых, чьи имена ныне забыты.

Друзьям была известна амбиция Чеховича: возглавить атаки молодежи на бастионы «Скамандра» и «Вядомостей литератских». Он пробовал это с виленскими «Жагарами» и краковской «Линией»,

принимал участие в «Наезде Авангарда на Варшаву» в 1934 году. Как я уже упоминал, понятие авангарда было тогда довольно расплывчатым. Следовало искать другого названия для кристаллизирующейся новой плеяды, среди которой он сам был уже старейшиной. Это произошло, когда он вступил в союз с начинающим критиком Людвиком Фриде и они вместе основали журнал «Пюро». Фриде старался определить, что характеризует поэзию нового поколения, не вмещающегося в прежние рубрики, и называл имена: Юзеф Чехович, Анна Свирщинская, Станислав Пентак, Чеслав Милош, Ежи Загурский, Александр Рымкевич. Вышел только один номер журнала. Это происходило уже перед самым сентябрем 1939 года, и весь тираж второго номера сгорел примерно тогда же, когда в люблинскую бомбежку 9 сентября погиб Юзеф Чехович.

О его поэзии много писали и много еще будут писать. Я сумел бы более или менее показать, откуда она вытекает, какие принимает притоки. Дело, однако, в том, что мне не особо хочется. В его творчестве я предпочел бы видеть драгоценную руду, из которой ему удалось выплавить и таинственным образом высечь несколько золотых предметов. И они будут жить так долго, как долго будет жить польский язык.

О «БАЛЕ В ОПЕРЕ» ЮЛИАНА ТУВИМА

Литературная лекция (Отрывок)

Он обладал языковой гениальностью. Эти слова — не преувеличение, хотя известно, что ценность каждого поэта зависит от дара языка. У Тувима это проявлялось в том, что он вверялся слышимой внутренним ухом мелодекламации, даже лишенной смысла. Так относится к языку ребенок.

Влюбленный в слово, собиравший груды словарей, Тувим дарил любовью славянское наречие как в его польском, так и в русском варианте. Видимо, на него наложила свою печать еще русская гимназия. В его рифмотворческом чувстве проявлялась склонность к ямбической ударности и односложным рифмам, с чем, кстати, у него соединялся культ Пушкина.

«Бал в опере» предстает как острая политическая сатира, написанная отчаявшимся человеком. Гневный тон и употребление слов, считавшихся тогда нецензурными, не позволили издать поэму целиком.

Полный текст из номера в номер, начиная с июля 1946 года, печатали «Шпильки». Иллюстрации к «Балу в опере» по желанию автора сделал Бронислав Линке.

Я постараюсь показать, что «Бал в опере» — нечто большее, чем просто политическая сатира, несмотря на тесную связь поэмы с местом и временем ее возникновения.

Конец света, происходящий в Варшаве. И, в конце-то концов, это единственный город в Европе, который был полностью уничтожен.

Что происходит в поэме? Архикратор — или, как указывают греческие корни слова, всемогущий владыка — дает бал. Это

совершенно явный диктатор, может быть такой, как Муссолини, во всяком случае стоящий во главе тоталитарного режима. В Польше такого не было, и правительства в ней можно назвать лишь фашиствующими. Архикратор наделяется не обязательно польскими, но присущими всей тогдашней больной Европе признаками.

Гости на балу принадлежат к сильным мира сего. Они веселятся, не обращая внимания на действительность, которая готовит их поражение. Таким образом, здесь возвращается образец библейской притчи из Книги Даниила о царе Валтасаре, который веселился и пировал, пока не появилась рука, начертавшая на стене приговор: мене, текел, перес. Не мог не думать Тувим и о «Бале у сенатора» в «Дзядях», который длится при полном ощущении безнаказанности, хотя черти только и ждут своего часа. Знал он и «Отрывок», завершающий «Дзяды», а в нем — описание Петербурга царей как Вавилона, не сознающего, какое ему предстоит будущее.

Образ героической Варшавы заслонил Варшаву межвоенного двадцатилетия, поэтому обращение к ней как к великой блуднице, подобной Риму, может резать слух как преувеличение. Однако во многих писаниях, упроченных литературой, Варшава, озаменованная клеймом долгого русского господства, предстает городом контрастов и почти азиатской нищеты.

Описание Польши здесь сатирическое. Однако этот временной аспект не должен заслонять иной пласт произведения, в котором дают себя знать некоторые устойчивые черты личности Тувима. Его отвращение вызывает не только данный строй, но и человеческое общество как таковое. На этот след нас выводит тот факт, что он снабдил поэму эпиграфом из Апокалипсиса.

Языковое мастерство поэмы, вся ее словесная и ритмическая изобретательность могут быть, были и будут проанализированы, я же хотел ограничиться принципиальными вопросами о характере этой ни на что не похожей сатиры. Поэт ставит себя перед лицом неразумия XX века, и ужас, который он, видя это, испытывает, достаточен, чтобы убедить его, что мера зла исполнилась. Я готов рискнуть и сказать, что «Бал в опере» — это молитва о небытии мира, который слишком порочен, чтобы иметь право продолжаться.

ПИСЬМО И ЕГО АДРЕСАТЫ

Письмо Иоанна Павла II деятелям искусства — событие неожиданное, захватывающее, чудесное. При самом конце века ужасающих войн и преступлений — и в то же время всё новых и новых переворотов в искусстве, восхищенном неустанными поисками нового, — раздаётся мудрый и спокойный голос, напоминающий нам всем, что было целью и призванием людей искусства извечно.

Следует, однако, спросить, насколько это послание залазит нам за кожу? Может, мы уже так деморализованы, что слова, должествующие вернуть наше чувство общности с художниками минувших эпох, соскальзывают с нас, не убеждая? Правда, напрасно защищались бы мы, ссылаясь на то, что язык богословия нам чужд. Язык Иоанна Павла II — наш язык, со всей очевидностью сформированный в результате его размышлений поэта, и попадает в цель не только там, где он ссылается на Норвида и Достоевского. Трудно лучше сформулировать задачи искусства: «Всякое подлинное художественное вдохновение, — пишет Папа, — выходит за рамки того, что постигают чувства, и, проникая действительность, стремится выяснить ее скрытую тайну. Истоки его лежат в глубине человеческой души — там, где жажда придать смысл своей жизни соединяется с неуловимым ощущением красоты и таинственного единства вещей. Все художники отдают себе отчет в том, какая глубокая пропасть существует между произведениями их рук, даже самыми удачными, и ослепительным совершенством красоты, увиденной в минуту творческого восторга: всё, что он сумеет выразить кистью, резцом, другими творческими инструментами, — это лишь отблеск того света, который на несколько мгновений воссиял очам их души».

Каковы же возможные причины сопротивления художников так ясно названным чаяниям каждого из них?

Думаю, что есть одна главная причина. Вот в письме говорится о прекрасной земле, какой она явилась очам Господа: «И увидел Бог всё, что Он создал, и вот, хорошо весьма». В нем даже не упомянут дьявол, в то время как художники заканчивающегося века неустанно имели дело, притом и в себе самих, с нашептыванием бесовского искусства. Их увлечение злом и страданиями зашло так далеко, что художники под влиянием естественных наук признали их законом земли, истинным обликом Духа Земли. Дьявольская гримаса стала чертой выдающихся произведений, так что многие наши современники усматривают в них признаки одержимости, требующие экзорциста. Более того, оная гримаса проникла и в самое форму и даже нашла теоретиков, утверждающих, что бывшее гармоническое искусство уже невозможно и что новой красоты можно достичь лишь соединением безобразных, скрежещающих, рассорившихся друг с другом элементов. Насмешка, ирония и сарказм кажутся необходимыми приправами искусства — до такой степени, что без них оно выглядит лишенным вкуса, будто еда без соли. А эти приправы доказывают, как глубоки перемены в нашем восприятии мира. Это как бы страх, что нас заподозрят в наивной похвале бытия («увидел всё, что создал, и вот, хорошо весьма»), как бы страховка от компанейского выговора с ужимками и подмигиваньями. Ибо знание о силе зла стало уже компанейским знанием и направлено против блаженного зрения какого-нибудь нового фра Анджелико.

Откровенно христианское искусство, всем собою подтверждающее церковные догматы, — сегодня явление редкое. Тем не менее остается в силе утверждение из папского послания: «Ибо искусство, если оно подлинно, хотя и не обязательно выражается в типично религиозных формах, сохраняет внутреннее родство с миром веры, так что даже в обстоятельствах глубокого раскола между культурой и Церковью не что иное, как искусство, остается своего рода помостом, ведущим к религиозному опыту».

«Глубокий раскол между культурой и Церковью» — это сегодня факт, а причина этого — в первую очередь трудность смирить образы зла с образом личного Бога, который не умер, как того хотел Ницше, но как бы окружил себя туманом или скрылся. Тайна бытия всё больше становится тайной боли. Глубокий дуализм христианства — ибо при всём приятии жизни земля остается для

него «юдолью слёз» — ближе художникам, чем хвалебная песнь, как был он ближе философу художников Шопенгауэру. Поэтому уже сто лет художники идут в первых рядах тех, кто выражает симпатии к буддизму — нетеистической религии сострадания.

«Красота спасет мир» — считал Достоевский. Если учитывать, как вездесущи подлость и жестокость, как постоянно терпит поражение добро и постоянно повторяется победа зла, то красоты быть не должно, и она даже становится вызовом и почти оскорблением страдающим существам. И всё-таки красота существует, притом одновременно, прямо рядом и даже в тесной связи со зрелищами ничем не сдерживаемого произвола — как бы в доказательство беспристрастия Бога, который одним и тем же дождем орошает праведных и неправедных. И раз в папском послании говорится о красоте, то понятна его похвала всему сотворенному, пусть оно и приносит нам несказанную боль.

Что доказывает дьявольская гримаса искусства XX века? Можно рискнуть и предположить, что, парадоксально, она означает победу морали над эстетикой. Разные варианты отчаяния как будто составляют обвинительный акт, чтобы наконец спровоцировать ответ Обвиняемого, Который молчит, зато Его пересмешиник и соперник неустанно льет потоками умные и блестящие речи. Он убеждает художников, что соглашаться на мир — предательство и что если когда-то было время на погоню за красотой, то теперь уже поздно.

Папское послание не исключает художников-нехристиан, но особо обращается к христианам, и из того, что в нем говорится, можно сделать вывод, что только эти последние способны преодолеть экзистенциальное отчаяние родом из нашептываний Злого. Это может совершить только их вера. Вот слова послания: «...союз, извечно существующий между Евангелием и искусством, независимо от своих функциональных аспектов, связан с призывом проникнуть творческой интуицией в глубину тайны Бога Воплощенного и вместе с тем в тайну человека. Всякий человек в каком-то смысле остается неизвестен самому себе. Иисус Христос являет не только Бога, но „полностью являет человека самому человеку“. Во Христе Бог примирил мир с Собою».

Но мы, художники, испрашивая дар веры, всё-таки чувствуем эту гримасу, эту маску, которая приросла у нас к лицу. Как от нее

избавиться? Размышления о тайне человека приводят нас к выводу, от которыми мы защищаемся всеми силами: о том, что князь мира сего побеждает, ибо находит союзника в «я» каждого из нас. Разве Мартин Лютер не объявил дьявола владыкой всех наших поступков и порывов, спасение видя в одной только благодати? И разве успехи наук, занимающихся человеком, не подтвердили эту уверенность в наличии темного пространства внутри каждого из нас? Таким образом натренированные, мы похожи на того художника, который решил изобразить сияющий, великолепный облик и с каждым взмахом кисти видит, как тот постепенно превращается в неумышленную карикатуру, в сатиру на бытие.

Когда мы читаем письмо Папы художникам, сердце нам говорит, что каждое его слово есть истина, хотя истина в масштабе тысячелетий, а не одного короткого момента истории. Мы хотели бы, чтобы XXI век принес подтверждение этой истины в лучезарных, чистых произведениях, свидетельствующих, что болезни, мучившие несколько поколений, преодолены. И, быть может, тогда то, что кажется нам невозможным, окажется возможным.

НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ

Ежи Гедройц (1906–2000)

Хотелось бы, чтобы в том, что я скажу о Ежи Гедройце, нашлось что-то полезное для молодых поколений. Молодежи невероятно трудно вообразить себе эпоху, в которую он действовал. А жизнь Гедройца продолжалась долго, и был он человеком нескольких эпох. Он был весьма активен уже в межвоенное двадцатилетие. Впервые я услышал о нем, когда приехал в Варшаву в тридцатые годы. Стефан Наперский, поэт и редактор «Атенеума», сказал мне, что в министерстве сельского хозяйства есть молодой чиновник, очень дружелюбный молодым поэтам, и что с ним стоит познакомиться. Выходивший тогда под редакцией Гедройца «Бунт молодых» — это еще одна тема: удивительный журнал, заслуживающий воспоминаний и даже исследований, так как он располагался в стороне от исхоженных путей и политических разделений, весьма прочных на протяжении всего двадцатилетия, хотя сам Гедройц несомненно принадлежал к течению пилсудчиков.

Его активность во время войны, вступление в Карпатскую бригаду, участие в боевых действиях в Африке, деятельность в просветительском центре польской армии — всё это готовило его к миру, наступившему после Ялты.

Вообразить себе размах перемен, происшедших в 1945 году, сегодня почти невозможно. Странность этого мира, разделение Европы на две части и тот факт, что западные союзники признали ее восточную часть принадлежащей Москве, — всё это было трудно понять объективно. Казалось, однако, что так оно и останется по крайней мере еще сто лет. Ничего удивительного, что солдаты армии Андерса были от этого в ужасе. Особенно если учесть, что эта армия состояла из людей, которых вывезли на восток и которым

после освобождения из лагерей или спецпоселений удалось добраться до Андерса. У тех, кому не удалось, были потом — как у Ярузельского — другие приключения.

Когда Гедройц создавал в Италии свое издательство и журнал «Культура», андерсовцы составляли его клиентуру. Убежденность Гедройца в том, что надо преодолеть взаимные мстительные чувства и ненависть, выросшую между поляками и украинцами, литовцами, белорусами и что ради этого следует отказаться от Львова и Вильно, наталкивалась на чрезвычайно враждебные мнения эмигрантов родом с тех земель. Он, однако, вел свою линию с упорством, и нынешние отношения между Польшей и ее соседями — в большой степени результат его деятельности. В этом направлении работало бесчисленное количество статей в «Культуре», не говоря уж о таком предприятии, как печать украинских книг. Лет примерно двадцать тому назад я написал юмористический рассказ: вот она, свободная Литва, и она наконец признала ценность местной аристократии. В Вильнюс приезжает Гедройц, в университете огромное собрание, и Гедройц обращается к его участникам на чистейшем литовском языке, говоря: «Вынужден был это скрывать, не то поляки бы меня съели». Ну и наступило невероятное исполнение этой шутки: Гедройц действительно получил почетное гражданство Литвы и орден Гедимина, хоть в Вильнюс не поехал, литовского языка никогда не знал, а родился в Минске...

Ивашкевич когда-то написал мне: эмигранты воображают, что можно всё заморозить и потом снова будет, как до войны, а это невозможно. Я был такого же мнения. Но Гедройц не считал того, что происходит в Польше, поверхностными переменами. Он отдавал себе отчет в их глубине, старался их разведать и влиять на их ход. Молодому поколению трудно сегодня объяснить, чем отличались «Вядомости» и круги лондонской эмиграции от Гедройца, — а разница была огромной. Мечислав Грыдзевский, который был несомненным гением редакторства, приспосабливался к своим читателям, а читатели-эмигранты, будь то в Лондоне, будь то в Америке, в определенном смысле застыли в довоенной ментальности. Гедройц же стремился эту ментальность менять, но прежде всего делал ставку на читателей в Польше. Разумеется, теоретически, потому что в Польшу доходила лишь малая доля тиража «Культуры», но по его представлениям Польша в первую очередь заслуживала внимания.

Легенда Гедройца, которая сейчас распространяется в масс-медиа, для меня невероятно поучительна. Потому что я видел начиная с 1951 года, когда укрылся в Мезон-Лафите, какое это было нищее, крохотное предприятие. Можно поразмыслить над преобразованием крохотных событий в легенду и над их воздействием. Последний марш из Олеандров в 1914 году тоже был крохотным предприятием, которое позже обросло легендой. Легенда росла еще в ПНР: «Культура» представлялась гэбэшникам могущественным американским учреждением, которое пронизывает весь Восток. А в действительности Гедройц держался в стороне от американских учреждений. Когда возник Конгресс свободы культуры, «Культуре» предлагали стать одним из его органов. Гедройц отказался, желая сохранить независимость, — в результате «Культура» на несколько десятков лет пережила Конгресс и все издававшиеся им журналы. Итак, это было крохотное предприятие, вдобавок с постоянными финансовыми чудесами. Один пример: после переселения во Францию «Культура» снимала запущенный дом в Мезон-Лафите, на авеню Корнеля. В какой-то момент пришлось оттуда выселяться. И купили новый дом, хотя это казалось почти невозможным: нашлись богатые друзья*. Целая серия малых чудес, благодаря которым журнал продолжал существовать, правда, имея свою базу в виде подписчиков. Пунктом чести «Культуры» было платить гонорары. Небольшие, не такие, чтобы стать сильной стороной моего бюджета, но Гедройц всегда честно их выплачивал.

Наше сожительство в эмиграции было поначалу трудным — по моей вине. Потому что скажем себе честно: литераторы в послевоенной Польше считали эмиграцию чем-то ниже себя, чем-то обреченным на гибель. Это было своего рода светское мнение — а я утверждаю, что ПНР в большой степени опиралась на светскую ментальность своей элиты. Я и сам находился под влиянием этой ментальности, когда решил остаться на Западе. И во время первого моего пребывания в Мезон-Лафите я был не слишком приятным...

* Русскому читателю объясним то, что Милош опускает, видимо, в расчете на всезнание польского читателя. «Нашлись богатые друзья» и дали нужную сумму в долг, а потом эту сумму на возвращение долга постепенно собрали читатели «Культуры». — НГ

А я же по гроб жизни должен быть благодарен Гедройцу за позицию, которую он занял в так называемом деле Милоша. «Дело Милоша», которое сегодня выглядит абсурдным, было по сути весьма серьезным. Речь шла не только о том, можно ли принять в среду эмигрантов человека, который пять лет служил коммунистическому режиму. Главной сутью было другое — подозрение, что я советский агент, засланный, чтобы разлагать эмиграцию. И во время кампании, которая велась против меня и могла довести меня до самоубийства, Гедройц твердо стал на мою сторону, даже порвав со своим близким другом Рышардом Врагой, который настаивал на том, что я агент НКВД. Гедройц был человеком аскетическим, преданным одной идее и полным всё новых и новых замыслов. Наша переписка состоит главным образом из его писем-инструкций: кому надо помочь получить стипендию, кого рекомендовать надлежащему лицу, обратиться к какому-то политику во Франции или Америке и так далее. Девяноста процентов его просьб я не мог исполнить.

Он был человеком, уверенным в своей правоте, обладал редким упорством. А я принадлежал к тем, кто верил, что советская империя распадется, но не при нашей жизни. И разнообразная деятельность Гедройца не возбуждала моего энтузиазма. Мне ближе было мнение Кота Еленского, который, например, к переброске номеров «Культуры» через Татры, закончившейся т.н. процессом альпинистов, относился отрицательно, считая, что не нужно подставлять людей под риск. Таким образом, у меня к Гедройцу были двойственные чувства: восхищение, граничившее с преклонением, и скептицизм, временами перерождавшийся в раздражение. Его заслуги для культуры огромны, хотя деятельностью своей он занимался в политических целях. Однако политику он понимал серьезно и глубоко, полностью сознавая, что словесность на польском языке — это крупный козырь.

Однажды он сказал: «Я отказался от личной жизни», — и в этом не было никакого преувеличения. «Культура» могла существовать только потому, что ею стала группа из четырех человек, создавших маленький фаланстер, коммуны с общежитием и общим котлом, отказавшись от многого ради одного дела. И это тоже трудно понять молодежи сейчас, когда моден индивидуализм...

ПРЕМИЯ ЧЕСЛАВА МИЛОША

Премия Чеслава Милоша (не имени Милоша!) учреждена в 1991 году. Ее должно было присуждать жюри в составе: Ян Юзеф Щепанский (председатель), Юлия Гартвиг, Яцек Бохенский, Владислав Терлецкий, Тадеуш Древновский.

Премию получили: в 1991 году Александр Юревич за книгу «Лида», в 1992-м — Анджей Шмидт за сборник стихов «Скрипачки», в 1993-м — Анджей Калинин за книгу «И Бог о нас забыл».

В 1994 году премия не присуждалась, так как жюри не смогло собраться. Члены жюри просили избавить их от слишком тяжелой обязанности. Поэтому выбор лауреатов взял на себя учредитель премии. В 1995 году премию получила Иоанна Полляк за книгу «Думая об образах». Затем, так как я часто находился за границей, произошел перерыв в несколько лет.

В этом году я решил разделить премию (она составляет сейчас 10 тыс. злотых) между двумя поэтами, постоянными успехами которых в совершенствовании поэтического ремесла я давно восхищаюсь, — это Павел Марцинкевич и Яцек Подсядло. Воспользуюсь случаем выхода и рекламы двух книг этих поэтов, чтобы объявить, что я присудил им премию не за отдельные сборники и не за творчество в целом — это еще рано, — а за подлинность и поиски своей самобытности.

Обоснование

Хозяйство польской поэзии подвергается всё новым потрясениям, вызванным спазматической историей страны и необходимостью усвоения стилей и образа мыслей, приходящих извне,

главным образом с так называемого Запада. Эти два фактора действовали и в последнее десятилетие и в результате принесли своего рода кризис самобытности. Тиртейский образец утрачивался, а влияние западной массовой культуры выразилось нашестви-ем возникшей в ее рамках поэзии, прежде всего американской.

В этих условиях такие названия, как «бунт», «варвары», «классики», «постмодернизм», следует считать слишком преходящими и мнимыми.

Подсядло и Марцинкевич в своих стихах искали ответа на вопрос: «Кто мы?» Искали в рамках языка, продолжая все традиции начиная от Кохановского, а экзистенциально — в том, чем их действительность отличается от действительности американских поэтов. Внимательно наблюдать и описывать мир: во время странствий по Польше у Подсядло или жизни в скопищах блочных домов у Марцинкевича, — вот в чем они нашли свою подлинность и оригинальность. Конкретность уберегает их от превращения поэзии в стилистические упражнения. Они очень разные, однако у них один и тот же человеческий пейзаж их страны, сформировавшийся главным образом во времена ПНР, и поэтому я не колеблясь назову их реалистическими поэтами. Из строф Марцинкевича к нам приходят завсегдатаи «Боцманского бара», приходит та из беседки на садовых участках, что говорила «трепеща бровями», «эти пуговицы расстегаются» и путала Пруса с Прустом, Лешек со своим шурином, Михал М., инженер с генеалогией, Леон М., что вернулся из сибирского лагеря калекой, Гутя, который ходил на мессы в приход Ополе-Полдеревни. А у Подсядло мне сегодня важно, что он продолжил линию Стахуры и некоторого время был «культовым» поэтом, важны местности и лица, которые он собрал в своем бродяжничестве. Мы помним приозерные биваки, пахнущую дымом костра Лидку, присутствие Анны-Марии и игрушки Давида. Я мог бы произвести анализ стихосложения этих поэтов на фоне всей польской поэзии XIX и XX века, но это потребовало бы долгого цитирования. Во всяком случае, эти поэты опровергли мои опасения, что польская поэзия станет исключительно подражательной, — этим и обосновано присуждение премии.

О НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Лекция, прочитанная на открытии лекционного цикла Польского совета бизнеса

Польский совет бизнеса в десятую годовщину своего возникновения учредил чтение цикла лекций в своем помещении — дворце Собанских в Варшаве.

«Лекции, на которые мы рассчитываем, — говорится в письме ПСБ об этом замысле, должны носить принципиальный, проблемный характер <...>. Замысел состоит в истинном распознании сложности той действительности, которая определяет нашу современность, нашу жизнь и работу, и в размышлениях о ней. О чтении лекций мы хотим просить лиц в высшей степени компетентных и авторитетных, издавна играющих роль в интеллектуальной, политической и культурной жизни Польши, Европы и Америки. Лекции будут предназначены для замкнутого круга приглашенных — имеющих реальное влияние на выработку мнений в кругах интеллигенции, бизнеса, политики и СМИ».

Куратор цикла лекций — Петр Клочовский. Цикл открылся 14 марта 2002 года лекцией Чеслава Милоша (передававшейся по телебиму) и лекцией Рышарда Капустинского.

Следует покончить с традиционным делением на интеллигенцию и бизнесменов. Именно в этом направлении пошел Польский совет бизнеса со своим начинанием, которое я хотел бы поддержать. Открывая цикл лекций ПСБ, выражаю надежду, что они станут устойчивым и важным институтом культуры в Польше.

Ч.М.

Расширение Евросоюза за счет новых стран, как и одновременное явление глобализации заставляют ставить вопросы о национально-культурном самосознании отдельных европейских пространств, а в особенности, что нас больше всего волнует, пространства

Центральной и Восточной Европы, лишь недавно возвращенного так называемому Западу.

Польша гордится своей принадлежностью к западной культуре, однако этот западный характер во многие периоды ее истории был довольно сомнителен. Даже во времена полной независимости, между двумя мировыми войнами, поэт Ежи Либерт писал о нашей столице Варшаве: «Не Запад тут и не Восток — / Как если б стоя на пороге...», — а Станислав Игнаций Виткевич говорил, что Польша постоянно подвергается историческим сквознякам. Надо признать, что само географическое положение Польши как страны на пограничье двух цивилизаций — Рима и Византии — способствовало этому историческому неудобству. Стоит помнить и о наследии былой Речи Посполитой на востоке, с ее смесью языков и вероисповеданий.

Сегодняшней глобализации сопутствует так называемая массовая культура, то есть такая, что родилась поздно, лишь в XX веке, благодаря кино, телевидению, музыкальной индустрии и иллюстрированным журналам. Понятие массовой культуры обычно противопоставляют так называемой высокой культуре. Не подлежит сомнению, что все жалобы на сглаживание национальной самобытности и потерю исторической памяти обращены к массовой культуре. И действительно, начинает создаваться новый тип человека, который живет сегодняшним днем и которого лишь с трудом можно убедить интересоваться тем, что было когда-то. А историческое сознание, утверждаю, — великое сокровище. Сошлюсь тут на многие годы, проведенные мною в Америке, в течение которых, подвергаясь натиску массовой культуры, я не перестал писать по-польски и чувствовал себя прочно укорененным в своем языке и своих, в высшей степени провинциальных корнях. Ибо историческое сознание существует тогда, когда прошлое той или иной культуры не абстрактно, а явлено в виде множества образов и цитат.

Не будем, однако, жаловаться на потерю памяти, ибо история Европы, включая самую новейшую, напоминает нам, какие яды хранит коллективная память. Еще недавно в бывшей Югославии шли убийства со ссылкой на битву на Косовом поле и века разделения на мусульман и православных. И у нас есть чувство, что мы ходим по тонкому льду взаимной польско-немецкой, польско-

русской, польско-украинской ненависти. Память — дело двусмысленное, и всё зависит от того, к каким ее составным элементам мы апеллируем в поисках ответа на вопрос, что мы такое. Должен признаться, что, преподавая польскую литературу в американских университетах, я осознал, как многим обязан моему детству и молодости в Литве. И такой тамошней языковой и вероисповедной запутанности, которая даже жителю Варшавы или Кракова, должно быть, казалась невразумительной галиматьей. И как раз эта густота, особенность и, позволю себе сказать, особенность защищала от обобщений, от так называемых *idées générales*. Я чувствовал себя богаче моих студентов, которые, при всех своих достоинствах, были лишены чувства истории, то есть были в совершенстве аисторичны.

Надо, однако, заметить, что массовой культуре я тут противопоставляю культуру высокую, то есть преподавание истории и литературы в лицах и университетах или, короче говоря, всё то, чему я сам научился в гимназии им. короля Сигизмунда Августа и Университете им. Стефана Батория. В средней школе на уроках латыни я ознакомился с искусством коллективного перевода стихов и применил это на моих семинарах по переводу польских стихов на английский. Хочу также поделиться одним наблюдением, важным для моей темы. Я заметил, что самое трудное в передаче иноязычному читателю — всяческие намеки на историю страны и ее литературы. Но эти-то непонятные слова и предложения — в высшей степени мои собственные, в них коренится богатство традиций, в которых я вырос. Теперь я думаю еще, что плохо было бы, если бы эти предложения и слова стали непонятными ученику польского лица в объединенной Европе.

Мы недостаточно осознаём, что лишь недавно наступил конец огромной утопии — гигантского плана создания «нового человека» и ограждения нашей части Европы оборонительной стеной против заразы сумасшедшей музыки, нефигуративной живописи и литературы, исследующей внутренний мир личности. Огромное это было предприятие — и как бы заведомо безнадежное, ибо влияние «гнилого Запада» проникало сквозь любые щелочки. И тогда в Польше наступала счастливая встреча прозападного прошлого с принудительно провосточным настоящим. Польская интеллигенция была снобистски прозападной, несколько веков она смотрела

только на Париж. Помню, что для нас в Варшаве в 1940 году падение Парижа было потрясением — оно попросту равнялось концу Европы. Правда, влияние французской культуры тогда было уже на излете, и Варшава начала бурно учиться английскому еще в 1938 году. Я принадлежу к тем, кто изучил английский язык во время войны, при немецкой оккупации. Тогда я начал переводить английских поэтов, хотя немного переводил еще до войны, опираясь на французские переводы.

И тут я вставляю одну анекдотическую деталь, пожалуй, красноречивую для польской культуры. Чем занимался я в 1945 году в Кракове, чтобы профилактически противодействовать серости, надвигавшейся с востока? Я составил антологию английской поэзии в разных переводах и отдал ее в издательство «Читательник». Признаюсь в этом с некоторым стыдом по причине умственного клейма, выдающего мою готовность стать «слугой американского империализма». Если бы это случилось с человеком правых убеждений, то было бы понятней, но я был левым, и только не нравилась мне утопия, навязанная извне, из Кремля.

Поэзия относится к тому, что называют высокой культурой, но связи между высокой и массовой культурой сложны и не сводятся к противостоянию. В XX веке такое явление, как музыка Боба Дилана, принадлежит и к той культуре, и к другой. Поэтому на маневры польских литераторов между Западом и Востоком надо посмотреть внимательно. История Польши и польской литературы, как известно, исключительно трагична и запутана. Достаточно подумать о борьбе с этими традициями в драмах Выспянского. Прошлое — это романтическая Польша-мученица, Христос народов, но и то, что можно было бы назвать историей энергии. А значит, польская эпоха Просвещения, когда на умы еще не было наложено клеймо неволи. Затем великий порыв романтической поэзии и огромные труды интеллигенции в конце XIX века, когда задачей было сохранить связь с мировой мыслью вопреки тенденции загонять самих себя в навязчивую идею борьбы за независимость. Так или иначе, а это образ Польши, к которому потомки должны были относиться с почитанием и благоговением.

И вот является великий иконоборец Витольд Гомбрович и провозглашает бунт против Польши-богини. Он считает себя мессией, избавляющим Польшу от польского духа. Этот великий

пересмешник поначалу встретил признание лишь в элитарных кругах, но постепенно насмешки над самими собой стали общераспространенными и превратились в своего рода шаблон. Любые идеи, распространяясь и популяризируясь, приобретают черты карикатуры. Что-то подобное произошло и с пересмешнической идеей Гомбровича. Поэтому сегодня можно говорить о ее массовом бытовании. Оценивая это издевательство над своей страной и ее историей в столкновении с глобализацией, то есть сглаживанием различий между народами, я сказал бы, что это склонность болезненная. Лекарством тут может оказаться подлинная мысль Гомбровича, отличающаяся от искаженной. Сутью творчества этого писателя была борьба с натиском Запада, понимаемого как необъятное богатство европейской цивилизации. Он задавал себе вопрос, как он, поляк, может устоять перед этим нашествием замечательных умов и талантов. Он, «латинизированный славянин», всё культурное прошлое которого было перевариванием мотивов, приходящих с Запада. Но западная цивилизация была старой, и он противопоставлял ей нашу «младшесть», нашу незрелость, именно в ней усматривая большую свежесть и гибкость, освобождающую от господства всё новых условностей и форм. Гомбрович признавался, что он — шляхтич-сармат, но в то же время был одержим идеей философской недообразованности польских литераторов. В своей критике западных интеллектуальных мод он всегда бил без промаха, попадая в самые чувствительные точки. Он схватывался с экзистенциализмом, структурализмом и французским *le nouveau roman*, говоря: «Чем умнее, тем глупее». Иначе говоря, он обвинял эти западные течения в недостатке здравого разума и ощущения действительности. Он был за то, чтобы поляк выработал себе независимую позицию, суверенную по отношению к западному престижу, на который работали века.

Мне кажется, что такой Гомбрович — писатель, исключительно злободневный в настоящий момент европейской интеграции. Ибо он не представляет ни погружения в собственную партикулярность, ни растворения в однообразной культуре масс-медиа. В своих схватках с Польшей он позволяет вспомнить о Выспяньском и его «Освобождении». Я говорю это с некоторым удивлением, так как нас соединила наша судьба эмигрантов и — как раз —

некоторая двусмысленность по отношению к своей национальной принадлежности. Однако, как случается, в весьма помутненные периоды истории лишь постепенно выявляется общественная пригодность чисто индивидуальных актов сопротивления коллективным навыкам. Особая роль тут выпала двум писателям-эмигрантам, которых издавал и пропагандировал редактор парижской «Культуры» Ежи Гедройц.

2002

БЕЗДОМНОСТЬ ПРАВДЫ

Спор о Герлинге-Грудзинском

Одиночество Густава Герлинга-Грудзинского в Италии — предмет двух статей и интервью авторства итальянцев: Роберто Сальвадори, Мауро Мартини и Марчелло Флореса («Газета свѣтєчна», 22–23 июня 2002)

Герлинг-Грудзинский, до войны молодой полонист с левыми склонностями и начинающий литературный критик, после 1939 года оказался в советском лагере, где открыл суть системы. Освобожденный по амнистии 1941 года, он вышел из лагеря, ощущая обязательства перед русскими друзьями, которые там остались.

Лагерный опыт ознаменовал всю его жизнь. Выполняя обязательства, он написал книгу «Иной мир», которая обеспечивает ему прочное место в польской и всемирной литературе. Много лет он жил в Италии и был человеком, который знает, в то время как литературной круги этой страны не нуждались в его знании и окружали его длительным заговором молчания.

Дело, однако, не сводилось к контролю итальянской компартии над итальянской культурной жизнью. Здесь действовали куда более тонкие механизмы, которые принадлежали скорее к неписаным компанейским договоренностям, использовавшим табу. Мы знаем это и по нравам польских литературных кругов, особенно сталинских времен.

Притча первая

В 1933 году был произведен обмен политзаключенными между Польшей и Советским Союзом. Из польской тюрьмы был освобожден активист белорусской «Грамады» Бронислав Тарашкевич,

а из лагеря на Соловках взамен освободили белорусского писателя Франциска Олехновича. За плечами Олехновича было семь лет каторги в лагере — учреждении, которое было изобретено при Ленине и которому предстояло разрастись в огромную сеть ГУЛАГа. Там он понял суть строя, основанного на терроре. Мы слушали и читали его в Вильно, подавляя неприличное подозрение, свидетельствовавшее о польской — как-никак западной — ментальности: если есть наказание, значит, было какое-то преступление. Польская печать, разумеется, писала о Соловках и о советском терроре, и чем более правая, тем охотней, что уменьшало достоверность известий для тех, кто правых не любил, — хотя ясно, что в этом она была совершенно права.

Однако Олехновича польская печать не волновала — он хотел говорить с белорусскими студентами и поэтами, заглядевшимися на красную звезду, раз там, в Минске, белорусский язык вводили в школы и университеты, а в Польше белорусские школы закрывали, их же сажали в тюрьмы за коммунизм. Олехнович старался предостеречь их от того, что должно было наступить: вместо белорусского в образовании — русский, а ту интеллигенцию, которая хотела создавать белорусскую культуру, уничтожили в Куропатах. Так-то вот знание Олехновича оказалось бесполезным, и сегодня никто на свете, а может быть, и в Белоруссии не помнит его имени.

Притча вторая

Станислав Свяневич, экономист, был одним из самых молодых моих профессоров в Виленском университете им. Стефана Батория. Офицером запаса он воевал в сентябрьской кампании и затем был интернирован в Козельске. Этапированного в апреле 1940 года до станции Гнездово, его оставили в поезде, но он видел, как грузят его товарищей в автобус с окнами, замазанными известкой. По приказу властей его в последний момент отправили на Лубянку, чтобы вести следствие по делу о его мнимом шпионаже в пользу германского Рейха, тогда союзника Москвы. По странному недосмотру властей этот главный свидетель убийств в Катыни покинул СССР с армией Андерса и написал книгу «В тени Катыни». Она издана Гедройцем в его «Институте литерацком»

в 1976 году, [в Польше] в подпольной «Офисине либералов» — в 1981-м, а легальное издание в «Чительнике» вышло в 1990-м.

К Свяневичу я относился несколько иначе, чем просто благодарный студент к хорошему профессору. Нас связывали и другие дела. Он был сениором Академического клуба бродяг, а наши сениоры были, может быть, идеологичнее, чем сам клуб, то есть они были демократичны и яростно спорили о прошлом и настоящем Виленщины. Свяневич был человеком кристальным, соединявшим ревностное католичество с политической терпимостью. Со Свяневичем я встречался после войны и старался убедить телевизионщиком, чтобы они записали разговор с ним, почти очевидцем Катыни. Умер он в возрасте 98 лет.

Я как раз получил книгу «В тени Катыни», переведенную на английский язык его сыном Витольдом Свяневичем и невесткой, — издание никому неизвестной фирмы в Канаде, на самом деле попросту на счет переводчика. И должен признаться, что эта публикация привела меня в подавленное настроение. По прошествии десятков лет, когда правительства западных стран, чтобы не раздражать Москву, делали вид, что катынское преступление совершили немцы, не нашлось ни одного серьезного издательства на Западе, чтобы выпустить эту книгу, такую важную для понимания истории XX века, и хоть так информировать общественность о великой лжи, которую годами поддерживали правительства и масс-медиа. Неужели память об одном из крупнейших преступлений XX века была всего лишь внутренним делом поляков и по-настоящему волновала только семью наидостовернейшего свидетеля?

Притча третья

Мой предшественник, преподававший польскую и русскую литературу в Калифорнийском университете в Беркли, Вацлав Ледницкий всю жизнь как в мышлении, так и в деятельности стремился быть достойным своего отца, великого Александра Ледницкого, московского адвоката и представителя польского дела в России. Сын, поначалу занявшийся западной литературой, стал в конце концов русистом, но и горестным защитником польской литературы. Горестным, потому что считал Польшу ответственной за нападки эндецкой печати

на своего отца и за его смерть. Имея в Америке возможность заниматься исключительно русской литературой, он постоянно возвращался к польским мотивам и написал хорошую книгу «Pushkin, Poland and the West». Я считал, что эту книгу надо издать по-французски и вручил ее экземпляр парижскому издательству «Галлимар». Редактором отдела иностранной литературы был тогда Дионис Масколо, коммунист. Через некоторое время мне вернули экземпляр с решением, что книга очень интересная и годилась бы для издания, если бы называлась «Russia and the West», — зачем тут эта Польша? Но главная часть книги — анализ «Медного всадника», а убрать Польшу значило бы перечеркнуть тот факт, что поэма Пушкина — это ответ на описание России и Петербурга в «Отрывке» Мицкевича.

Это происшествие открывает нам нечто весьма глубокое и серьезное, с чем надо сладить, особенно теперь, когда Польша вроде бы принадлежит к Европе. Ибо как долго всё, что говорят поляки, должно считаться недостоверным, потому что якобы искажено их болезненным этноцентризмом?

Притча четвертая

Ныне уже покойный югославский писатель Данило Киш сказал однажды (а было это перед распадом титовской Югославии): «Когда русские обращаются к Западу, им немного легче, потому что великая русская литература, переведенная на западные языки, по крайней мере упрочила некоторые стереотипы. Но что нам затевать с нашей мешаниной языков, национальностей и вероисповеданий? Запад в этом ничего не понимает. Должны ли мы каждый раз, когда пишем, начинать с лекции по истории и географии?» Как вскоре оказалось, это непонимание и нежелание понимать принесли серьезные последствия — позволили убийство тысяч людей.

Я беру слово в дискуссии о Герлинге, так как наши судьбы складывались довольно похоже, по крайней мере в том смысле, что я во Франции много лет считался прокаженным, как он в Италии. Парижская «Культура», в которой я печатался, была обложена табу, молча наложенным на нее парижскими литературными кругами. Правда, мой «Порабощенный ум» вышел в «Галлимаре», но был замолчан,

а на уровне распространения — бойкотирован. Герлинг, кстати, сам видел сходство наших обстоятельств. Мне, однако, посчастливилось уехать из Франции в Америку. Это не значит, что и там «Порабощенный ум» не отягощал мою репутацию: после кампании маккартизма хорошим тоном считалось быть анти-антикоммунистом.

Я дружил с Герлингом, но мы не во всём соглашались. Он постоянно выговаривал мне за «Порабощенный ум»: по его мнению, я объяснял коммунистическую ангажированность писателей идеологическими соображениями, вместо того чтобы сказать, что здесь действовали только страх, глупость и оппортунизм. Это мне, однако, не мешало относиться к неколебимой честности Густава с огромным уважением. Зигмунт Герц говорил, что Густав — вечный первый ученик, то есть требует максимума от себя и требует максимума от других. В лагере он ничем не нарушил принятый среди эзков кодекс солидарности. В польской армии на Западе он получил за битву под Монте-Кассино орден «Virtuti Militari». В писательстве своем он не хотел склониться перед модой на стилистические эксперименты. Он был строг в суждениях, потому что был строг к себе.

Роберто Сальвадори, выступая в защиту Италии, подвергает сомнению чувство действительности у Герлинга. Об этом якобы свидетельствует незнание итальянских грибов. Однако когда Герлинг вспоминает наслаждения своего детства, в частности сбор грибов, он имеет в виду определенный ритуал, и статья Сальвадори свидетельствует о недоразумении, о двух разных культурных традициях. Защита чести итальянской кухни, чем занимается Сальвадори, действительно оправдана: я сам наслаждался во Флоренции огромными порциями *funghi porcini*, то есть свинушек. Сальвадори утверждает, что в политической жизни Италии после войны не доминировали коммунисты, как считал Герлинг. Он некоторым образом подрывает мнение Герлинга о политике, нападая на его знания о грибах своей страны. Так неужели чувство изоляции, какое испытывал Герлинг, ощущение, что замалчиванием он приговорен к гражданской казни, — всё это было его вымыслом? Его навязчивой идеей?

Безусловно, в Италии действовали и другие политические партии, и Герлинг мог бы вступить с ними в союз. Однако, как справедливо говорит Марчелло Флорес: «Парадокс состоит в том, что Герлингу-Грудзинскому важнее были (тогда и потом, в восьмидесятые и девяностые годы) оценка и понимание левых, нежели правых, в отношении которых он проявлял аристократическое презрение».

Выражение «аристократическое презрение», может быть, не совсем точно. Я всё это знаю на собственном опыте. Мой «Порабощенный ум» был, собственно, понятен только марксистам разных толков, и меня вовсе не интересовало мнение «Фигаро» или других изданий, втянутых в холодную войну. Так и в Америке я не искал бы помощи у правого крыла республиканцев.

Как я уже сказал, компанейские нравы литературных кругов сложнее, чем простая зависимость от центров власти. Если бы я сегодня писал о сталинской Польше, то уделил бы больше внимания литературным кофейням и особому роду порабощения — коллегами, игрой амбиций и снобизмов. Поэтому я считаю, что Герлинг не преувеличивает, рассказывая о незримой стене, которая его окружала. Вдобавок влияние коммунистов сразу после войны было сильнее, чем думает Сальвадори. «Культура», основанная в Риме Ежи Гедройцем и Густавом Герлингом-Грудзинским, должна была в 1947 году переехать во Францию из опасения, что в Италии коммунисты не допустят ее деятельности. Во Франции она тоже была изолирована, но ее, по крайней мере, опекали некоторые высокие чиновники министерства иностранных дел.

В статье Сальвадори я нашел интересные сведения о судьбе книги бывшего узника Освенцима Примо Леви «Человек ли это?». Изданная первоначально малым тиражом в 1947 году, она только через 20 лет обрела надлежащую известность, в чем можно усмотреть аналогию с «Иным миром»: от определенного рода знания Италия долго защищалась. *Nota bene* напомню, что сразу после войны Америка в известия о концлагерях и газовых камерах совершенно не верила, считая это антинемецкой пропагандой, и тем более немислимым было принять правду о советских лагерях и о Катыни.

Связывал меня с Герлингом некоторый итальянский опыт. Очень странный, независимый человек по фамилии Сильва тратил огромные деньги на собственное издательство, руководствовавшееся не законами рынка, но исключительно тем, что нравится издателю. Происходило это в конце пятидесятых, его литературным советником, которому он неплохо платил, стал Александр Ват, и по его указанию Сильва издал много польских книг, в том числе мою «Родную Европу». Сильва приглашал нас с Густавом и Ватом на, как это называл Герлинг, «гастрономические покосы». Правда, пожалуй, единственная рецензия на «Родную Европу» была напеча-

тана в коммунистической газете «Паэзе сера» и заверяла, что автор — нацист: он же сам признаётся, что в 1940 году бежал из Советского Союза на немецкую сторону. Помню Сильву и его благотворительные капризы. В 1999 году он пришел на мой авторский вечер в Генуе, и я поблагодарил его от имени всех польских авторов, которых он издавал. Он был очень тронут.

Дискуссия о Герлинге полезна, потому что хотя бы в некоторой степени напоминает о расхождении между правдой и миром масс-медиа. Несомненно, что, если вникать в подробности жизни Герлинга в Италии, нам пришлось бы заняться его экзистенциальной ситуацией, которую создавал его брак с дочерью знаменитого философа Бенедетто Кроче, а также теми факторами, в силу которых табу с его имени было постепенно снято.

К сожалению, не свидетельство, содержащееся в «Ином мире», а только «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына принёс принципиальную перемену в настроениях западноевропейской интеллигенции. И даже когда уже после этого перелома издательство «Эйнауди» предложило Герлингу написать предисловие к «Колымским рассказам» Шаламова, предисловие было отвергнуто, потому что, как справедливо подозревает Марчелло Флорес, Герлинг вспоминал в нем о том, как недооценили его собственное свидетельство.

Образ любого писателя в масс-медиа неизбежно подвергается той или иной деформации просто вследствие их техники. И если это образ человека, проникнутого горечью, сгорбленного под тяжестью своего знания об истории XX века, это не приносит популярности его книгам. Густав Герлинг-Грудзинский принадлежал к тем авторам, которые вынуждены как-то справиться со знанием, недоступным другим. Одним из таких авторов был Джордж Оруэлл, которого один за другим отвергали разные лондонские издатели; таким же был Юзеф Чапский, автор книги о России «На бесчеловечной земле», не устанно думавший о своих товарищах, убитых в Катыни; таким был и Примо Леви со своим освенцимским опытом. Суждения Густава Герлинга-Грудзинского о том, что окружало его в Италии, а позднее — в посткоммунистической Польше, нередко бывали несправедливы. Но разве исполненного обещания, данного солагерникам, недостаточно для одной жизни писателя? Так не будем мелочны.

ГОРЬКОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

Ни одного столь горького и жестокого стихотворения не было написано в Польше. Я нашел его в «Антологии польской поэзии в изгнании» под редакцией Богдана Чайковского, выпущенной в 2002 году издательством «Читательник» и Польским издательским фондом в Канаде. Книга эта прошла незамеченной, вероятно, по причине слишком капризного отбора и отсутствия указателей.

Стихотворение написал Ян Даровский, силезец, родившийся в 1926 году и во время войны призванный в ряды Вермахта; в Нормандии он перешел на сторону союзников и вступил в польскую армию. Затем поселился в Лондоне, где выбрал профессию печатника, и принадлежал к группе молодых польских поэтов «Континенты». Он сотрудничал со многими периодическими изданиями как поэт, литературный критик и переводчик польской поэзии на английский язык и английской на польский. Выпустил два сборника стихотворений: «Древо преткновения» (Лондон, 1969) и «Нежданные жизни» (Лондон, 1990).

И вот стихотворение, озаглавленное «Post mortem»:

Ушли под нашу землю со звездой Давида,
двуокисью псалмов смертельных воздух отравили,
нам задышаться, нам, свидетелям убийства,
склоняясь, идти в истории уб руку с палачом.

И выпивка не в помощь. На поверхность
всплывает масляным пурпуром наше лицемерье.
Не в помощь памятники, даже то, что беззащитны
мы были, как они. Не всех печалил меч,

для нас Гордиев узел разрубавший,
две жизни нации рассекший.
И выпивка не в помощь — Лета глупцов и трусов.

В белых перчатках подавать убийца
способен руку тем, что уцелели.
Может сказать: смотри, моя десница
чиста — она не знала,
что творила шуйца.

Задумчивый ура-христианин,
в Атлантику отряхивая пепел от сигары,
может сказать: ну да, была рука
и надпись, только я очки забыл.

Но мы — мы в заговоре были старше всех,
даже к молчанию не принуждены,
мы ели общий хлеб, из тех же родников
мы пили, руки их касались нас,
руки бескровные портных библейских.

.....
И те же руки стали ветром за окном
и раздирают алый стыд венка,
раздирают память.

Это стихотворение можно читать как операцию, производимую на коллективном подсознании, что в свою очередь заставляет искать ответа на вопрос, существует ли таковое. Но массовое убийство народа польских евреев, совершенное гитлеровцами, — это исторический факт такого веса и такой устойчивости, что невозможно не задуматься, какие следы оно оставило в нашей психике.

Кто знает, может быть, это произведение заслуживает быть проанализированным, стих за стихом, с полемическими намерениями по отношению к выраженному в нем чувству вины? Не последнее значение приобретает это произведение еще и тем, что подобные слова вообще не застряли в горле у польского поэта.

Но что скрывается за тем фактом, что такое стихотворение написано вне Польши? Какой род цензуры, внешней или внутренней, не позволил поэтам в Польше поднять подобную тему?

«Антология польской поэзии в изгнании» весьма богата, и жаль, что отечественные читатели не знают ни имени Яна Даровского, ни многих других имен поэтов, пишущих за границами страны.

2003

О ЧЕСЛАВЕ МИЛОШЕ

**«КУЛЬТУРА» №№ 11/398 и 12/399
(ноябрь и декабрь 1980)
(Отрывок)**

В обоих номерах на редкость много стихов. Среди авторов — совсем молодой Ярослав Брода из Вроцлава, краковский поэт Адам Загаевский из «мартовского поколения», то есть из тех, кто был студентами в 68-м году, и такие видные представители старшего поколения, как живущий последние 10 лет в эмиграции Витольд Вирпша и живущий на родине Ежи Загурский, начинавший когда-то в виленской литературной группе «Жагары» вместе с Чеславом Милошем (если не ошибаюсь, он впервые публикуется в «Культуре» — притом под одним из двух стихотворений стоит дата «1956», под вторым — «1980»).

Но вот и произнесено имя Милоша.

11-й номер открывается сообщением о Нобелевской премии Чеславу Милошу, «который, по формулировке Шведской Академии, с бескомпромиссной пронизательностью выявляет угрожаемое положение человека в мире, полном острых конфликтов».

Милошу посвящен очерк Влодзимежа Одоевского «Первые встречи» и заметка Норберта Жабы «Шведские кулисы Нобелевской премии Милошу». В редакционных объявлениях сообщается о переиздании — в рамках первого Собрания сочинений — книг Милоша, вышедших в «Библиотеке „Культуры“» и давно распроданных. (В декабре, на вечере Милоша в Париже, я видела, как читатели расхватывали эти свежевypущенные томики в привычной серенькой обложке, только с красной полоской на уголке: «Нобелевская премия, 1980».)

И всё-таки не это главное. Не то, что посвящено Милошу, а то, что он продолжает публиковать нового. Постоянный и многожанровый

автор «Культуры», Чеслав Милош выступает в этих двух номерах, с одной стороны, как поэт, с другой — как переводчик и исследователь.

В наших обзорах уже говорилось о милошевской работе над переводами библейских текстов. Теперь, вслед за Псалтирью, он перевел Книгу Иова. В №12 «Культуры» напечатаны фрагменты перевода и предисловие Милоша (полностью книга вышла вскоре после этого у «отцов палатинов», в Editions du Dialogue). Мы определили это предисловие как труд «исследователя», но «исследование» это своеобразное. Сам Милош начинает разговор с того, что, долго общаясь с текстом Книги Иова, он полагал себя способным написать предисловие-комментарий, но в конце концов счел подобный труд «умничаньем, пригодным разве что на университетском семинаре, но не там, где в игру входят простейшие вопросы человеческой жизни». И решил не «уклониться от разговора о том, что во встрече с Книгой Иова <...> особенно близко и болезненно для [него] самого».

Вероятно, никакой библейский текст, как этот, о страдании и унижении отдельного человека Иова, не спровоцировал бы переводчика на «исследование» отдельного человека Чеслава Милоша, — быть может, именно в остроте этого исследования мы находим то, что и для нас «особенно близко и болезненно» при «общении» (мало же сказать: чтении!) с Книгой Иова. На тридцатом году эмиграции польский поэт и американский профессор, давний виленский гимназист, бунтовавший против ксендза-законучителя («Говоря о выборе для перевода именно библейских текстов, не могу не сказать о Вильно...»), — чего он ищет над узорами древнееврейских письмен, над сравнением греческих, английских, русских, старопольских переводов? Один из ответов, даваемых Милошем:

Быть может, мой труд переводчика Библии — лишь мой ритуал очищения, более действенный, чем какие бы то ни было стихи или проза. Разумеется, корпя над Книгой Иова, я не мог не иметь перед глазами лиц людей, тщетно обращающих молитву к небу, красок земли, формы облаков, непонятной красоты природы, то есть всего того, с чем мое воображение до сих пор не умеет вступить в гармонию, как же, как не может вступить в гармонию с Иовой жалобой во мне самом.

11-й номер «Культуры» открывается сочинением Милоша «Особая тетрадь: Звезда Полынь». Трудно назвать это просто стихами — для этого у «Особой тетради» слишком сложная, смешанная форма. (Вспоминаются более ранние строки Милоша: «Вечно стремился я к форме более емкой, / что не была бы ни слишком поэзией, ни слишком прозой...») Но, несомненно, это сочинение поэта Милоша, а не прозаика или эссеиста. Предположительный генезис этого произведения (впрочем, рискуя ошибиться) можно вывести из того, что двумя номерами раньше в той же «Культуре» было напечатано стихотворение «Звезда Полынь». В новом тексте эти четыре четверостишия, рифмованные, почти классического склада, стали лишь завершающим ударным аккордом в стремительном, почти кинематографическом чередовании верлибров, белых стихов и кусков, написанных «просто прозой», нанизанных на воспоминание (не вос-) литовского детства и пронизанных видением судьбы человека на Земле, «крещенного на восходе Звезды Полынь» и с младенчества несущего непрошенный груз времени и безвременья. Оставляя читателя в ожидании появления полного перевода в № 27 «Континента», приведу — чтобы и обзор этот завершить ударным аккордом — последние четыре строчки «Звезды Полыни»:

Была вселенская империя все ближе.
Над словом власть досталась в руки им.
И вновь на неостывшем пепелище
Вознесся Диоклетианов Рим.

ПОЭТ В ПОИСКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

К семидесятилетию Чеслава Милоша

30 июня величайшему польскому поэту нашего века, лауреату Нобелевской премии Чеславу Милошу исполнилось 70 лет.

Прозаик, публицист, историк литературы, Милош — всё же прежде всего поэт. «Его поэзия, — писал в № 12 „Континента“ недавно скончавшийся Эммануил Райс, — раздумье о месте вечно-человеческого в критическую эпоху истории, о спасении и сохранении его для настоящего и во имя грядущего. Своей нравственной чуткостью, отказом от удобной сонливости, широтой открытого ему горизонта, слиянностью со своим временем — со всем, что есть в нем чудовищного и прекрасного, Милош открыт будущему, он словно притягивает его».

Строки из стихотворения Милоша высечены на открытом в Гданьске в декабре прошлого года памятнике жертвам подавления рабочего восстания на Балтийском побережье в 1970 году. Этот отрывок — в дословном переводе — открывает последний, 133-й номер «Вестника РХД». Я позволю себе привести мой перевод всего стихотворения [см. перевод на с. 113 наст. изд.].

Нравственная чуткость Милоша, о которой писал Эммануил Райс, — это прежде всего настоятельная потребность различения добра и зла. Вопреки модному релятивизму, упрекам в манихействе, смешению всех ценностей — всему, что свойственно нашему веку. В своей Нобелевской лекции Чеслав Милош сказал: «Если противостояние жизни и смерти — одна из важнейших пар противоположностей, используемых нами повседневно, то не менее важно противостояние истины и лжи, действительности и иллюзии». И там же: «Есть, пожалуй, скрытая связь между теориями литературы как *écriture*, как речи, кормящейся самой собою,

и ростом тоталитарного государства. Во всяком случае у государства нет оснований быть нетерпимым по отношению к деятельности, которая состоит в сочинении стихов и прозы, понимаемых как автономные системы соотношений, замкнутые в своих границах. Поэт опасен лишь тогда, когда он неустанно стремится сбросить заимствованную стилистику — в поисках действительности. В зале, где все собравшиеся дружно поддерживают заговор молчания, одно слово правды звучит пистолетным выстрелом. Да что слово — искушение высказаться, будто у человека вдруг зачесалось, становится навязчивой идеей и ни о чем другом не дает думать». И еще: «Как все мои современники, я был склонен отчаиваться, предвидеть скорую гибель и ловил себя на том, что поддаюсь нигилистическому искушению. Однако, если глянуть глубже, моя поэзия, как мне кажется, оставалась здоровой и выражала жажду Царствия Правды и Справедливости».

Эти несколько цитат дают представление не только о сущности отношения Милоша к поэзии и действительности, но и о стиле этого отношения, столь непохожем на всё, что принято считать атрибутами поэзии в наш век — на Западе, да отчасти и на Востоке. Ясность и определенность вместо туманности, позволяющей любые толкования. Понятия действительности и правды, которые кое-кто готов отдать за откуп «соцреализму» (не имеющему ничего общего ни с тем, ни с другим) или просто счесть безнадежно устаревшими (и тогда «новаторам» остается ложь, иллюзия, заморачивание мозгов). Прозаический подход к поэту: не «вдохновение», но «искушение высказаться, как будто у человека вдруг зачесалось». И, наконец, здоровье. Вот уж совсем неприлично! Разве не твердо в нас въелось, что быть поэтом — это прекрасная патология, «высокая болезнь», выделяющая художника из серой толпы? Кстати, не отталкивает ли некоторых читателей от поэзии столь ценимого Милошем Иосифа Бродского именно поразительное здоровье его поэзии? Ни Милош, ни Бродский (два, я уверена, крупнейших современных поэта) в высшей степени не соответствуют классическому облику *poète maudit*, хотя биографические обстоятельства вполне позволяли им вписаться в эту роль.

Душевное и поэтическое здоровье не мешает — наоборот, помогает — яснее видеть и болезни века сего, и вечные темные бездны.

Кто белою рукою в этом веке
Усеивает строчками бумагу,
Тот слышит стук и плач несчастных духов,
Закрытых в ящике, в стене, в кувшине
И тщащихся дать знать, что их рукой
Любой предмет из хаоса был добыт,
Часы тоски, отчаяния, муки
В нём поселились и уж не исчезнут.
Тогда пугается перо держащий,
Неясное питает отвращенье,
Былую ищет обрести невинность,
Но ни к чему рецепты и заклатья.
(Чеслав Милош. Поэтический трактат. Перевод мой)

Преимущество здоровой поэзии в том, что она не «пугается» ни бездн, ни духов — не пугается действительности во всех ее измерениях. Или, даже испугавшись, преодолевает свой испуг, ибо любопытство искателя и созерцателя действительности — сильнее.

Я упомянула о том, что строки из стихотворения Чеслава Милоша высечены на гданьском памятнике. На нем же высечены два стиха из псалма в переводе Милоша: «Господь даст силы своему народу, Господь даст своему народу благословенье мира». В июне нынешнего года, когда поэт-изгнанник после 30 лет отсутствия побывал в Польше, «Солидарность» устроила ему прием в том гданьском зале, где десять месяцев назад проходили переговоры забастовщиков с правительством, закончившиеся победой польских рабочих. К встрече с Милошем на стене зала был вывешен плакат: «Народ даст силы своему поэту». Какое признание может быть дороже этого?

«НАЦИОНАЛИЗМЫ МОЕЙ ЧАСТИ ЕВРОПЫ»

Czesław Miłosz. Rok myśliwego. Paryż: Instytut Literacki, 1990

«Годом охотника» назвал Чеслав Милош свою новую книгу в память книжки, которую любил в свои школьные годы.

Автором ее был Влодзимеж Корсак, никогда не числившийся среди литераторов, но известный среди любителей природы, особенно той, первобытной красотой которой славились земли былого Великого Княжества.

Земли былого Великого Княжества Литовского — тот ареал, куда мысли здесь рожденного нобелевского лауреата возвращаются в последние годы постоянно. Этим землям в первую очередь, а затем уже судьбам Польши, Центральной Европы и, в конечном счете, мира посвящен этот своеобразный дневник, который Чеслав Милош вел между 1 августа 1987 и 30 июля 1988 года.

«Год охотника» скорее напоминает поэтические сборники Милоша последних лет, где стихотворная ткань свободно переходит в прозаические воспоминания или даже изыскания по истории того же Великого Княжества Литовского (нередко со включением документов на «русском», то есть старобелорусском, языке* — официальном языке Великого Княжества Литовского до его окончательного поглощения Польшей), нежели книги его прозы и публицистики. Форма дневника позволяет поэту и принять отчасти

* Этот язык по-польски называется «ruski», в то время как просто «русский» — rosyjski (как и во многих других языках, по-польски не различаются «русский» и «российский», что, конечно, создает трудности переводчикам). — НГ-2011.

форму мемуаров, и не принять ее до конца: вспоминать не последовательно, не хронологически, а в связи с «сиюминутными» стимулами воспоминания. В такую структуру сегодняшние размышления над сегодняшними проблемами вписываются естественно.

«Литвин» Милош обладает поразительной, иногда прямо вызывающей независимостью от польских патриотических клише, довольно часто затуманивающих действительность. Примером тому может служить его апология (не побоимся этого слова) Юзефа Мацкевича, в которой он смыкается с представителями молодого поколения поляков, жадно расхватывающих книги Мацкевича — бестселлеры подпольного книжного рынка (по крайней мере, пока таковой существовал), и резко расходится с патриотическими критиками и клеветниками Мацкевича. Посвященная Мацкевичу статья «Конец Великого Княжества Литовского» (напечатанная в юбилейном, 500-м выпуске парижской «Культуры», а затем по-русски в 61-м «Континенте») была извлечена Милошем именно из этого «охотничьего» дневника еще до его публикации, разумеется, с опущением дневниковых дат и отдельных текущих заметок. Из книги можно было бы извлечь еще целый ряд «статей», но читать дневник подряд оказывается куда интереснее. Например, эссе о Ярославе Ивашкевиче, талантливом поэте, а в послевоенные годы прислужнике коммунистического режима, прерывается такой записью:

Два дня тому назад смотрел фильм Бертолуччи «Последний император». Это фильм о благотворном влиянии тюремной педагогики, которая даже бывшего императора и коллаборанта японцев способна за десять лет чистки мозгов превратить в добродетельного гражданина. То есть гимн во славу *исправительно-трудовых лагерей* (курсивом здесь и далее — по-русски в тексте. — НГ) в их китайском варианте. Помню фильм «Путевка в жизнь» о замечательных педагогах из НКВД. Но американская публика, очарованная постановочной роскошью, даже не замечает преподносимого ей тезиса и усваивает только, что японцы были бяки и что коллаборанты были гуманно наказаны.

Притом запись эта появляется отнюдь не при описании падения Ивашкевича в объятия коммунистов, но посреди рассказа о ранних стихах Ивашкевича, которые юный Милош ценил —

и нынешний Милош по-прежнему ценит — выше, чем стихи других поэтов группы «Скамандр». Но и дойдя до коллаборантства Ивашкевича, Милош судит о нем не в рамках стереотипов:

Когда я читаю слова недоумения по поводу предательства писателей, перешедших на сторону захватчиков, думаю, что случай Ярослава по крайней мере ясен, ибо его выбор можно считать сознательно циничным и сознательно оппортунистическим. Он заведомо полагал, что, коллаборируя, надо платить, и готов был платить, то есть готов был принять унижения и не ссылаться на честь.

Не будь тут доли иронии, описание можно было бы принять за оправдание коллаборантства. Но ирония относится в еще большей мере к тем, кто коллаборировал, «ссылаясь на честь».

Вспоминая события и людей на склоне восьмого десятка своей жизни, Чеслав Милош прежде всего стремится понять их, для самого себя объяснить. Говоря о многолетнем пребывании Ивашкевича на посту председателя Союза писателей, Милош отмечает:

Он вываливался в грязи, но я не слышал, чтобы он кому-нибудь делал свинства, наоборот, он помогал и защищал. То есть, как кажется — ибо не мне это оценивать, — его политика спасения чего только можно, не задаром, а за цену, иногда весьма неприятную, оказывалась действенной.

Но не случаен и прямой переход в дневнике от Ивашкевича к Мацкевичу. У обоих: у первого на Украине в начале советской власти, у второго в Вильне в начале оккупации — был опыт встречи с коммунизмом. А выводы — прямо противоположные.

Не случайно и то, что большое место в дневнике Милоша — отдельными ли рассказами или упоминаниями — занимают люди с восточных окраин Польши, «кресов», не только те, кого поэт знал в Вильно, но и уроженцы Украины. «Кресовая» психология у одних размыкает, у других укрепляет склонность к национализму, на этих-то землях и возникшему. Милоша национализм отталкивает, а поскольку он поляк, то польский в особенности.

По существу Германия и Польша около 1820 года были рассадниками политического романтизма, или, более приземленно, национализма. <...>

Виленские романтики, если применить к ним критерии позднейшего национализма, были еще национально шаткими. Они страстно любили народ, но народ говорил по-литовски или по-белорусски. Однако написанным по-польски книгам воспитанников Виленского университета предстояло выкристаллизовать два национализма, польский и литовский, как и способствовать, благодаря поэзии, рождению украинского и белорусского национализма.

Чтобы признать язык критерием чьей-то принадлежности к группе, противостоящей другим группам, потребовался немалый переворот. Человечество обходилось без таких отчетливых разграничений, а тем более — без идеи нации, жаждущей иметь собственное государство.

Уже это, пока еще чисто теоретическое рассуждение может вызвать возмущение польских (а поскольку мы потрудились перевести, и не только польских) националистов, даже в том благородном случае, когда они называются просто патриотами. Но Милош еще и делает «геополитические» выводы, на наш взгляд, идеально верные, но такие, что мало кто из поляков посмел бы произнести вслух:

Если бы после Первой мировой войны точно соблюдали принцип самоопределения наций, восточная граница Польши прошла бы по линии Керзона. Забуду на мгновение о реальном соотношении сил — так или иначе, соседями будут Польша, Литва, Белоруссия и Украина.

И после Второй мировой войны принцип самоопределения продиктовал бы нынешнюю восточную границу даже в случае такого полного превосходства западных союзников, при котором не наступил бы сговор в Ялте. Польша означала бы узкую полосу вдоль Вислы, слишком плотно населенную, чтобы это оставляло какие-то шансы.

Ни одно западное правительство не додумалось бы до такого, как Сталин: выселить миллионы немцев из их многовековых поселений и отдать эту территорию полякам. Тем самым можно сказать, что Польша существует по воле и милости Сталина. <...>

В 1945 году коммунисты были правы: Польша могла либо существовать в форме, приданной ей и гарантируемой Советским Союзом, либо перестать существовать. Когда Якуб Берман в книге Торанской «Они» кричит, что, если бы не коммунисты, от Польши осталась бы лепешка, то слегка привирает, поскольку в 1939 году они отнюдь не собирались защищать

территорию, но его правоту следует признать в пределах того, что ни одно правительство, созданное в результате свободных выборов, не получило бы Западных земель в подарок от Старшего Брата.

Эта запись датирована 20 декабря 1987 года — ее резкость стала особенно уместной весной 1990-го, когда в Польше под флагом защиты границы по Одру-Нейсе, поставленной под угрозу (довольно мнимую) воссоединением Германии, разгорелась антинемецкая кампания, яростью не уступавшая коммунистической борьбе с «реваншистами», а правительство, созданное в результате (почти) свободных выборов, заявило, что не следует выводить из Польши советские войска, являющиеся гарантом его западной границы! К этой ненормальной ситуации вполне можно применить более раннюю запись Милоша:

Национализмы моей части Европы весьма патологичны. Я не могу доверять мысли, порожденной унижением и попытками побежденных найти утешение.

Не будем только думать, что национализм восточнее былых территорий Великого Княжества Литовского менее патологичен и порожден иными причинами. И мы потерпели поражение, хотя от «врагов унутренних», семь десятков лет переживали унижение и готовы искать утешения в мыслях о собственной чистоте и величии. Или, другой полюс, предаваться душераздирающему национальному мазохизму, который выходит то ж на то ж: что, мол, и грязнее нас, и более великих грешников, и такой, как у нас, рабской психологии мир еще не видывал! Жаль, что нету у нас такого Милоша, который между воспоминаниями юности, военных и послевоенных лет, рассказами о поездках по Америке, размышлениями о поэзии не прекращает охоты на горестные националистические слабости и заблуждения своих соотечественников.

ВЕНОК ПОЛЕГШИМ

Один давний московский вечер (Отрывки)

В эти дни, в эти первые недели после кончины Милоша (пишу в сентябре) естественно начать статью с цитаты из него — правда, так оно и было задумано, когда поэт еще был жив. Его смерть заставила отложить статью о «двадцатилетних варшавских поэтах», которую я первоначально хотела отдать в номер, посвященный 60-летию Варшавского восстания и оказавшийся наполовину посвященным памяти Милоша — очевидца восстания. Теперь она выходит уже и после годовщины подписанной повстанческим командованием капитуляции... Выходит в ноябре — том месяце, где у католиков день Поминовения Усопших (а у нас — Дмитриевская родительская суббота, тоже поминовение усопших).

За капитуляцией Варшавского восстания, как известно, последовали несколько месяцев систематического разрушения столицы непокорной страны. С детства мне запомнились кадры из фильма «Непокоренный город»: немцы с огнеметами, движущиеся от дома к дому (теперь разрушение Варшавы вы можете увидеть в «Пианисте» Полянского)... А позже — смешная и горькая карикатура Збигнева Ленгрена: один уцелевший дом в пролете двух рядов руин — и послевоенный чиновник, указывающий на него со словами: «Вот здесь мы проложим улицу!»

...Но начнем все-таки с Милоша:

В наш век есть то, чего не увидели
Двадцатилетние варшавские поэты, —
То, что идеям сдастся, не Давидам
С пращою. <...>

Стояла раненая Богоматерь
Над желтым полем и венком polegших.

Те юноши растерянно касались
Стола и стула утром, словно в ливень
Нетронутый находишь одуванчик.
Для них дробились в радугу предметы,
Размытые, как в отошедшем прошлом.
Возможность славы, мудрости, покоя
Они своей молитвой отвергали.
Все их стихи — о мужестве молебен:
«Когда мы будем изгнаны из жизни,
Наш дом златой, в постель из малахита
Ты на ночь нас — на вечную — прими».
И ни один герой у древних греков
Не шел на битву так лишен надежды,
Воображая свой бесцветный череп,
Откинутый ботинком равнодушным.

Поляком или немцем был Коперник?
У памятника пал с венком Боярский.
Должна быть жертва чистой и бесцельной.
Тшебинский, этот новый польский Ницше,
Шел на расстрел со ртом, залитым гипсом,
Запомнил стену, медленные тучи,
Секунду глядя черными глазами.
Бачинский пал ничком, лицом к винтовке.
Восстание спугнуло голубей.
Строинский, Гайцы были взнесены
В багрянец неба на щите разрыва.

(«Поэтический трактат»)

<...> Одного из этих поэтов, как раз выжившего — и по-своему трагически погибшего в разборках с послевоенной действительностью, — не упомянутого Милошем в «Поэтическом трактате» (зато язвительно проанализированного в «Порабощенном уме»), я уже знала — сначала прозу, потом стихи. Тадеуш Боровский написал об Освенциме, как позже Шаламов о Колыме. То есть как

никто другой. (Да только Боровского я прочла раньше, чем Шаламова.) Но Освенцим, куда он попал умышленно, вслед за арестованной невестой, спас его от гибели в Варшавском восстании. И о нем я тоже говорила в тот московский вечер, примеряя его судьбу на погибших поэтов, размышляя о том, что было бы с ними... <...>

А что было бы с Бачинским?

Об этом, оказывается, думала не я одна. В 1980 году Вислава Шимборская написала стихотворение «Средь бела дня». Привожу его в своем переводе:

В дом творчества в горы ездил бы он,
к обеду в столовую спускался бы,
на четыре ели с ветки на ветку,
не отрясая с них свежего снега,
из-за столика у окна поглядывал бы.

С бородкой, подстриженной коротко,
лысоватый, в очках и с проседью,
с огрубевшими, усталыми чертами лица,
с бородавкой на щеке и морщинистым лбом,
словно ангельский мрамор облепила глина —
а когда так случилось, и сам бы не знал,
потому что не махом, а по чуточке
повышают цену тем, кто раньше не умер,
и он тоже эту цену платил бы.

О мочке уха, задетой осколком
— когда на мгновенье голова отклонилась, —
«чертовски повезло», говорил бы он.

Дождаясь бульона с макаронами,
газету с сегодняшней датой читал бы он,
большие заголовки, маленькие объявления,
или по скатерти барабанил пальцами,
а ладони были бы давно немолодые,
с растресканной кожей и толстыми венами.
Иногда от порога кто-то позвал бы:

«Пан Бачинский, вас к телефону!» —
и ничего тут не было бы странного,
что это он, и что он встает, одергивая свитер,
и не спеша направляется к двери.

Разговоров при виде этого не прерывали бы,
Замерши и затаив дыхание, не застывали бы,
потому что это обычное событие — а жаль, а жаль —
так обычным событием и считали бы.

Да, так и считали бы. Но «обычного события» не произошло, «чертовского везения» не было. И все мои спекуляции — на пустом месте. И все-таки думаю, что в партийные писатели он не попал бы: националистом, тем более шовинистом, он никогда не был, и идти в партию, чтобы «замаливать грехи», не было бы нужды; не был он, выросши в семье польского социалиста, и слишком левым, чтобы кинуться в объятия новой идеологии. Судьба Милоша? Сначала почет выжившему крупному поэту (вплоть до дипломатического поста), потом эмиграция? Судьба Херберта? Отказ печататься в прокоммунистических изданиях и первый сборник стихов в 56-м году? Или, как у Шимборской, тихая жизнь, с изредка выходящими книгами — может быть, с траурным панегириком Сталину, как то случилось со многими уважаемыми поэтами? А потом, в более или менее вегетарианские времена, — дом творчества в горах, в том самом Закопане, откуда Вацлав Боярский привез свою песню о Наталье? Все варианты возможны — и все, увы, невероятны.

Юзеф Чапский

НАРОДНОСТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬ?

**(Отрывок-цитата из моей статьи «Земля людей.
Перечитывая статьи Юзефа Чапского»)**

Милош в своей работе о Конраде показывает, как сходно было отношение Конрада к России и заурядное мнение шляхтича с восточных окраин Польши его времени. Как для этого английского писателя, давным-давно оторванного от Польши, так и для круга, откуда он был родом, Россия — это жестокий и злой мир, это, как писал еще отец Конрада Аполлон Коженёвский, «государство, что посиживает, как домашний вор, на европейских правительствах».

И вот снова, после двадцати лет моей разлуки с Польшей, мне кажется, что антирусская настроенность сейчас даже сильнее, чем в те времена, когда ссылки и принесенные страдания выковывали мир чувств Конрада и формировали его мировоззрение. Сколько раз я слышу инстинктивный ответ на вопрос о России: «Я не знаю о ней ничего». Те же самые слова Конрад — автор «В глазах Запада», — который питал отвращение к Достоевскому (а все-таки однажды признал, что «Достоевский глубок как море»), который прожил детство в России, где в вологодской ссылке умерла его мать, написал Гарнетту: «Я не знаю о России **ничего**». Когда я слушаю рассказы людей, близкие которых погибли в России или из-за нее, когда они высказывают свое мнение о России, я чувствую, будто каждый из них прикасается к какой-то магической границе, пересечь которую он не в силах или не в состоянии, к границе, за которой взгляд на Россию, образ России более сложен и более справедлив. Это отношение сквозь призму «слез своих святых и проклятых» отрезает нас не только от России, но и от всего света, который видит Россию либо в цвете столь же

упрощенном, то есть розовом, либо же полной надежд и противоречий, глазами Достоевского.

Наш взгляд на страну, которая есть и будет нашим соседом, «ибо мы не окружены морем, как полуостров италийский», встречно сталкивается со взглядом на Польшу, столь же упрощенным и наверное не менее враждебным. *Кичливый лях* (выделенное курсивом здесь и далее — по-русски в тексте. — НГ) Пушкина и разные *полячишки* Достоевского, гениальные карикатуры на польское лицемерие, польскую гордыню и патетическую фразеологию без покрытия, точно так же фальсифицируют и разрушают подлинный образ Польши в глазах миллионов русских.

Милош, цитируя самые антирусские высказывания Кюстина или Маркса, справедливо указывает, что то, что на Западе могло быть и было открытием, ибо так отличалось от принятых мнений о России, в польской литературе было банальностью (Милош говорит «стереотипом»), что такой взгляд на Россию шел еще от давней Речи Посполитой, где между Польшей и Россией нарастали комплексы «неполноценности — превосходства», и что всё это не мешало шляхтичу с восточных окраин, который физически и душевно был Конраду близок, испытывать к русским симпатию; для него ведь не отдельные русские были виновны, а

...героизм <верного раба>, такая смерть —
для пса заслуга, для человека грех*.

Но хранится ли в нашем сознании и другой аспект Мицкевича, друга русских?

Вы — помните ль меня? Когда о братьях кровных,
Тех, чей удел — погост, изгнание и темница,
Скорблю — тогда в моих видениях укромных,
В родимой череде встают и ваши лица.**

* Перевод дословный. Перевод В. Левика: «Такая смерть, терпение такое — / Геройство пса, но, право, не людское», — не передает некоторого оттенка мысли Мицкевича, важного в контексте статьи Чапского.

** Перевод Анатолия Якобсона (впервые опубликован в «Континенте», № 41).

Каждый, кто хоть несколько лет прожил в России, — читая это стихотворение, подставляет под него лица своих друзей, свои собственные прекрасные воспоминания о России и русских.

1958

Юзеф Чапский

О МИЛОШЕ

(Письмо в редакцию журнала «Зешиты литерацке»)

Почему сегодня, когда я теряю глаза, а значит, логически должен был бы их еще использовать исключительно ради живописи, я пытаюсь написать несколько слов, крайней для меня нелегких, о Милоше?

К Милошу я всегда испытывал настоящие дружеские чувства, виделись мы чаще всего мимолетно, но наши встречи никогда не были равнодушными, а некоторые его стихотворения навсегда остались у меня в памяти. Но в интервью с Александром Фьютом («Зешиты литерацке», 1983, №3) он рассказал о себе так много, как никогда ранее, и о себе не поэтически, не метафорически, но как о человеке; так много, что заставил меня посмотреть на него внимательней.

Милош объясняет, что не раз выступал в разных шкурах, считал себя поэтом для немногих, общался с людьми, которые вообще не знали, что он поэт. Когда, драматически покинув Польшу, он написал «Порабощенный ум», его стали считать писателем, ангажированным исключительно в борьбу против коммунизма, пока он не принял за «Долину Иссы», стремясь избавиться от того образа самого себя, с которым встречался, разговаривая с другими.

И не только это — поэт написал ряд стихотворений, драматически связанных не только с данной эпохой, но с данной минутой. Эти стихи он писал главным образом в Варшаве во время оккупации, но и позже тоже, среди них его великое стихотворение о гетто и стихотворение «На смерть Тадеуша Боровского». В беседе с Фьютом он объясняет, что это была обрывочная заметка, которую он сделал под влиянием эмоций, и не только его собственных, но

эмоций его круга, общества, в котором он жил в данную, а не иную минуту. И тут Милош старается дать понять читателю, что по этой причине стихи эти второсортны. Тот факт, что сама история навязала ему эти стихи, как будто неизбежно умаляет их ценность. Это ровно то же, как если бы Ахматова сказала, что тоненькую книжку ее стихов «Реквием», способную затонуть в ее полном собрании сочинений, следует считать второсортной, ибо «Реквием» откровенно и без маски свидетельствует о сталинской эпохе и о том, что пережила сама Ахматова, когда схватили, посадили и отправили в лагерь ее сына одновременно с тем, как хватали, сажали и отправляли в лагерь бесчисленных людей в советской империи. Это ровно то же, как если бы Мицкевич, уже написав «Пана Тадеуша», пожелал счесть «Дзяды» за поэзию второсортную и с тенью пренебрежения говорил о «Бале у Сенатора». Что это значит — в самом ли деле Милош считает умалением себя то, что когда горело гетто, то, что позже, когда покончил с собой Боровский, не сумев вынести того, что делалось в Польше, он, Милош, выразил тогда свои и общие чувства в этих стихах?

Я задумываюсь над тем, каково было бы поэтическое и нравственное выражение Милоша или Ахматовой, если бы в такие времена общее настроение окружающих и события, которые тогда происходили, совершенно этих художников не затронули. Я лично уверен, что как раз эти стихи останутся в истории и будут бриллиантами их искусства, и никто мне не втолкует, что они в чем-то второразрядны. Поэт — хочет он того или не хочет — принадлежит истории, не только своей частной, но и общечеловеческой, а также истории сверхчеловеческой, метафизической.

Второй вопрос, о котором я хотел бы сказать несколько слов, весьма щекотлив. Пожалуй, нигде Милош не отзывался так жестоко, как в беседе с Фьютом, о периоде, когда он был чиновником — представителем коммунистического правительства Польши на дипломатическом посту в Вашингтоне. Слова эти вызваны весьма справедливой реакцией на попытки некоторых его почитателей сотворить из него ничем не запятнанного поэта-пророка. Тем не менее перед нами свидетельство объективизации прошлого самим Милошем. О своем пребывании в посольстве ПНР в Вашингтоне Милош пишет, что занимался проституцией, хотя ничего плохого не делал, однако прекрасно понимал, что «непосредственно

после войны состоять на дипломатической службе Народной Польши несомненно было занятием, сознательно позорным». Далее он говорит: «В то время тюрьмы в Польше были полны людей, подвергавшихся пыткам или отсиджавших срока исключительно за то, что во время войны воевали с Гитлером в ненадлежащем подполье. Это были жуткие обстоятельства. Я вполне сознавал дьявольщину, в которую был этим вовлечен». Далее Милош признаёт возможность Каноссы после таких подвигов, Каноссы перед польской эмиграцией. Но часть этой эмиграции атаковала его так грубо, так примитивно, что отвечать было невозможно. Однако эмиграция — не только эти люди. Были и другие. Здесь невозможно не вспомнить нравственный и интеллектуальный класс Гедройца. Я хотел бы рассказать малюсенький, но значительный эпизод. В 1950 году я был в Вашингтоне. Находясь в Америке, я переписывался с Гедройцем почти ежедневно. Побывал я тогда в Америке дважды, мои поездки были связаны с возникновением «Культуры» и с созданием в эмиграции университета для молодежи из стран, оккупированных советской Россией, — чехов, румын и прочих. В одном письме Гедройц мне написал: «Постарайся встретиться с Милошем, совершенно бессмысленно ему сидеть в посольстве Народной Польши». Естественно, я не помню текста дословно, но речь шла об этом. Я с радостью принял эту идею редактора. Встретился с Милошем, провел с ним и его женой несколько часов. Насколько помню, мы совсем не говорили о политике, так как не в этом было дело. Дело было в том, и я это хорошо понимал, чтобы Милош знал, что, если решится покинуть свои функции в Народной Польше, «Культура» его примет.

Вскоре Милош при драматических обстоятельствах из Польши бежал и попал прямо к нам, в дом «Культуры». В то же самое время один из ближайших друзей Гедройца, Рышард Врага, многолетний специалист по советской России, узнав о прибытии Милоша, начал повсюду рассказывать, что Милош несомненно нам «подброшен», то есть прибыл как советский агент. Узнав об этом, Гедройц и я побывали у Враги и спросили, на чем он основывает такое мнение о Милоше, который тогда уже жил у нас. У Враги был единственный ответ: он показал себе на нос. Это откровенно свидетельствовало, что у него нет никаких данных, кроме домыслов специалиста-разведчика. Мы встали, попрощались с Врагой

и никогда уже больше с ним не виделись. Этот жест Гедройца я считаю правильным и необходимым. Нельзя было одновременно поддерживать отношения с Милошем и с человеком, который бездоказательно очернял его. Для Гедройца это был жест нешуточный: с Врагой он дружил много лет. С тех пор и по сей день «Культура» была уже, собственно, и домом Милоша. Он приезжал к нам, нередко жил у нас, в особенности подружившись с Зыгмунтом Герцем. Гедройц с того времени был постоянным издателем Милоша, а теперь, после Нобеля, переиздал все его сочинения. Если говорить о людях в эмиграции, которые не приняли участия в травле Милоша, то это была не только «Культура», но и широкий круг людей, связанных и друживших с «Культурой». Среди них были такие люди, как Ежи Стемповский, Станислав Винценз, Кот Еленский.

Не думал я публично брать слово по этому делу, но, будучи другом Милоша, испытывал настоящую потребность разъяснить его. Я испытываю также потребность подчеркнуть огромную роль Гедройца в этом деле, как и во многих других, о которых мало кто знает.

Лешек Шаруга ПОГОНЯ ЗА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ

В «Свидетельстве поэзии», сборнике лекций о «неприятностях нашего века», Чеслав Милош писал:

Существует некая логика современного искусства — в поэзии, живописи, музыке, и это логика неустанного *движения*. Мы выброшены за орбиту улаженного условностями языка и осуждены производить опасные опыты, но тем самым мы остаемся верны определению поэзии как «страстной погони за действительностью». Именно ослабление веры в действительность, существующую объективно, вне нашего восприятия, выглядит одной из причин уныния современной поэзии, которая из-за этого ощущает как бы утрату своего права на существование.

В том же томе Милош противопоставляет себя классицизму, определяя его как формальную «отделку», неплодотворную как познавательно, так и артистически, — для многих читателей Милоша, привыкших воспринимать его творчество как «классицистическое», это может оказаться неожиданностью.

Однако это вовсе не неожиданность. Еще в 60-е годы поэт подвергал сомнению художественную эффективность формального «совершенства», причем, вероятно, стоит отметить, что в этом он находил общий язык с Виславой Шимборской, которая в стихотворении «Луковица», говоря о материи человеческого опыта, подчеркивала:

У нас — жиры, нервы, жилы,
слизи и секреты.
И нам отказано
в идиотизме совершенства.

Так и Милош вступает в спор с идеалом поэзии, опирающейся на классицистические формулировки. Уже в заглавии стихотворения «Ars poetica?» он ставит под подозрение это классицистическое совершенство, чтобы признаться:

Вечно стремился я к форме более емкой,
что не была бы ни слишком поэзией, ни слишком прозой
и позволяла бы понимание, не обрекая
автора и читателя на высочайшие муки.

К этой мысли он возвращается в предисловии к сборнику «Необъятая земля»: «Почему не включить в одну книгу сентенции, записанные при чтении разных писателей, раз они нас поразили как верные, свои стихи, переводы из других поэтов, заметки прозой и даже письма от друзей, если они касаются тревожащих нас вопросов? Так я и поступил в книге, которую здесь представляю, — поступил в поисках, как я когда-то это назвал, „формы более емкой“».

Так поэтическая речь становится открытой, поглощает и тем самым претворяет всё новые формы в стремлении избавить стихи от ограничений «литературности». Смысл такого шага объяснен в словах из стихотворения «Отчет»: «Из химеры рождается поэзия и признается в своем изъяне».

О каком изъяне здесь говорится? В «Саду наук» мы читаем интересные замечания о слабости польского языка: «Каждый язык носит зародыш ему только присущих болезней, и каждому угрожает свое. Из славянских языков польский рано, сразу после чешского, обрел литературную зрелость и в XVI веке, когда Леополита, кальвинисты, ариане и, наконец, Якуб Вуек переводили Библию, это уже был хорошо сформированный язык. Но литературность же станет его Ахиллесовой пятой».

И в том же сборнике эссе мы находим замечание насчет действительности: «„Что есть истина?“ — спросил Пилат. „Что есть действительность?“ — спрашивают нас. На такой вопрос не следует отвечать».

Это очевидно: ответ на такой вопрос предполагает знание, а единственное знание о действительности — ощущение ее неуловимости. «Страстная погоня за действительностью», каковую

представляет собой поэзия, — это погоня за тем, чего никогда не поймашь. Поэтому цитированный выше «Отчет» увенчан неизбежно вытекающей концовкой: «После каждого восхода солнца я отрекаюсь от ночных сомнений и приветствую новый день драгоценных химер».

Происходит встреча открытой формы, всё «более емкой» с новым, ранее неизвестным опытом. И действительность до конца не познаваема, и форма поэтической речи не неизменна. Самой большой опасностью тут становится замыкание в готовых, «литературных» формулировках: «В никогда не утоляемой жажде подражательности, то есть верности детали, состоит здоровье поэзии, ее возможность пережить неблагоприятные для нее времена». Однако этой жажде противостоит та самая «литературность» — «искушение смириться и писать красиво». Остановиться на этом означает одновременно порвать союз с миром, постоянно переменчивым и постоянно требующим нового выражения, в том числе и поэтического. Это означает также пренебречь теми функциями поэзии, которые определяют ее как социальное явление, как то, что «свидетельствует». А именно эту функцию поэзия Милоша выполняет с самого начала, от выражения катастрофических предчувствий в конце 30-х гг. минувшего столетия, через точнейший диагноз послевоенного положения в «Моральном трактате» и до попытки определить состояние человека сегодня. Выполняя же эту функцию и видя перемены, поэзия старается сохранить себя. Чтобы справиться с этим, Милош старается найти ироническую дистанцию по отношению к человеческому опыту. В стихотворении «После» он замечает:

Я очнулся на краю цивилизации,
которая казалась мне комической и непонятной.

Этот комизм позволяет уберечь ощущение непрерывности истории, которое после войны подверглось расшатыванию или даже — в знаменитом вопросе Теодора Адорно о том, можно ли писать стихи «после Освенцима», — сомнению. Отсюда у Милоша возникает полемика с Тадеушем Ружевичем, который сделал трагедию войны вместе с ее дальнейшими последствиями центром своего поэтического мира. В стихотворении «Ружевич» Милош пишет:

он воспринял это всерьез
серьезный смертный
он не танцует

Однако эта полемика касается не только понимания истории. Главный вопрос здесь — понимание поэзии как танца, то есть восторга перед чудом бытия, в котором зла не отделить от добра. Как важен этот спор, свидетельствует стихотворение «Unde malum»:

К сожалению пан Тадеуш
добрая природа и злой человек
это изобретение романтизма

на самом деле пан Тадеуш
зло (и добро) рождается в человеке

Между тем ни зло, ни добро не составляют внутреннего облика человека. Его стержнем, неотторжимым и ни к чему не сводимым, оказывается эротика, как в строках стихотворения «Честное описание самого себя за стаканом виски в аэропорту, допустим, в Миннеаполисе»:

Вижу их ноги в мини-юбках, брюках или веющих тканях,
За каждой подсматриваю отдельно, за бедрами и ляжками, раскачиваем
порновиденьями.
Старый похотливый дед, пора тебе в могилу, а не к играм и забавам юности.
Неправда, я делаю только то, что делал всегда, составляя сцены этой
земли по приказу эротического воображения.

Этот приказ объясняет, почему та «погоня за действительностью», которую представляет собой поэзия, — «страстная» погоня, в глубине которой лежат желания, не поддающиеся ни подавлению, ни рационализации. Таким явлен мир в поэтической прозе, которой написан роман Милоша «Долина Иссы» — произведение, где эротика если и не царит, то во всяком случае во многом определяет поведение ребенка, героя повествования. При этом эротика насыщена ощущением волшебства, утраченного современным человеком.

«Поэт XX века, — читаем мы в «Свидетельстве поэзии», — это ребенок, которого тренируют в уважении к голым фактам исключительно жестоко просвещенные взрослые». В заключение автор, однако, подчеркивает: «И все-таки существуют знамения, которые позволяют ожидать фундаментальной перемены у самых истоков, то есть техническая цивилизация начнет смотреть на действительность как на стеклянный лабиринт, не менее волшебный, чем тот, который видели алхимики и поэты. Это стало бы победой Уильяма Блейка и его „Божественных Искусств Воображения“ — но и триумфом ребенка в поэте, слишком долго дрессированного взрослыми».

Обретение детской «наивности», детской чистоты взгляда — при этом взгляда, не лишённого и доли жестокости, — возможно лишь при подчинении «приказу эротического воображения», разжигаемого страстями и по-своему бескорыстным любопытством. Это-то любопытство и открывает просторы «формы более емкой», к которой ведет Милоша рисунок библейского стиха. На эту стезю автора «Безымянного города», вероятно, привело наблюдение, сделанное Оскаром Милошем, которое состоящий с ним в родстве нобелевский лауреат приводит в своих рассуждениях: «Форма новой поэзии, — писал Оскар Милош, — вероятно, будет формой Библии: свободно текущей прозой, выкованной в стихотворные строки». В этом насыщении поэзии прозой, то есть в выдвинутом Чеславом Милошем еще в сороковые годы отходе от «упрямо рефлексивной лирики», проявляется стремление к «верности детали», к постоянно обновляемому опознаванию действительности в ее форме, данной «здесь и теперь», как в стихотворении «Сараево» с язвительным ироническим подзаголовком («Пусть это будут не стихи, но хотя бы то, что я чувствую»):

Когда убиваемая, насилюемая страна взывает о помощи к Европе,
в которую поверила, они зевают.

<...>

Теперь оказывается, что их Европа с самого начала была
самовнушением, ибо ее вера и основа — ничто.

Эта «верность детали», стремление свидетельствовать о моменте, который бесповоротно уходит, — своеобразное «подглядывание», как в стихотворении «Voyeur»:

Я был странствующим подглядчиком на земле. <...>
Всегда думал о том, что носят женщины закрытым:
Темный вход в сад познания
В пене юбок, нижних юбок и оборок. <...>
Я, правда, не собирался с ними спать.
Их желали глаза мои, алчные, ужасно алчные,
Приглашенные на комедию,
Где философия и грамматика,
Поэтика и математика,
Логика и риторика,
Богословие и герменевтика
И все науки мудрецов и пророков
Собрались, чтобы сочинять песнь песней
О неприручаемом пушистом зверьке

Эта «песнь песней» — поэзия, горизонт которой определен Писанием. И не случайно в результате своих размышлений над слабостью польского языка, над тем, как он заражен «литературностью», Милош взялся за труд нового перевода Библии. Комментируя свою работу, он замечал: «Но всё это только поиски, ибо сегодня нет польского языка, способного вынести библейский текст, — его еще надо создать». Можно предположить, что эти «поиски» должны служить не столько самому переводу, сколько созданию нового поэтического языка, позволяющего обычное повествование преобразить в притчу, в которой обыденность, случайная и временная, приобретает дополнительный аспект, наделяется смыслом. В стихотворении «Так называемая жизнь» мы находим описание трудностей, встречающихся на пути к тому, чтобы уловить действительность в сети этой «формы более емкой»:

Так называемая жизнь:
всё, что дает сюжеты мыльным операм,
не казалось мне достойным рассказа,
или же и хотел бы я говорить, да не умел.

Дело в том, что и поэтическое повествование, и мыльная опера действительно говорят об одном и том же — о человеческой

судьбе, о наших страстях и переживаниях, которые исчезнут вместе с нами. Однако — и тут появляется необычайно важная в поэзии Милоша проблема — именно поэтическое повествование должно сделать так, чтобы то, что мы считаем случайным приключением: наши радости и наши страдания, — нашло свое место в промысле Сотворения и насытилось смыслом.

2001

Юлия Гартвиг
МЕДИТАЦИЯ

Не были мы ни достойны ни слишком самоуверенны
чтобы браться за темы превосходившие нас
Он должно быть об этом знал раз побуждал к простоте
предупреждал и даже с насмешкой не прыгать выше головы
и не заглядывать божеству за шиворот
Но предупреждал впустую
ибо гордыней были сами занятия искусством

Сколько сумел он сказать о себе дурного
не наболтал ни один из его малолетних гонителей
О вере говорил он смело
ощущал себя манихейцем, но остался при правой вере
хоть его не оставляли сомнения
Правда — как сам он заметил — ум его был коварным
Дано ему было больше других и он это знал

Бывало за это его ненавидели
бывало смотрели попросту косо — порицая
Недоучки поучали его
Кое-кто пытался с убеждением или без
передвинуть его в конец списка
Как других так и его не миновала несправедливость

Быть обожаемым или отвергнутым
этот путь он сам выбрал
Никогда посередине

Бывало он сравнивал себя с Иовом
но глядевшие со стороны
видели только что ему везет
словно подписал соглашение с чѐртом
ибо слава его объяла два континента
и он занял высокое место в поэтической башне

А он отлично знал
что самого главного не знает
и знать не может
Он хотел показать реальное и показал
Но над этой реальностью возносилось всегда
неотгадываемое пространство
как воздвигнутая над геенной долина счастья

Прежде чем настал назначенный срок
ему открылось чем будут старость и угасание
Город неохотно и медля
отдавал свои крепости и корабли

Болезнь Чеслава Милоша уже целые месяцы наполняла нас тревогой. Но его борьба со временем, союзником в которой служила ему великолепная память, заставляла нас приписывать Милошу некую нескончаемую длительность. Лишь последние вести о слабеющей жизненной силе поэта позволили нам осознать, что постепенно с ним надо прощаться.

Стихотворение «Медитация» было написано до 14 августа и представляет собой своего рода запись интенсивных мыслей о нем, все еще с надеждой на личную встречу. — Ю.Г.

Адам Михник
ДЕКАН, МЫ БЕРЕЖЕМ НАКАЗ ТВОЙ
Речь на похоронах Чеслава Милоша

Последний раз встречаются с Чеславом Милошем его друзья.
Вся его жизнь была борением с проклятьями XX века.

Ты обладал, Чеслав, необычайным ощущением гладкой стены Востока и польских стен Темнограда¹. Ты был чутким и бдительным регистратором наших общих страхов — но не останавливался на этом. Ты дарил нам достоинство, истину и красоту. Охранял от отчаяния. Когда нас заливала лавина лжи, грязи и мерзости, мы повторяли за тобой:

Лавина катит по камням,
Но и они ей бег изменят².

Мы внимательнейшим образом слушали твои признания из памятного стихотворения «Джонатану Свифту», где ты писал:

Ход жизни преломился с болью
На звенья разного металла,
И сердце напилось солью,
Но пустоты не испытало.

С людьми делясь посильной лептой
И бешенством живых хотений,
Я взгляд сберег от черной ленты
Непостижимых ослеплений³.

Многие из нас — и в этом надо честно признаться над твоей могилой — не сберегли взгляда от ленты непостижимых ослеплений. И многие из нас — благодаря тебе — эту ленту с глаз сорвали. И мы смиренно повторяли за тобой просьбу, обращенную к Свифту [цитата приводится в дословном переводе]:

Ты можешь указать мне, декан,
Как сотворяется эта преудивительная жидкость,
Такая, что кроме чернил остается
Что-то большее на дне чернильницы.

Дай мне секреты своего века⁴,
Чтобы я не кривился слащаво,
Как те, что произносят речи о человеке
И только тихо скулят во сне.

Ты верно передавал нам, Чеслав, секреты своего века. Ты говорил нам, что нельзя оскорблять человека простого⁵, объяснял запутанную историю поработанного ума, рассказывал о настоящих судьбах нашей семейной Европы. Благодаря тебе мы вникли в таинственную историю Великого Княжества Литовского, этой чудесной и неповторимой польско-литовско-белорусско-еврейской мешанины, которая обогащала польскую культуру и всю культуру этой части Европы. Познанием произведений Симоны Вейль, переписки Томаса Мертон и, наконец, необыкновенной польской Псалтирю ты привил нам истину о глубине и мудрости католической религии. Благодаря тебе поколение гуляк и маловеров из земли Ульро вновь обратилось к Книге Книг — Священному Писанию⁶.

А в то же время ты так проникательно наблюдал мудрых и сильных мира сего. Ты предостерегал их, что будут запечатлены дело и слово⁷. Ты писал:

Принц, отраженный зеркалами,
Чуть свистнет — и поэты в сборе.
Прогнули задницы рядами
И виги перед ним, и тори.

Правители всегда неправы,
Решив, что слава их — навеки.
Один щелчок — и прочь из славы
Лететь им в пекло картотеки.

В самом деле — ты безошибочно почувствовал, что такое пекло картотеки. То пекло, которое поглотило миллионы человеческих жизней, по сей день заражает своим отравительским ядом толпы больных подозрительностью любителей гэбэшных рапортов — этой специфической порнографии нашей эпохи.

Ты обращался к Свифту со словами:

И полночь с плачущей совою
Над домиком в глуши ирландской
Прочней, чем лавр над головою
Владыки с мраморной гримасой.

И ты выбрал свой дом «с плачущей совою», свою медвежью берлогу в Калифорнии, откуда писал нам письма, полные боли и ужаса — но в то же время насыщенные мудростью сердца, преисполненные веры, надежды и любви.

Чеслав! Ты даровал Польше то, что ценнее всего: истину о нас самих и смирение перед ценностями, самыми настоящими — из Десятисловия и Нагорной проповеди. Даровал ты Польше и непокорную отвагу перед будущими обстоятельствами, которые готовит нам история, спущенная с цепи. История Освенцима и Катыни, история Катастрофы и ГУЛАГа, история антисемитизма и уничтожения классового врага при коммунистическом тоталитарном строе.

Эта история не жалела для тебя ударов и унижений. Не было наверное другого польского писателя, над которым польские мракобесы всех политических окрасок измывались так жестоко и подло. Однако ты всегда знал, что существует другая Польша — та, которая тобой восхищается и любит тебя, которая ждет каждого твоего стихотворения, каждой твоей книги. Тебя называли отступником, предателем, дезертиром. Тебе, искуснику польского языка, отказывали в праве называться польским писателем. И это оскорбление стало оскорблением всей польской национальной культуры.

Ты писал в стихотворении «Припоминание»:

Скажи мне, как измерить
Дел наших смысл и норов:
На пристанях богатствами,
Ценой ли договоров?
Иль что ни день гасимым
Светильником надеи,
Что нации на лучшие
И худшие не делит?⁸

Закончу твоими словами, которыми ты говорил с Джонатаном
Свифтом:

Звучит в сегодня обращенный
Твой голос: дела тьма на свете.
Кто мнит историю свершенной,
Достоин безоружной смерти.

Отваги, сын! Тяни за нитки
По мелководью флот потешный.
На муравьиные ошибки
Да грянет с неба град кромешный.

Покуда есть земля под небом,
Ищи причалы новых странствий.
Вне этого прощенья нет нам.

Декан, я берегу наказ твой.

Чеслав, наш добрый, умный, любимый декан, мы бережем на-
каз твой...

2004

Примечания переводчика

- 1 «Вдали Востока гладкая стена, / А сзади Темноград, твоя страна» (На смерть Тадеуша Боровского. Пер. А. Шараповой). Темноград (неологизм Станислава Костки Потоцкого, 1820) — обозначение всякой темноты и мракобесия, нечто сродни щедринскому городу Глупову, но гораздо употребительней (есть, например, поэма Галчинского «Путешествие в Темноград»). (В былые годы я переводила этот Темноград как Тьмутаракань. — *НГ-2011.*)
- 2 Моральный трактат. Эти две строки — в моем переводе.
- 3 Цитаты из этого стихотворения приводятся в переводе А. Шараповой (*Милош Ч.* Так мало и другие стихотворения. М.: Вахазар, 1993), но одна цитата переведена дословно, так как здесь перевод А. Шараповой слишком расходится с фрагментами, использованными в речи А. Михника.
- 4 Тут следует подчеркнуть, что по-польски «век» значит как век, так и возраст.
- 5 См. в указанной книге стих. «Ты, оскорбив человека простого...» в пер. Т. Врубель. (Или мой перевод на с. 113).
- 6 В этом абзаце, кроме переводов Милоша (С. Вейль, Т. Мертон, Книга Псалмов), в раскавыченном виде упомянуты его книги «Порабощенный ум», «Родная Европа», «Земля Ульро».
- 7 См. примеч. 5.
- 8 Перевод мой. См. всё стихотворение на с. 110.

Томас Венцлова
ПОЭТ ОБОИХ НАРОДОВ

После смерти Чеслава Милоша нашлись такие — немногочисленные, но заметные, — кто называл его поэтом недостаточно католическим и недостаточно польским. (Это, впрочем, были не первые нападки на Милоша: в 50-е гг. подобными выходками отличалась коммунистическая пропаганда.) Думаю, что поэт глядел на это с небес с усмешкой: он страшно любил провоцировать как тоталитаристов, так и националистов — и в конце концов всегда торжествовал над противниками. Он упокоился в краковском костеле «На Скалке», в национальном пантеоне. За несколько дней до похорон я был возле этого костела и видел жалкие горстки демонстрантов, размахивавших транспарантами, на которых были помещены вырванные из контекста цитаты из Милоша и самые разнообразные обвинения. Нарушить порядок во время погребального шествия они не осмелились.

Среди обвинений повторялось одно: Чеслав Милош вовсе не был поляком — он литвин (так в старину называли граждан Великого Княжества Литовского), то есть по определению не мог участвовать в создании польской культуры и, наоборот, ненавидел ее и вносил в нее враждебные ей элементы. Это утверждение повеселило бы поэта больше всего прочего, однако неожиданным для него не стало бы. Много лет назад он писал: «Среди поляков я не раз сталкивался с подозрительностью: якобы с моей польскостью не все в порядке. И должен признаться, что тень правоты в этом есть, хотя ребенком, еще в России, я декламировал: „Кто ты? / Маленький поляк. / Какой твой знак? / Белый орел“ [перевод хрестоматийного четверостишия — дословный]». Он был родом из мест, связанных с Польшей несколько сот лет, но к ней

не принадлежащих. Из Литвы, удивительного государства, которое в Средние века было независимой полужыческой, полуправославной империей, позднее разделило польские судьбы, а в XX веке вновь обрело независимость — одновременно с Польшей и так же, как Польша, дважды. Независимость XX века оказалась совсем другой, нежели древняя: она опиралась на этнографический критерий, а это означало, что вместо державы, достигавшей Смоленска и побережья Черного моря, появилась маленькая, хотя и амбициозная прибалтийская республика, похожая на Латвию, Эстонию, отчасти на Финляндию. Своей столицей она считала Вильнюс, прекрасный город, который был центром средневековой империи, но уже несколько веков говорил преимущественно польски и поэтому был присоединен к Польше. Результатом этого был длительный и острый конфликт, который многие годы выглядел таким же неразрешимым, как израильско-арабский конфликт из-за Иерусалима. Чеслав Милош был прежде всего поэтом Вильнюса, который он называл «безымянным городом», а вдобавок в споре о Вильнюсе он занимал особую позицию, и польские сверхпатриоты автоматически зачисляли его в подозрительные. Литовцам тоже было не слишком ясно, кто такой этот странный виленский автор, потому что литовца ныне характеризует язык — трудный, для славянина совершенно непонятный, имеющий с польским ровно столько же общего, сколько гэльский с английским. Милош слышал этот язык в детстве, умел на нем читать, но никогда по-литовски не писал. Во всяком случае родился он в Литве и остался ей верен.

Для польского поэта это не было ничем исключительным, потому что литвином считал себя и Адам Мицкевич, занимающий в польской культуре XIX века место, близкое к тому, какое занял Милош в XX. У лучших польских писателей было принято вести свой род из Литвы, как у английских — из Ирландии; это сравнение уже попало в общие места. Любой поляк (и любой литовец!) знает, что прославленная поэма Мицкевича «Пан Тадеуш» начинается словами «Отчизна милая, Литва!». Но это начало вдвое парадоксально, потому что Литва «Пана Тадеуша» — это сегодняшняя Белоруссия.

Милош, в отличие от Мицкевича, родом из исконной Литвы. Читая в детстве «Пана Тадеуша», он удивлялся, что там говорится

о буках и борзых, которых в родном краю ему видеть не доводилось. Однако он был писателем пограничья культур, как и Мицкевич — а также Целан, Йетс, Итало Свево или Кавафис. Пограничье — это почва, порождающая конфликты, даже войны, в том числе и мировые, но несомненно плодотворная для таланта.

Милош родился в Шетейнах (Шетейняе), которым посвятил стихотворение, прочитанное в день его похорон перед костелом «На Скалке» сначала по-польски, потом по-литовски, потом на нескольких других языках:

Низко за деревьями сторона Реки, за мной и строеньями сторона Леса,
направо сторона Святого Брода, налево — Кузни и Парома.
Где бы я ни странствовал, по каким бы континентам, всегда лицом
был повернут к Реке.
Чую аромат и вкус разгрызенной бело-красной сочности аира.
Слыша старые языческие песни жнецов, возвращавшихся с поля,
когда солнце погожих вечеров догасало за пригорками.

Река — это Невеж (по-польски — Невяжа, по-литовски — Невежис); Шетейняй расположен в самом центре нынешней Литвы, на границе двух ее частей — Жмуди и Аукштайтии. Больше из них Аукштайтия, родовое гнездо древних литовских князей, откуда пошло начало государства. Жмудь славится верностью древним обычаям и языку. Герб Аукштоты — литовская Погоня, всадник на коне, герб Жмуди — Медведь; со жмудским или литовским медведем Милош, кстати, любил себя сравнивать. Однажды я с ним разговаривал о прекрасной басне, которую написал во времена Мицкевича литовский поэт Симонас Станявичюс. В ней на берегу Невежа встречаются медведь и конь: один скован цепью, второй стреножен. Речь идет, разумеется, о царской России, угнетавшей Жмудь и Аукштайтию так же, как и Польшу, и рухнувшей, когда Милошу было шесть лет. Окрестности Шетейня были издавна заселены патриотической шляхтой и знаменитыми своим упорством крестьянами — и те и другие приняли активное участие в восстании 1863 года.

«Я вырастал из предрассудков глухой провинции», — не без самоиронии сказал поэт в одном из своих последних интервью. Предрассудки предрассудками, но известно, что Милош был как

мало кто другой погружен в свое место и время. Он обладал очень литовскими чертами, рождающимися в простом мире сельских добродетелей и повседневных работ: упорством, дисциплинированностью, внутренней силой. Разумеется, это скорее типично для всякого общества на схожей степени развития, но в Литве это было усилено — так или иначе, романы и эссе Милоша велят этому верить. Он всегда считал, что из детства и молодости в Литве вынес основы своего мировоззрения: специфический антитоталитарный консерватизм, отвержение нигилизма и этического релятивизма, поиски неизменной шкалы ценностей и постоянной точки отсчета, веру в разум, но и своеобразный пантеизм, глубокую жажду отдаваться природе и ее ритмам, понимание природы как потерянного рая, который, однако, можно вновь завоевать. Думаю, что литовский опыт оставил след и на отношении Милоша к языку — как явлению насквозь поэтическому и в то же время обеспечивающему личное и национальное самосознание. Прибавлю черту характера, о которой говорится в «Долине Иссы», — «спокойствие и сдержанность в высказывании суждений о себе».

Как я уже упоминал, обретение Литвой и Польшей независимости породило антагонизм. Семья Милошей была вынуждена переселиться в Вильно, отделенное тогда от «Ковенской Литвы» (временным местопребыванием литовских властей был Каунас) чем-то вроде «железного занавеса» *avant la lettre*. Великолепная барочная столица бывшей литовской империи повлияла на развитие поэта, пожалуй, еще больше, чем родные сельские места. Она хранила память о богословских диспутах XVII века, о спорах романтизма и Просвещения. Хотя теперь она лежала на окраине польского государства и была довольно запущенной провинцией, здесь не было недостатка в необычайных людях, связанных главным образом с Виленским университетом, который некогда окончил Мицкевич. Здесь скрещивались языки, нравы, эры; кроме польской среды существовала литовская, белорусская, еврейская. От Вильна Милош, как признавался в стихах, никогда не сумел отойти. «Это магический, магический город», — сказал он в последние недели жизни своему лечащему врачу.

Уже в гимназии он познал невероятную гетерогенность этого города. В одном из поздних эссе он вспоминал странные фамилии своих школьных товарищей: Альхимович, Блинструб, Бобкис,

Большот, Волейко, Дабкус, Мейер, Мейштович, Микутович, Мирза-Мурзич, Сволкен, Семашко, Чеби-Оглы. Это были, как правило, не польские фамилии — белорусские, литовские, довольно часто татарские, иногда немецкие или даже датские (еврейских не было, так как евреи обычно ходили в свои школы). Гимназия носила имя Сигизмунда Августа, короля польского и великого князя литовского XVI века, родом литовца, но языка своих предков уже не знавшего. Неподалеку находилась другая гимназия — имени Витовта Великого: этот старший родич Сигизмунда Августа в свою очередь символизировал литовский сепаратизм и любовь к родному языку, и школа готовила кадры для будущего литовского Вильнюса, оставшегося в сфере мечтаний. Власти делали всё, что могли, чтобы связать город с Польшей, не останавливаясь перед репрессиями против литовцев и белорусов. Большинство польского населения разделяло национальную идеологию. «Мыслящие единицы были скорее немногочисленны — хотя весьма любопытны и ценны, энергичны», — писал Милош в 1978 году. Так называемые «краёвцы»: Людвик Абрамович, Михал Ромер и другие — еще до Первой мировой войны мечтали о воскрешении былой Литвы, то есть балто-славянского Великого Княжества, вероятно, в федерации с Польшей, но сохраняющего свой национальный облик и своеобразный характер. Группа «краёвцев» во времена Милоша не лишена была влияния — в этом ее поддерживала местная традиция, согласно которой граждан Великого Княжества считали духовно богаче, чем жителей «Короны» — Варшавы или Кракова. Не забудем, что из Великого Княжества были родом, то есть считали себя литвинами, Адам Мицкевич и воскресивший независимую Польшу Юзеф Пилсудский.

Провинциальный застой бывает чреват бунтом. Гимназистом, а потом студентом Чеслав Милош оказался в оппозиции к большинству. Бунт проявился в том, что он стал наследником идей «краёвцев». Любовь к Литве, как у Мицкевича и Пилсудского, не противоречила у него любви к Польше. Отсюда возникала мечта о новаторском решении виленского вопроса. В 22 года он опубликовал в журнале молодых литераторов «Жагары» эссе, где писал о своем городе с едкой иронией, но серьезно:

Вильно, прекрасный и мрачный северный город. В окно видна мостовая в ухабах, лужи и кучи навоза. Дальше выщербленная стена и деревянные

изгороди. В центре города собаки грызутся посреди улицы, и ни одна машина их не спугнет. Бедная столица! Не смешон ли спор из-за этих запутанных переулков еврейского гетто? Из-за развалин княжеского замка? Из-за нескольких нищих поветов, население которых растит лен на бесплодных песках и вместо махорки курит вишневые листья, а вместо спичек у них кресало?

Милош предлагал — особенно ввиду угрозы со стороны гитлеровской Германии — компромисс, польско-литовское сближение, переход к такому положению, когда Польша перестала бы рассматривать Вильнюс как исключительно свое, а потерю города не считала бы неисцелимым ущербом. Это привело лишь к конфискации номера «Жагаров» и открытию следственного дела — правда, закрытого прокурором.

«Жагары», выходявшие в Вильне в 1931–1934 годах, название получили от местного литовского слова, означающего хворост или сухие ветви. Милош, имя которого навсегда осталось связано с этим журналом, печатал там, в частности, переводы из литовской литературы и эссе о ней. Ему помогал в этом Пронас Анцявичюс, он же Францишек Анцевич, молодой публицист, эмигрант из «Ковенской Литвы». Всю жизнь Милош считал его одним из своих учителей. Поэтом, которого переводил и высоко ценил Милош — а также и Анцевич, — был Казис Борута, анархизирующий литовский левак, позднее гулаговский зэк.

Нельзя пройти мимо еще одного имени: в то время на польского поэта повлиял дальний родственник Оскар Милош, которого литовцы называют Оскарас Милашюс. Это был человек совершенно иного рода, нежели Анцевич и Борута. Польский аристократ, родившийся в Белоруссии от матери-еврейки, как будто воплощал сложность тамошней истории и этнических отношений. Он выбрал Литву, стал дипломатом литовского государства и боролся за Вильнюс на международной арене, по каковой причине многие поляки считали его предателем; он так никогда и не выучил языка своей приемной родины, зато писал стихи по-французски, сначала декадентские (он дружил с Оскаром Уайльдсом), потом метафизические, совершенно оригинальные, недалекие от пророчествования. Жил он в Париже, где принимал молодого Чеслава в литовском посольстве. Этот искатель тайного смысла вещей

в истории, космополит, которого литовцы считали и по-прежнему считают своим, был для своего родственника кем-то вроде духовного учителя. Оскар Милош стал героем одной из последних поэм Чеслава, озаглавленной «Подмастерье» (заглавие, разумеется, относится к младшему поэту). Он повлиял на все его творчество, вращающееся вокруг тем катастрофы, искупления и великого преображения.

В Каунасе, куда Милош ненадолго попал в начале Второй мировой войны, он нашел еще одного литовского друга — Юозаса Келюотиса, редактора авангардного журнала «Науйои Ромува» [«Новая Ромува» — по названию легендарного главного языческого капища в Литве], который печатал переводы из Джойса и Кафки (и из Оскара Милоша) и прививал в Литве европейские, главным образом французские, философские течения. После войны Келюотис прошел сталинские лагеря, как и Борута, хотя они были людьми с совершенно разной политической ориентацией.

Все эти знакомства и влияния действовали в одном направлении: учили, что какой бы то ни было этноцентризм (будь то польский или литовский) недопустим, что всякую проблему, в том числе и проблему Вильно/Вильнюса, следует рассматривать с нескольких равноценных точек зрения. Размышления о судьбах Вильнюса привели Милоша спустя многие годы к сжатой формулировке: «Всякий желающий добра этому городу должен желать, чтобы он был столицей — что автоматически снимает любые польские претензии на „польское Вильно“». В эмиграции, а потом и в Польше он нашел людей, мысливших подобно, прежде всего Ежи Гедройца. В конце концов они и нашли решение проблемы «литовского Иерусалима», ибо политики пошли по уже протоптанной ими тропе.

Милош был вынужден покинуть Вильнюс в 1940 году, когда туда въехали сталинские танки. Вернулся он через 52 года, о чем написал замечательный поэтический цикл, — когда Вильнюс снова впервые с XVIII века или даже со времен Средневековья стал столицей независимой страны. Тогда Милош уже был одним из самых знаменитых в мире поэтов, нобелевским лауреатом. Он принадлежал к тем, кого эмиграция не сломила: писал непрерывно, и чаще всего — на темы, связанные с Литвой и ее столицей. Сгущенные, полные отступлений, визионерские стихи Милоша

создали мифологизированный образ отчизны, который в сознании сегодняшнего читателя стоит рядом с образом Литвы у Мицкевича, хотя построен совершенно иначе, по принципу коллажа. В «Порабощенном уме» Милош одним из немногих говорил о трагедии прибалтов. Стране детства и молодости он посвятил книги с красноречивыми заглавиями — «Родная Европа», «Начиная с моих улиц», «Поиски отчизны». Он говаривал, что пишет в пустоте, практически без читателей, и кладет рукописи в дупло (что в XIX веке считалось старолитовской традицией). Это было не совсем так. То, что он писал, вскоре начало проникать в Польшу и даже в оккупированную Советским Союзом Литву.

Тут я позволю себе личные воспоминания. Впервые я прочитал несколько стихотворений Милоша в довольно неудачных литовских переводах в уже упомянутом журнале «Науйои Ромува». Подшивки журнала лежали в спецхране, но у моего отца сохранился один из редких комплектов. Потом мне в руки попала «Родная Европа», присланная в Вильнюс невероятным способом: целую книгу пересылали в письмах по листику, страницу за страницей, — две страницы так и не дошли. Когда в период некоторой либерализации я получил разрешение ненадолго поехать в Польшу, я использовал это время — в домах Яна Блонского и Виктора Ворошильского — на лихорадочное чтение недозволенных текстов, прежде всего Милоша. Поэтому кое-что я о нем уже знал той весной, когда Иосиф Бродский был вынужден эмигрировать и я отправился в Петербург (тогда еще Ленинград) попрощаться с ним. На прощальном обеде с изобилием выпивки Бродский спросил, кто, на мой взгляд, лучший польский поэт — Збигнев Херберт? Я ответил: конечно, но еще есть Милош. «А на кого этот Милош похож?» — «Ну прежде всего на себя самого, но чуточку, может, на Одена, чуточку на тебя, Иосиф». — «Если так, то, наверно, хороший поэт». Бродский уехал в США, зная о Милоше всего лишь столько, но вскоре встретился с ним и подружился, что принесло прекрасные плоды. Оба были влюблены в Литву, которая в каком-то смысле их связала.

Интерес Милоша к литовским делам имел для меня некоторые результаты. Кажется, в 1973 году я получил из Варшавы письмо от Виктора Ворошильского, который сообщал, что прочитал мое стихотворение «Зимний разговор» в переводе великого поэта.

Я ответил, что, вероятно, знаю, кто переводчик, потому что великих поэтов у нас не так уж много, но хотел бы услышать, где перевод появился — не в некоем ли культурном городе (я имел в виду, разумеется, Париж и парижскую «Культуру»)? Ворошильский подтвердил мои предположения, а вскоре тайными путями добрался до меня этот номер «Культуры», так что я почувствовал себя посвященным в рыцари. Когда четыре года спустя я приземлился в эмиграции, не кто иной как Чеслав Милош помог мне больше всех, и не только советами, но и самим фактом своего существования. Он был живым доказательством того, что эмиграция не обязательно означает проигрыш. У меня было впечатление, что он относился ко мне с симпатией, хотя и несколько с отцовской иронией. Мы всегда много говорили о Вильнюсе и нашей общей «альма матер». Я привез ему некоторые сведения о его давних литовских друзьях, потому что лично знал и Боруту, которого сталинские тюрьмы закалили, и Келюотиса, которого они, к сожалению, сокрушили. (Анцевича я никогда не встречал, но его хорошо знал мой отец.) Так много лет спустя связались нити памяти, подтверждая правило о том, что в культуре, как и в природе, ничто не исчезает. Я знал также окрестности Шетейня, хотя и не сам Шетейня. Разговоры об этом нашли отголосок в поэме «Особая тетрадь: Звезда Полюнь»:

Когда Томас привез известие, что дома, где я родился, нету,

Ни аллея, ни сбегавшего к берегу парка, ничего,

Мне приснился сон возврата. Счастливый. Яркий. И я летал.

Деревья были даже выше, чем в детстве, они выросли за то время,
что уж не было их.

Он увидел Шетейня отстроенным — теперь там Центр имени Чеслава Милоша. Стал доктором *honoris causa* Каунасского университета им. Витовта Великого, ректором которого когда-то был «краёвец» Михал Ромер, к которому Милош питал восхищение. В Вильнюсе он снова встретил Бродского, участвуя вместе с Виславой Шимборской и Гюнтером Грассом в открытии мемориальной

доски русскому поэту, и при случае привел слова Иосифа: *«Литовцы — это самая хорошая нация в империи»* [по-русски в тексте]. Его издавали на бесчисленных языках, но литовские переводы интересовали его, быть может, больше всего: иногда они попадали в печать раньше, чем польские оригиналы. Он получил почетное гражданство Литвы, что только подтвердило его статус Поэта Общих Народов — тот же статус, которым обладал Адам Мицкевич. Так дополнилась литовская глава великой жизни.

Год назад мы сидели с Шеймусом Хини в краковской квартире Милоша перед бюстом Эвридики — второй жены поэта, безвременно скончавшейся Кэрол. Милош сказал тогда — наполовину, пожалуй, в шутку, — что только литовец сумеет написать его полную биографию. Труд биографа мне не надлежит — вместо биографии Милоша я могу предложить лишь эту горстку воспоминаний. Но не исключаю, что это предсказание когда-нибудь сбудется.

2004

Мариан Сталя

О «ПОСЛЕДНИХ СТИХОТВОРЕНИЯХ» ЧЕСЛАВА МИЛОША

Czesław Miłosz. Wiersze ostatnie.

(Под ред. Ежи Ильга, тексты подгот. к печати Агнешка Косинская.

Краков: Знак, 2006)

1.

Уже в момент смерти Чеслава Милоша было ясно, что его читателей ждет чтение сборника, содержащего поэтические произведения, написанные после выхода «Второго пространства». Это предположение подтверждали как стихи, которые поэт успел опубликовать в журналах (прежде всего поэма «Орфей и Эвридика»), так и сведения о неизданном — о том, что терявший зрение Милош успел записать или надиктовать.

2.

Если в Польше, погруженной в политические скандалы, есть еще место великим художественно-духовным событиям, то «Последние стихотворения» — как раз такое событие. Это, однако, не значит, что форма посмертного сборника Милоша, его общий смысл и место в современной (а также будущей) литературе сами собой очевидны.

Проще говоря: только что вышедший сборник — это первое ознакомление с самым поздним Милошем, с опытом поэта последних лет и месяцев его жизни. Теперь дело подумать о результатах этого ознакомления.

3.

Последние стихотворения Милоша, когда узнаёшь их впервые, кажутся прежде всего продолжением всего его творчества, создавшегося на протяжении нескольких десятилетий. Их чтение — это радость встречи не только с великим, но и с хорошо знакомым.

Задержимся на заключительных строках «Учителя математики»: «бумажный кораблик уплыл / мы шли сквозь какие-то запущенные сады / Ядвига в малиннике разорвала платье / далеко загорались города мирограды / и всё охватил сон»; вслушаемся в финал стихотворения «Химера: множество»: «Над землей, от бледнеющих на рассвете звезд, / Звук бежит, нарастает. Так говорит тишина. / In Excelsis. Навеки. Благословенна»; подумаем о фразах из стихотворения «Черепаша»: «Янек и Неля не ловили черепаху. / Их унижало родство ее с ними. / Они хотели быть чистым интеллектом. / Вскоре они умерли, и на их стульях никого»... Это же тот самый тип фразировки и интонирования, тот же тип монтажа мыслей и образов, который мы знаем по десяткам прежних стихов. Это же тот самый, крепко поставленный Милошевский голос!

Впрочем, не об одном голосе заходит речь. Достаточно перечитать написанное весной 2003 года стихотворение «Небо» (которое начинается так: «Сколько я себя помню, всегда хотел быть на небе // И жил тут, зная, что это лишь на время») или относящегося к тому же периоду «Сына первосвященника» — чтобы обнаружить, что мы по-прежнему остаемся в кругу поэтического замысла, который осуществлялся и преобразовывался на протяжении десятилетий, в кругу великой метафизической поэзии, которая ищет человеку место перед лицом истории, природы и Бога и стремится обновить скудеющее религиозное воображение. Этот-то замысел позволяет взглянуть на Иисуса с точки зрения, заставляющей думать, и делает этот взгляд драматическим. Вот что говорит герой стихотворения Милоша, сын иудейского первосвященника:

Да, отец мой был первосвященник,
но напрасно меня теперь убеждают,
что мой долг — отца осудить.

Он был муж праведный и благочестивый,
защитник имени Господня.

Он обязан был беречь имя Господне
от скверны из уст человека. <...>

Если б даже мой отец хотел спасти
Назарянина, тот нанес ему страшную рану.

Ранил его благочестие, самой сутью которой
была уверенность в бесконечном расстоянии,
отделяющем нас, смертных, от Творца.

Неужто вы, ученики Иисусовы, не понимаете,
что значит для ушей благочестивых ваше утверждение,
будто этот человек был Богом?

Такая речь об Иисусе, где сохраняется христианская точка зрения, но происходит вчувствование в доводы первосвященника, заслуживает долго быть сохраненной в памяти — точно так же, как слова старого Милоша о человеческой телесности и духовности.

4.

Радость, с которой обнаруживаешь в «Последних стихотворениях» следы более ранних произведений поэта и одушевлявший их стиль мышления, не должна заслонить то, что есть нового в посмертно изданном сборнике, то есть то, чего до конца не объяснишь ни существующими описаниями творчества Милоша, ни осуществляемым в этом творчестве поэтически-антропологически-религиозным замыслом. Дело, разумеется, не в том, что в «Последних стихотворениях» произведения, напечатанные при жизни поэта, соседствуют с непечатавшимися, а законченные — с набросками, иногда совсем черновыми; дело и не в том, что Милош не успел (а может, даже и не собирался) сложить эти произведения в единое целое. Дело скорее в том, что место, с которого говорит поэт, необычайно отдалено от опыта, подлежащего

проверке и допускающего сочувствование. Или по-другому: дело в том, что степень непроверяемости опыта исключительно высока, что опыт и требует сочувствования, и одновременно его исключает.

5.

Польская поэзия двух последних веков приучила нас к феномену стихов, написанных перед лицом смерти (или смертельной опасности либо радикальной внутренней перемены). В этой поэзии, особенно за последние полвека, значительную роль сыграли выдающиеся произведения поэтов старых и очень старых. Оба эти явления составляют существенный контекст понимания Милошевских «Последних стихотворений». И в то же время позволяют уловить своеобразие Милоша.

Многие польские поэты испытали старость и поэтически претворили этот опыт. Творчески используемый опыт Милоша шел дальше, переходя ту границу, за которой, как я догадываюсь, переживание времени меняет свой смысл — или теряет его. Оттуда и звучит голос поэта, вписанный в его последние стихи. При этом среди «старых мастеров», о которых говорили на рубеже XX и XXI века, Милош был мастером самым несомненным, одаренным высочайшей степенью самосознания, таланта, владения языком и воображением. А также высочайшей степенью ответственности за поэтическое хозяйство. Короче говоря, в опыте Милоша как автора «Последних стихотворений» встречаются, взаимно усиливая свое действие, чувство поэтического верховенства, опыт очень глубокой старости и переживание затягивающегося пребывания перед лицом смерти, на трудноуловимой границе бытия и небытия.

6.

Об указанных мною вопросах последние стихи Милоша говорят значительно меньше, чем можно было бы ожидать, но в то же время достаточно много, чтобы их не удалось обойти. Говорят особым языком, где дословность встречается с намеками,

тривиальность с утонченностью, серьезность с раблезианскими (или сарматскими) шутками. Такая речь обращает нас к нескольким ощущениям и переживаниям, которые следует упомянуть отдельно.

7.

Суть первого из этих ощущений — взгляд поэта на собственное творчество с перспективы прошедшего времени. (В стихотворении «Девяностолетний поэт подписывает свои книги», по поэтике напоминающем трактаты Милоша, мы находим три загадочных стиха, которые как раз так и можно понять: «Да, действительно, я свое написал. / Это значит всего лишь, что я сознаю, / Как опасно это дело для души»). Этому взгляду сопутствует признание в том, что поэта оставил его демон (daimonion), в невозможности выразить новое, непоэтическое состояние:

Демон мой, ты уже две недели меня не навещаешь,
И я становлюсь кем был бы всегда без твоей подмоги.
Гляжусь в зеркало и немило мне мое лицо,
Память отворяется, а там страшно.

Помутнённый я и несчастный человек.
Совсем другим я останусь в своих стихах.
Хотелось бы остеречь читателей, просить прощения.
Что поделать, даже этой жалобы не умею сложить.

8.

Второе ощущение, куда более драматическое, — чувство отрезанности от живых, чувство, что находишься за рамками их общности. Сжато об этом говорится в вышецитированном стихотворении о девяностолетнем поэте («Теперь, в старости, стою перед свидетелями, / Которые живым уже невидимы»), а еще четче — в другом, озаглавленном «Что мне», где живых заменяет другая, прямо не определенная общность:

Что мне, да и еще там кому до того,

Что будут и дальше рассветы и закаты,
снег на горах, и подснежники,
и человечество с кошками и собаками? <...>

Что нам до того — если в наших краях умолкает гомон мира.

И мы вступаем в Другое, за пространство и время <...>

Не откликаемся, ибо нет языка, чтобы понять друг друга с живыми.

9.

Третье ощущение выражено фигурально — как столкновение с облепившей мглой неясности (так я понимаю заглавную метафору стихотворения «В тумане») или с бездной — отсылающей к внутренней бесформенности («Указывается Я, и это / совершенно черная пропасть») и внешней незавершенности, упоминаемой в шуточно мастерском стихотворении «В честь ксендза Баки»: «Бездна — что безногий, / Бездна — без хвоста, / Лежит у дороги, / Перевернута. <...> А бездна не ест, не пьет, / Молока не дает. / Что же делает? Ждет».

10.

Наконец — четвертое ощущение, ключевое в понимании самого позднего Милоша. Это особым образом понятое спасение, избавление, появляющееся сначала в стилизованной (и явно не завершенной) повести «Пан Сыруть», а потом в благородно простой эпиграмме, завершающей «Последние стихотворения».

«Спасению-избавлению»* Милош возвращает старое значение, о котором говорится в «Этимологическом словаре» Александра

* По-польски «спасение» — «збавене»; если переводить дословно («до корня»), «избавление». В следующем стихотворении-четверостишии

Брюкнера. Оно основано на тождественности глаголов «бавить»^{*} и «быть». Таким образом «избавиться» становится соответствием «сбыть», «избыть». (Поэтому мы читаем в «Пане Сыруте»: «А не так-то легко избыть бытие»). В стихотворении «О спасении» через это старое значение просвечивает новое, религиозное; только замечая оба значения, их столкновение или гармонизацию, можно открыть позицию поэта и увидеть, как жалоба может соединяться с исповеданием веры:

Спасённый от почестей и благ,
Спасённый от счастья и забот,
Спасённый от жизни и продления жизни,
Спасённый.

11.

Размышления над последними стихами Чеслава Милоша только начинаются. Для меня это прежде всего размышления над словом, завершающим «Последние стихотворения». Над тем, в котором жизнь избыта, которое избавлено, спасено.

«Над землей, от бледнеющих на рассвете звезд, / Звук бежит, нарастает. Так говорит тишина. / In Excelsis. Навеки. Благословенна».

2006

Милоша «спасённый» в первых трех стихах = «избавленный». Впрочем, «спасение» — еще и «оцалене» (скажем, «уцеление»); так назывался первый послевоенный сборник стихов Милоша. — НГ.

* Ныне не встречающийся в русском литературном языке глагол «бавить» — по словарю Даля, «продолжать, длить, должить, увеличивать, прибавлять», однокоренное с «добавить, избавить, позабавить, прибавить». — НГ.

Ежи Помяновский МИЛОШ И БЕСЫ

О книге Чеслава Милоша «Россия»

Czesław Miłosz. Rosja. Widzenia transoceaniczne. T. 1. Dostojewski — nasz współczesny. Wyb. Barbara Toruńczyk i Monika Wójciak. Oprac. Barbara Toruńczyk. Wstęp Clare Cavanagh. Warszawa: Zeszyty Literackie, 2010.

Эту книгу открываешь, полагая, что это плод побочных занятий замечательного поэта, в эмиграции вынужденного преподавать русскую литературу потому лишь, что любителей польской филологии там можно было пересчитать по пальцам. А закрываешь — с чувством зависти: завидуешь калифорнийским слушателям лекций; тексты и тезисы лекций составили большинство статей «России» Чеслава Милоша.

Преподаватель хотел — и вынужден был — «ослеплять» слушателей. Он сам пишет, как старался «блеснуть»: лекции в Беркли были первой точкой опоры в Америке — после многократных отказов в визе, после глухого одиночества в Бри под Парижем, после трудолюбивой травли, дружно устроенной ему в Лондоне и Варшаве, когда его обороняла только «Культура» Ежи Гедройца.

Старания оказались успешными. «Мои лекции, — говорит Милош, — получали высокие оценки». Не всякому так повезло. В коротком романе Казимежа Брандыса «Помысел» польский visiting professor захватывает американских студентов простым способом: он сотворил около дюжины «фигур польских писателей XVI–XX вв., сочинения которых выдумывал чаще всего по ночам. Цитаты он импровизировал по ходу лекций, предупреждая, что по-английски невозможно передать красоту оригинала»

Милошу к таким фокусам прибегать не приходилось. Русская литература была массовым предметом поклонения в стране, где,

не забудем, СССР считался врагом *par excellence*. Студенты уже начитались и самого Достоевского, и не критических, а комментариев к «Бесам» или «Братьям Карамазовым». Новому преподавателю открывалось широкое поле для сенсационных открытий, предназначенных не только слушателям и касавшихся не только русского классика. Достоевский служит Милошу поводом — больше того, Архимедовой точкой опоры, — чтобы подняться на умственные высоты, выше шаблонов и предрассудков, общепринятых взглядов на Россию. А мимоходом — и на Польшу.

Он обратился к высокой полке философии, от Сведенборга и Паскаля до Ницше, не для «блеска», а для того чтобы показать, что убеждения Достоевского порождены не случайностью и не стадным рефлексом. Сам Милош этих убеждений не разделяет, он только подает пример лояльности по отношению — пусть это будет ясно — к идеологу, по сути опасному, но достойному восхищения. «Несомненно, пророк, — говорит Милош. — Но и опасный учитель».

Милош изучает, что читал писатель и чему он учился, а также политический контекст его произведений, чтобы объяснить истоки и векторы их сюжетов. Самое здесь главное: Милоша в конце концов волнует функция произведений Достоевского у его современников и у нас. Поэтому книга, изданная стараниями «Зешитов литерацких», — событие, выходящее за пределы историко-литературной деланки.

В то же время в книге поражает ясность стиля и способность к верным и остроумным суждениям («И к чему же мощь, если это всегда мощь центральной власти, а тем временем в запущенном провинциальном городке неизменно повторяется „Ревизор“ Гоголя?»). И еще: убедительна умеренность при формулировании этих суждений. Замечательное интервью, которое взяла у Милоша Сильвия Фролова, называется «Неокончателный диагноз». Эту книгу написал несравненный поэт и пронизательный мыслитель, хотя — вслед за Шестовым — отказывающийся чистому разуму в монополии на святую правоту.

Нет смысла тратить слова на сожаления и полемики с патристическими клеветниками, которые пытались не допустить, чтобы Чеслав Милош упокоился в крипте на краковской Скалке. Хватит сознания, что это заурядные растратчики национальных сокровищ.

В «Россию» вошли не только статьи, совпадающие с лекциями. Уже в этом первом томе будущего трехтомного собрания в отдельных статьях выступают Шестов и Розанов, Владимир Соловьев и Белинский, Пушкин и де Кюстин, а также Мариан Здеховский и Станислав Игнаций Виткевич (Виткаций). Но высказывания Милоша, сосредоточенные вокруг сочинений Достоевского и их героев, представляются особенно красноречивыми и заставляющими польского читателя задуматься.

Феномен уже то, что писатель, у которого что ни шулер и позер — то полячок, пользуется в Польше наибольшим читательским успехом, в том числе и среди писателей. Новую поклонницу Марек Хласко узнавали по тому, что она внезапно принималась цитировать Достоевского. Но не столько польский парадокс, сколько все-ленское увлечение Достоевским в XX веке интересовало Милоша.

Первым новшеством, которое он предложил своим американским слушателям и читателям, был отказ рыться в биографии для объяснения взглядов Достоевского и сюжетных неожиданностей в его романах — а в то время в университетах был в моде психоанализ. Ну да, мимоходом Милош вспоминает о комплексе, который мог бы одолевать писателя, если бы у него на совести действительно было изнасилование, но в «России» мы находим другие — убедительные и открывательские — объяснения главного мотива и загадок его творчества.

Первая из этих загадок — предмет чаще всего раздающегося вопроса: как это может быть, что автор таких волнующих романов одновременно — и открыто — был сторонником таких узких взглядов? Ужасаешься, когда он провозглашает отвратительные (по мнению Клер Каванаг, автора вступительной статьи к книге Милоша) лозунги, среди которых защита царского самодержавия вообще на Западе не понята, а обличение католицизма как источника рационализма и, следовательно, атеизма, обладает чертами доктринерской мании. Откровенная ксенофобия в своем стандартном антисемитском виде дополняет всё остальное.

Эта двойственность как будто объясняет мнение Джозефа Конрада о Достоевском: «That grimacing and haunting creature, who is under a curse» («Это гримасничающее, навязчивое существо, над которым тяготеет проклятие»). Милош этого мнения не разделяет, как и не понимает набоковского пренебрежения стилем Достоевского. Экзегеты Достоевского стремились приуменьшить вопрос, затуманить или перетолковать, и обычно без успеха. Дальше всего эти попытки зашли в СССР: некоторые произведения (в особенности «Дневник писателя» и «Бесы») были доступны только подписчикам на собрания сочинений, да и то не всегда. Другие приемы сводились к теории «двух Достоевских» — до казни и по возвращении из Омска. Милош показывает шаткость этого тезиса.

Но автор рассматриваемой книги идет дальше: он находит ответ на роковой вопрос. Милош показывает, что в этом безумии был метод и был в нем мощный мотив, который толкнул Достоевского к взглядам столь крайним, а в случае его отношения к полякам — столь примитивным.

Милош попросту утверждает, что у Достоевского была одна лишь великая любовь — роман с Россией — и что после первого путешествия на Запад его переполнял «страх за ее будущее», за ее судьбу, если в ней воцарятся безбожные идеи научного мировоззрения, которые привели капиталистический, алчущий прибыли Запад в упадок, а его плебс — на дно нищеты, это он видел в диккенсовском Лондоне.

Русскую интеллигенцию, «сведущих людей» Достоевский считал виновниками грядущей катастрофы, передовой стражей Апокалипсиса. Он уже увидел ее в России: как раз шел процесс Нечаева. Во время этого процесса он писал «Бесов», решив бить тревогу, чтобы уберечь от любых перемен деспотический строй России и его священные столпы.

В этой схеме есть своя логика. Неважно, что капитализм оказался способным на самоисправление, а деспотический строй — на саморазрушение, притом двукратное. Сплав страсти, шовинизма и опасных обстоятельств достаточен, чтобы оправдать фобии писателя, поддержанные необычайно убедительным пером.

Милошу этого хватило и на то, чтобы выдвинуть один из главных тезисов своей книги: комплекс «отвратительных» взглядов

не был стыдливым балластом автора «Преступления и наказания» — он был горячим его страсти и его произведений. Так наверняка было при жизни писателя. Чем, однако, объяснить позднейший культ Достоевского? Не апология же самодержавия и не дискредитация либералов в одной куче с подрывными элементами могла захватить молодых и старых.

Статью «Бесы» Милош начинает рассказом о том, как его остановил на кампусе студент и рассказал, что чтение «Бесов» переменяло его жизнь, «потому что это так, как если бы Достоевский описывал сегодняшнюю Америку». Когда они снова встретились, студент уже занимался распространением коммунистических листовок.

Каким образом, вопрошает Милош, роман, который был резким предостережением от революции, может «убедить кого-то в благодеяниях революции»? И дает ответ важный как для нас, так и для себя самого — жертвы «гегелевского укуса», вовремя понявшей, что мёд был ядом. Из «Бесов» студент узнал, что существуют законы, управляющие историей, что будущее предрешено и надо только ускорить бег истории, пусть даже кнутом. Если это не удалось Верховенскому и Шигалеву, то виновато славянское разгильдяйство — мы сделаем это лучше.

Можно считать, что такому результату чтения Достоевского содействовал поразительно суггестивный способ показа его героев. Своей решимостью и способностью договорить каждую свою мысль до вытекающей из нее крайности они возбуждают не страх, а восхищение. Достоевский обеспечил им больше славы, чем Станислав Бжозовский своей защитой благородства и самоотверженности террористов из «Народной воли» — Перовской, Кибальчича, Нечаева, героев «Пламени».

Да, но «Бесов» читали не только студенты, филологи или искатели истоков зла в плане Божиим. Достоевский был под рукой у Ленина. Был у Луначарского («„Бесы“? Это о нас», — сказал он,

уже будучи наркомом просвещения). Знал эти книги Сталин — они стоят в его кунцевской библиотеке. Знал их Пол Пот, выпускник Сорбонны. Их читали десятки членов «Красных бригад» и «Фракции Красной армии». И ни в ком, насколько мы знаем, эти книги не пробудили никакой сдержанности или перемены планов. А в то же самое время упрочивалась слава Достоевского как пророка. И действительно — подражатели Верховенского множились и везде, где приходили к власти, принимались осуществлять замыслы Шигалева — гласить свободу, чтобы ввести принуждение. Это не свидетельствует в пользу пресловутой исторической необходимости — лишь доказывает, что не только книги, но и идеологии имеют свою судьбу. Судьба эта, однако, коварна.

Вышеназванные любители погонять кнутом паровоз истории боролись против правомочности власти. Власть с незапамятных времен принадлежала обладателям так называемых материальных средств и оружия. Кого такое положение дел не устраивало, в наших краях зачислялся — условно говоря — в левые. У сторонников левых были некоторые общие черты: они боролись против эксплуатации, судебного произвола, цензуры, а прежде всего — против деспотии исполнительной власти. Только в XX веке там и сям левые взяли в свои руки (не будем вдаваться в детали) оружие и средства. Быстро оказалось, что почти везде они это использовали для восстановления деспотии, на этот раз своей собственной. Милош пишет:

Там, в России, группа Нечаева <...> отвергала правомочность монаршей власти и всей системы, построенной на ее сакральности. Здесь, на Западе, пришла очередь власти, создаваемой в результате выборов.

Но вот в Восточной и Центральной Европе, на территории «большой зоны», появилась и сохранилась вплоть до распада СССР и его сферы влияния немалая группа людей, отрицавших правомочность власти, зависимой от соседа-гегемона и узурпировавшей идеи, традиционно связанные с левыми, но в жизни — мнимые. В Польше тогда удалось достичь беспрецедентного явления — союза рабочего авангарда с интеллигенцией. Результатом было освобождение от чужих войск и директив, выборность властей, свобода мысли, слова и предприимчивости.

Свергнуть эту систему отнюдь не мыслят наши левые, ограничиваясь чтением загробных наследников марксизма. Зато мы стали свидетелями гротескного и одновременно опасного феномена, который Достоевскому и не снился. Среди нас выросла корпорация вырожденцев демократии, не признающих правомочности легально избранной власти, готовых действовать по примеру героев его «Бесов» — но исповедующих, грубо говоря, стыдливую часть взглядов их автора: авторитаризм, отвращение к «образованцам», презрение к светским традициям, культ невежества и ненависть к таким умам и талантам, как Чеслав Милош.

Кто читал его «Россию» — знает, что нам надо защищать.

Адам Поморский МИЛОШ

За перевод этой главы, последней в составленной и комментированной Адамом Поморским книге стихов и прозы Мандельштама, еще точнее — завершающей рассказанную Поморским историю издания и восприятия Мандельштама в Польше, я берусь с горечью, тем более что начинаю этот перевод в Кракове, в дни Милошевского фестиваля, добавляя этот текст последним в уже подготовленный к печати том. Но, извините за банальность, из песни слова не выкинешь. Кстати, в свое время Милошу на его, мягко говоря, критику Мандельштама решительно ответил, например, Ежи Помяновский (Неустаревшая тема // Помяновский Е. К востоку от Запада. М.: МиК, 2006).

Как раз сегодня утром (12 мая 2011) я давала интервью польской журналистке и сказала примерно так: «Нельзя забывать, что Милош и сам себе нередко противоречит и что, соглашаясь с ним, скажем, на 90% и не соглашаясь на десять, мы в обоих случаях воспринимаем сказанное им не как догму, а как повод к размышлению». Это относилось прежде всего к текстам Милоша о России, со многими из которых вы уже познакомились в этой книге. Они интересны, местами спорны и, на мой взгляд, почти всегда глубоки. Увы, обратившись на излёте лет к Мандельштаму, Милош как будто потерял и глубину, и даже противоречивость, заменив их на чистую аподиктичность. Умолчать об этом, не включить в «Моего Милоша» текст Поморского нельзя просто в силу того, что такое для нас Мандельштам. А мне — еще и в силу того, что такое для меня Милош.

Понадобились полная перемена политической атмосферы и люстрационное самодурство, чтобы одним жестом перечеркнуть все слова, эмоции и несколько десятков лет вышеописанных усилий по сохранению в Польше творчества и памяти великого

поэта. Совершил это, к сожалению, выдающийся польский поэт. 23 ноября 1996 года «Газета wyborcza» под заголовком «Об Осипе Мандельштаме и его легенде» перепечатала из малотиражного краковского журнала («Наглос» [«Вслух»], № 22) обширные фрагменты списанного с магнитофона текста Чеслава Милоша. Поражал небывалый тон и смысл этого выступления. Польский читатель не отдавал себе отчета в том, что Милош без особого уважения к исторической истине подтверждает разоблачительные суждения современных русских авторов, в особенности Сарнова и Гаспарова*. Уже первые предложения выглядели карикатурой на их сенсационные откровения:

Польская (и не только польская) легенда Мандельштама как мученика за свободу духа не вполне соответствует фактам. Это слегка похоже на то, как если бы среди мучеников за веру в древнем Риме оказался язычник, злорадными соперниками обвиненный в нелояльности Цезарю. Признать величие Мандельштама как поэта — это одно, помнить о его втянутости в страну и эпоху — другое.

Далее Милош добавляет пассаж о Достоевском, который с творчеством писателя связан мало, зато живьем повторяет памфлетные суждения о нем, написанные в 1880-е годы (уже после смерти писателя) Шимоном Токажевским (Токаржевским) — несчастным, но не слишком умным польским мучеником-каторжником, некогда товарищем автора «Записок из Мертвого дома» по сибирской неволе:

Польская точка зрения на русскую литературу часто ведет к ошибкам. Тем, чем для поляков всегда была связь между литературой и борьбой за свободу своей страны, для русских была связь между литературой и российским государством. Отсюда — гневные антипольские и антизападные стихи Пушкина после начала восстания 1831 года. Отсюда — три цареславные оды Достоевского, написанные на сибирской каторге, но применяющие к царю те же эпитеты («Солнце» и т.п.), которыми позже одаряли

* Здесь, как и в ряде мест далее, Поморский отсылает читателя к своим комментариям. Я эти отсылки опускаю. — НГ.

Сталина. Хотя эти оды были частью шагов автора, направленных на освобождение из Сибири, они выражали его взгляды на миссию империи и пылали антизападной яростью по поводу Крымской войны.

Всё это неправда, однако речь идет не о правде: сравнение с так трактуемым Достоевским компрометировать должно Мандельштама. Первый довод обвинения — приведенное нами выше полностью стихотворение «Polacy!» 1914 года. В 1925 году в восприятии близкого к эндекам полицейского-мемуариста* это стихотворение выглядело безусловно пропольским. 70 лет спустя польский поэт приписывает ему обратный, антипольский смысл. Отсылающие к Тютчеву слова о блуждающей комете славянского единства, которая — «сообщница чужого света» — рассыпалась в огне мировой войны как идеологический мираж славянофилов XIX века, Милош относит к Польше. Это позволяет ему обвинить Мандельштама и «русских либералов» анно 1914 в полонофобии времен польских национальных восстаний:

Мандельштам, до революции поэт, казалось бы, в высшей степени аполитичный, не мог в 1914 году сдержать свое патриотическое возмущение при известии о легионах Пилсудского [в этом месте автор приводит первое двустишие и последнюю строфу упомянутого стихотворения в переводе

* См. публикацию Петра Мицнера «Польский полицейский переводит Мандельштама» в «Новой Польше» (2007. №1), где, в частности, говорится: «Объединение „Полицейский дом здравоохранения“ выпустило в Варшаве „Мои полицейские воспоминания“ Генрика Варденского. Автор пишет, в частности, о формировавшихся в конце 1914 г. легионах Витольда Горчинского, которые должны были поддерживать русскую армию и служить противовесом легионам Пилсудского, которые „были солью в глазу русских“. После чего автор говорит: „Русский поэт Мандельштам в журнале «Нива» писал...“ и приводит в своем переводе первые две строфы стихотворения „Polacy!“». Приведя полный текст стихотворения и перевод Генрика Варденского, Мицнер заключает: «Разумеется, перевод и увечный (без последней строфы), и явно хромой, „опирающийся о костыль“. И все-таки почти наверняка это первая публикация Мандельштама в Польше». — НГ.

Северина Полляка. — А.П.]. Таким образом, Польша — славянская комета, веками блуждающая, вместо того чтобы найти утешение в лоне матери-России. Так тогда думали даже русские либералы, как, впрочем, и в 1831 и 1863 году».

Любопытно было бы с этой точки зрения истолковать не только тогдашнюю позицию Дмовского и его сторонников, от имени Польши выступавших на стороне Антанты, но и, например, позицию Станислава Игнация Виткевича, гражданина Австро-Венгрии: когда весть о начале войны застала его на пути в Океанию, он поспешил отправиться в Петербург, чтобы благодаря протекции дяди, генерала русской армии, вступить добровольцем в элитарный Павловский гвардейский полк.

Однако в этом тексте кроется весьма рискованная «фигура умолчания». Истолкование стихотворения позволяет обвинить его автора в великорусском шовинизме. Милош игнорирует еврейство Мандельштама. Год спустя после процесса Бейлиса, перед лицом националистического амока войны, угрожавшей бесценному единству европейской культуры, кредо еврея-акмеиста — антишовинистическая мысль Чаадаева в толковании еврейско-русского мыслителя Михаила Гершензона. Ложное истолкование в рассуждениях Милоша служит исторической лжи. Идея, согласно которой почти вся интеллигенция радостно приветствовала большевицкую «революцию», и упрек в большевизме поэту-еврею, бегущему от красного террора (и всякого массового террора в период гражданской войны), достойны казацкого есаула. Читатель настоящей книги сам может оценить, насколько добросовестна нижеприводимая характеристика биографии и творчества автора «Четвертой прозы» и «волчьего цикла» 1931 года:

Антенны Мандельштама были чувствительны к суждениям его современников. Эта зависимость проверена в годы революции, когда его образ мыслей кажется типичным почти для всей интеллигенции, радостно приветствовавшей революцию, которой предстояло интеллигенцию уничтожить. Она обосновывала это по-всякому, даже на псевдохристианский лад, как в поэме «Двенадцать» Блока. В молодости Осип Мандельштам и его жена кинулись в революцию, действовали. Затем, в 20-е годы, они пытались заключить в нескольких длинных стихотворениях свое ощущение

гигантской перемены и своего в ней участия как поэта [так!]. Эти стихи столь метафоричны и столь трудны, что могут поддаваться (и поддавались) противоположным истолкованиям. К несчастью для себя, он написал и сатирический стишок о грузинском сатрапе, и это стало причиной его гибели.

После этого dictum Милош переходит к произведению, которое со всей очевидностью с самого начала было главным предметом его интереса. Злоупотребление состоит уже в бездумном (вслед за русскими «люстраторами») именовании поэмы «Когда б я уголь взял для высшей похвалы...» «Одой Сталину». Такого названия не было — термин «ода» использовала Надежда Мандельштам, подробно описывая в своих «Воспоминаниях» (1970) историю и обстоятельства создания этого произведения. Таким образом, Милош ошибается, утверждая, что о существовании поэмы вообще не знали, и тоном логического рассуждения одновременно опровергает мартирологию Мандельштама, делая из него сталинского одописца:

Под конец своего воронежского изгнания, в 1937 году, он разразился «Одой Сталину», о существовании которой долго ничего не было известно. Впервые она была опубликована в 1975 году в Америке, в журнале «The Slavic Review». Между тем формировался миф Мандельштама как фигуры, почти как Христос страдающей за чужие грехи, миф, входивший в память его коллег — русских писателей. Ходили рассказы о последних днях поэта в «пересылочном» [так!] лагере по пути на Колыму — о его безумии, параноической уверенности, что его хотят отравить, о том, как он искал еду на помойках, и о том, как он замечательно читал стихи солагерникам — профессиональным ворам.

«„Оду Сталину“ Мандельштам написал, чтобы спасти себя, но было уже поздно, и она ничуть ему не помогла», — пишет далее Милош. В действительности у Мандельштама не было шансов спастись в аду массового террора, а формальным поводом к аресту и приговору был донос генерального секретаря Союза советских писателей. При рассмотрении поэмы, прозванной «одой», следует вникать и в замысел автора, однако размашистость истолкования в этом не помогает:

Так вот это выглядит, однако дело представляется несколько иначе на фоне других его стихотворений, написанных в Воронеже. Напомним, что гимны Сталину писали тогда все, а например Борис Пастернак не только заявил в 1932 году о своем «обращении», но и опубликовал сталинские строфы в 1936-м. Как заверяет меня Томас Венцлова, единственным поэтом, о котором можно сказать, что он выжал из себя похвалу Сталину вопреки своим убеждениям, была Анна Ахматова, которая после ареста сына надеялась, что стихотворение поможет вытащить его из тюрьмы.

Тут уже неправда неправдой погоняет. Не все писали тогда гимны Сталину. Не делали этого ближайшие друзья Мандельштама, выдающиеся поэты Клюев, Клычков, Павел Васильев. Не замарали себя этим ни бывшие модернисты — Волошин, Белый, Кузмин, Бенедикт Лившиц, София Парнок, Алексей Крученых, ни ленинградские обериуты — Хармс, Олейников, Введенский, Заболоцкий. Не пробовали ничего подобного молодые московские поэты, загнанные в переводчики: Семен Липкин, Мария Петровых, Аркадий Штейнберг, Арсений Тарковский. Анна Ахматова писала тогда знаменитый цикл «Реквием», посвященный жертвам сталинского террора. Не одно стихотворение, но целый, к счастью, полностью так и не изданный сборник ее топорно сколоченных стихов в честь Сталина был написан только в 1950 году, после того как единственный сын Ахматовой был повторно брошен в лагерь. Пастернак в 1932 году не заявлял о своем «обращении», а издал сборник стихов под названием «Второе рождение», порожденным герметической традицией немецких поэтов-романтиков. Эта формулировка определяла как возвращение поэта к лирике после многолетнего перерыва, так и духовное преображение среди личных перипетий нелегкой любви в трагических обстоятельствах эпохи. «Строфы» о Сталине написаны в 1936 году по просьбе Бухарина. Утверждение, приписанное Венцлове, — производное от тезисов Лидии Гинзбург. Дальнейшие рассуждения Милоша оскорбляют память миллионов жертв сталинской «коллективизации» и «индустриализации», одним словом — рабской системы ГУЛАГа. (Если бы не было других доказательств, то о действительных настроениях советского общества свидетельствует первый период советско-германской войны, когда при почти полном одобрении населения Украины, Белоруссии, прибалтийских республик, Крыма,

Кавказа и даже в немалой мере этнической России немцы в течение нескольких месяцев заняли значительную часть европейских территорий СССР. Только массированный террор НКВД в отношении отступавших красноармейцев и безумный нацистский террор повернули судьбу войны.) Тезис о культе Сталина, почерпнутый у современных русских авторов, у которых память поколения идет не дальше послевоенных лет, тем не менее объясняется в контексте давнего спора Милоша с Густавом Герлингом-Грудзинским и Збигневом Хербертом о верности диагноза, поставленного в «Порабощенном уме»:

Тогдашнюю политическую температуру трудно сегодня себе представить, хотя Польша ее испытала в 1950–1953 годах. Террор и жар идеологической веры помогали друг другу. Ежедневные аресты, миллионы в лагерях — но отбросим же наконец образ народа, насилуемого тиранией. Россия дрожала перед Сталиным, но чем больше дрожала, тем больше его любила. Такова уж специфическая социальная химия в диктатурах XX века. Немцы выбрали Гитлера демократическим голосованием, обожали своего вождя и готовы были за него погибать. В более скромном масштабе подверженность коммунистическому гипнозу можно было наблюдать в Польше вопреки тезису, что никаких «порабощенных умов» в ней не было.

Трудно на основе «Порабощенного ума» доказывать истинность утверждений, приводимых далее. Автор «Четвертой прозы», защищая свое достоинство поэта, не оплакивал утрату литературной среды. Автор «Разговора о Данте» не грезил об участии в великом коллективном труде; наоборот, как раз в Воронеже под конец 1935 года он дописал последнюю строку в стихотворении пятилетней давности, равенство найдя в смерти — коллективном уделе жертв террора: «Уведи меня в ночь, где течет Енисей / И сосна до звезды достает / Потому что не волк я по крови своей / И меня только равный убьет». Автор «Воронежских тетрадей» не проклинал себя, восхваляя тирана. Пастернаку и в голову не приходило обвинять его в отказе признать вину. Доказывать цитатами из «Стансов» (1935) и стихотворения «Если б меня наши враги взяли...» тезис, что их автор хотел, но не умел быть большевиком, свидетельствует о довольно наивном чтении этих произведений:

Мандельштам хотел быть со всеми, хотел быть голосом народа, в чем он шел за верованиями русской интеллигенции XIX века. Воронежская ссылка была для него тяжким наказанием, и не только потому, что его вышвырнули за пределы литературной среды, с которой он, впрочем, был на ножках. Его давний заголовок «*Tristia*», с отсылкой к Овидию, теперь мог бы найти применение, так как он и сам теперь повторял судьбу римского поэта, утратившего милость императора. Но в этом случае речь шла не о дворе Августа, а о чем-то значительно более важном: об утрате права участвовать в великом, как он считал, коллективном труде, о клейме проклятого «я», которое чувствует себя виноватым, потому что «они», «мы», частью которых он хотел быть, указывают на него пальцем. Мандельштам, которого Пастернак и другие коллеги обвиняли в наглости, так как он отказывался признать свою вину, в Воронеже признал справедливость наказания и проклинал не тирана, а себя. Потому что по существу он всегда хотел быть большевиком, только ему не удавалось.

Концовка, в которой уже не говорится о том, что Мандельштам — великий поэт, требует еще большего числа опровержений:

Когда Мандельштам брался за «Оду», в Воронеже один за другим исчезали арестованные, его знакомые, а местное отделение Союза писателей перестало поддерживать с ним контакт, что предвещало скорый и заранее известный конец. <...> Называя вещи по имени, «Ода» — это отвратительное византийство, не знающее в лести ни стыда, ни меры. <...> К сожалению, как будто затем, чтобы мы получили урок о близком соседстве человеческого величия и смешного измельчения [так!], этой одой дело не кончилось. Мандельштаму разрешили вернуться в Москву, и несколько месяцев дела выглядели так, будто ему разрешат существовать и печататься. До сих пор неизвестно, почему и на каком уровне решение переменялось. В течение месяцев оптимистического [так!] возвращения к жизни в ранге полноправного члена Союза писателей он успел влюбиться в некую Попову. Что ж, как известно, многие поэты были влюбчивы. А Попова, режиссер радиопередач, была фанатической поклонницей Сталина. Для нее Мандельштам написал несколько сталинских (и плохих) стихотворений — по-видимому, для ее радиопрограммы. И сразу путь последних мук, с пунктом назначения, до которого он не доехал, — Колымой.

В этом тексте даже вышецитированный пассаж из послесловия Марии Лесневской* выглядит невинно. Неправда, что поэту после ссылки разрешили вернуться в Москву, — самовольное возвращение закончилось высылкой за 105-й километр от Москвы (под Тверь). Поэт никогда не был и не мог быть членом Союза советских писателей. Дела не выглядели так, будто ему позволят существовать и печататься, так как с момента ареста 1934 года на его имя был наложен запрет, прерванный в Советском Союзе только в 1962 году. В последний год жизни Мандельштам был лишен всяких средств заработка. Анна Ахматова позже вспоминала: «В последний раз я видела Мандельштама осенью 1937 года. Они — он и Надя — приехали в Ленинград дня на два. Время было апокалипсическое. Беда ходила по пятам за всеми нами. Жить им было уже совершенно негде. Осип плохо дышал, ловил воздух губами. Я пришла, чтобы повидаться с ним, не помню куда. Все было как в страшном сне. Кто-то, пришедший после меня, сказал, что у отца Осипа Эмильевича (у „деда“) нет теплой одежды. Осип снял бывший у него под пиджаком свитер и отдал его для передачи отцу». Рифмованные и нерифмованные посвящения Еликониде Поповой, жене друга семьи актера Владимира Яхонтова, были отчаянной попыткой раздобыть средства к существованию. Бог знает, таилась ли действительно эротика в этом взгляде 47-летнего поэта, агония которого оттянулась на год, на женщину, брызжущую здоровьем и витальностью.

Текст Милоша вызвал в Польше публичную полемику, смягченную уважением к автору. Почти все считали, что он перешел меру. Однако в целом не отдавали себе отчета в том, что этот текст стал завершением целой эпохи польского восприятия творчества и личной истории Мандельштама — прочтения их с особой этической, а не только эстетической точки зрения.

* Речь идет о рассмотренном в другой главе официальном двуязычном издании Мандельштама, вышедшем в «Выдавництве литерацком» в «самый мрачный период военного положения» тридцатитысячным тиражом. — НГ.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

- Вместо предисловия: Человек-эпоха. Памяти
Чеслава Милоша
Новая Польша [далее НП].
2004. № 9
- Поэтический трактат
Милош Ч. Поэтический трактат.
Анн Арбор: Ардис, 1983.
- «Речь — отчизна...»
Русская мысль [далее РМ].
1982. 9 декабря.
- Не трактат, а трактат в стихах...
НП. 1999. №1.
- Особая тетрадь: Звезда Полюнь
Континент. 1981. № 27.
- Шесть лекций стихом
НП. 2004. № 9–10.
- Богословский трактат
НП. 2002. № 2.
- Campro di Fiori
РМ. 1982. 4 февраля.
- Напоминание
НП. 2011. № 6.
- «Ты человека простого измучил...»
РМ. 1981. 9 июля.
- Баллада
НП. 2004. № 9.
- Ars poetica?
Вестник РХД. 1981. № 133.
- Моя верная речь
Там же.
- Чтение
Там же.
- Время года
НП. 2004. № 9.
- «О безграничный, о неисчерпаемый,
о несказуемый мир форм...»
Там же.
- Разговор о славе
НП. 2004. № 10.
- Довод
Там же.
- Монархи
Там же.
- Первое исполнение
Там же.
- Родословная
Там же.
- Тритоны (1913–1923)
Там же.
- Тревога-сон (1918)
Там же.

Статьи и стихотворения, не упомянутые в справке, подготовлены для настоящего издания и ранее не публиковались. — НГ.

- Из записной книжки офицера Вермахта
Рудольфа Грёте (1944)
НП. 2004. № 9.
- 1945 год
НП. 2004. № 10.
- Читая «Записную книжку» Анны Каменской
НП. 2004. № 6.
- Пан Сыруть
НП. 2011. № 6.
- Девяностолетний поэт
подписывает свои книги
Там же.
- Без *dajmonion'a*
НП. 2007. № 2.
- В тумане
НП. 2011. № 6.
- Учитель математики
Там же.
- Черепеха
Там же.
- Химера: множество
Там же.
- Поздняя старость
Там же.
- Что мне
Там же.
- Старый человек смотрит телевизор
НП. 2007. № 2.
- Флейта крысолова
Там же.
- Небо
НП. 2011. № 6.
- Комментарий к стихотворению «Небо»
Там же.
- В честь ксендза Баки
НП. 2007. № 2.
- Сын первосвященника
НП. 2011. № 6.
- О спасении
НП. 2007. № 2.
- Опыт войны
НП. 2010. № 1.
- Человек среди скорпионов.
(Отрывки из книги)
НП. 2008. № 9.
- Достоевский и западное
религиозное воображение
Вестник РХД. 1981. № 133.
- Над переводом Книги Иова. Сокращенный
текст предисловия «От переводчика»
к польскому изданию Книги Иова
Континент. 1981. № 29.
- Нобелевская лекция
Культура. 1982.
3-й выпуск на русском языке.
- Нобелевская речь
РМ. 1980. 18 декабря.
- Достоевский и Сартр
Вестник РХД. 1983. № 138.
- Выводы из опыта века, близящегося к
концу. Выступление на заключительном
заседании colloquiuma «Польша: август
1980 — декабрь 1982»
РМ. 1982. 30 декабря.
- У в ы ! — благородство. Текст доклада на
конференции «Современная Польша
в исторической перспективе»
РМ. 1984. № 3540–3541.
- Конец Великого Княжества. (О Юзефе
Мацкевиче)
Континент. 1987. № 61.
- О польско-литовском конфликте
РМ. 1989. 2 июня
- Человечество, что остается. «Campo di
Fiori» 50 лет спустя
НП. 2006. № 4.

Несколько русских страниц из «Азбуки Милоша»

РМ. 1997. 26 июня — 2 июля.

О Юзефе Чеховиче

НП. 2007. № 6.

О «Бале в Опере» Юлиана Тувима

НП. 2004. № 2.

Премия Чеслава Милоша

НП. 2001. № 1.

О национальной принадлежности

НП. 2008. № 7–8.

Горькое стихотворение

НП. 2003. № 11.

«Культура» №№11/398 и 12/399.

(Отрывок)

РМ. 1981. 9 июля.

Поэт в поисках действительности.

К семидесятилетию Чеслава Милоша

РМ. 1981. 9 июля.

«Национализмы моей части Европы»

Континент. 1990. № 65.

Венок polegшим. Один давний московский вечер (Отрывки)

НП. 2004. № 10.

Юзеф Чапский. Народность или исключительность?

Континент. 1991. № 68.

Лешек Шаруга. Погоня за действительностью

НП. 2001. № 7–8.

Юлия Гартвиг. Медитация

НП. 2004. № 9.

Адам Михник. Декан, мы бережем наказ твой. Речь на похоронах Чеслава Милоша
Там же.

Томас Венцлова. Поэт обоих народов

НП. 2005. № 7–8.

Мариан Сталя. О «Последних стихотворениях» Чеслава Милоша

НП. 2007. № 2.

Ежи Помяновский. Милош и бесы

НП. 2011. № 2.

Наталья Горбаневская
МОЙ МИЛОШ

Дизайн С. Андриевич
Верстка Т. Донскова
Производство С. Дымант



BALTRUS
119017, Москва, Пятницкая ул., д. 41,
тел. (495) 951 60 50, e-mail: info@novizdat.ru

Подписано в печать 30.01.2012. Формат 60x84 1/16. Гарнитура Pragmatica
Объем 25,4 усл. печ. л. Бумага офсетная. Печать офсетная.

Заказ № 1

Отпечатано с готовых диапозитивов в ИЦП «Маска».
117246, Москва, Научный проезд, д. 20, стр. 9